ФОНВИЗИН

Михаил Люстров

ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Потомок ливонских рыцарей и сын военного моряка Денис Иванович Фонвизин прожил не слишком спокойную, но мирную жизнь: он не участвовал в сражениях, не дрался на дуэлях, не подвергался опале, служил в Коллегии иностранных дел, был добрым семьянином, владел имением, занимался коммерцией и путешествовал. Однако благодаря необыкновенному сатирическому дару Фонвизин занял свое достойное место среди блистательных героев екатерининского царствования, снискал лавры русского Мольера и Хольберга. За последние 200 лет о нем сказано много, но недостаточно и подчас неверно. Доктор филологических наук Михаил Люстров предлагает свой взгляд на обстоятельства жизни и внутренний мир одного из самых замечательных и талантливых людей России второй половины XVIII века.

Знак информационной продукции 16+

- М. Ю. Люстров
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Глава первая
    - Потомок меченосцев
    - Университетское учение
    - Проба пера
  - Глава вторая
    - Переводчик иностранной коллегии
    - Под началом Елагина
    - Любовь и поэзия
    - Новые переводы
    - Рождение «Бригадира»
  - Глава третья
    - В политическом водовороте
    - «Ужасное состояние»
    - «Счастливое семейство»
    - Пугачевщина и конец турецкой войны
    - Знакомство с Тома
    - Путешествие во Францию
    - Снова в России
    - Бессмертный «Недоросль»
    - Конец служебной карьеры
  - Глава четвертая
    - Сотрудник «Собеседника любителей российского

слова»
- Член Академии Российской
- Путешествие в Италию

Глава пятая
- Бедный Каллисфен
- Путешествие в Австрию
- Новые книги — старые темы
- «Приближаясь к пятидесяти летам»

ИЛЛЮСТРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Д. И. ФОНВИЗИНА
КРАТКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

М. Ю. Люстров
Фонвизин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Моей маме — Елене Марковне Люстровой

Во время своего краткого, но чрезвычайно плодотворного пребывания в Петербурге гоголевский кузнец Вакула успел встретиться с величественным Потемкиным и неназванным человеком «с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных». Малоосведомленному читателю, не увидевшему за этим описанием известный портрет Фонвизина и не узнавшему по почтительно-остроумному ответу государыне величайшего русского сатирика, прямо указывается, что потрясенный кузнец имел счастье познакомиться с автором «Бригадира». А имя автора «Бригадира» известно или должно быть известно любому отечественному читателю.

Напудренный парик, перламутровые пуговицы, болезненная бледность, следствие постоянных мигреней, сквозящее в каждой оброненной фразе редкое чувство юмора и отмеченный самой Екатериной несравненный талант чтеца — вот набор примет, из которых строится хрестоматийный образ «отца русской комедии», «северного Мольера» Дениса Ивановича Фонвизина. Кажется, расширить этот перечень нет никакой возможности, и один из самых открытых и искренних людей екатерининского царствования навсегда останется едва ли не самым загадочным персонажем в истории русской культуры XVIII века, персонажем, о котором за последние 200 лет сказано чрезвычайно много, хорошо и правильно, но все-таки недостаточно и подчас откровенно неверно.

Жизнь Фонвизина не богата событиями: он не участвовал ни в войнах, ни в революциях, не занимал высоких государственных постов, был верным секретарем опального министра, любящим мужем, почтительным сыном и заботливым братом, в меру способностей, но без особого успеха вел коммерческие дела и с большой охотой путешествовал по Европе. Однако благодаря необыкновенному сатирическому дару, живости характера и природной наблюдательности Фонвизин стал одним из ярчайших деятелей Екатерининской эпохи, в определенном смысле — ровней своему однокашнику светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому.

Неоднократно отмечалось, что Фонвизин-комедиограф несомненно масштабнее своих коллег и современников-

драматургов, что он зачинатель традиции и новатор. Нас же интересует не столько специфика литературного таланта Фонвизина, не столько этапы его творческой эволюции, сколько внутренний мир и обстоятельства жизни одного из самых интересных и умных людей России второй половины XVIII века, весельчака, ворчуна и «страдальца».

Несмотря на не оставляющую биографов и исследователей творчества Фонвизина надежду обнаружить его утерянные рукописные фонды, количество известных работ писателя долгие годы остается неизменным. Поэтому нам приходится обращаться к хорошо известным архивным и печатным источникам, перечитывать изданные письма, а с ними — оригинальные и переводные тексты, бесспорно принадлежащие перу Фонвизина, и таким образом стараться понять человека «в скромном кафтане с большими перламутровыми пуговицами».

А понять его очень не просто. Ведь даже названия знакомых каждому школьнику комедий Фонвизина нуждаются в специальном историческом комментарии. Что означает слово «недоросль», кто такой бригадир — ясно далеко не всякому читателю. Что же говорить о содержании комедий, где особого анализа требует едва ли не каждая реплика персонажей, где безграмотная Простакова цитирует героев Вольтера, а Иванушка повторяет рассуждения персонажей комедий Хольберга и Готшеда, где порочные герои неверно толкуют неизвестные современному зрителю указы о лихоимстве или о дворянской вольности. Не всегда понятно, что именно пленяло зрителя того времени в сатирических пьесах «русского Мольера». Ведь за те годы, что комедии Фонвизина ставятся на сцене, вкусы публики сильно изменились: по словам самого автора, своим успехом его «Недоросль» обязан бесконечным нравоучительным разговорам Стародума с добродетельными персонажами, а не уморительно смешным разглагольствованиям Скотинина и Митрофана. В ту эпоху с удовольствием читали длинные рассуждения о пользе добродетели, а звериная грубость отрицательных фонвизинских персонажей вызывала недоумение. «Почтенный Стародум, / Услышав подлый шум, / Где баба непригоже / С ногтями лезет к роже, / Ушел скорей домой. / Писатель дорогой! / Прости, я сделал то же», — писал после просмотра знаменитой комедии автор изящной «Душеньки» Ипполит Богданович.

Однако главная черта литературных сочинений Фонвизина в объяснении не нуждается. Его остроумие удивительно, шутки остры и блестящи, языковое чутье феноменально, насмешливый тон не может не подкупать. Ирония пробивается в самых серьезных и пронзительных произведениях Фонвизина и

побеждает пафос. Такова стихия этого удивительного человека: острослова, рассказчика и пародиста.

Глава первая
ПЕРВЫЕ ШАГИ (1745–1762)

Потомок меченосцев

Неоднократно отмечалось, что родоначальниками известных российских фамилий были выходцы из-за рубежа: Литвы, Польши, Швеции, Орды. Так, предком Суворова считается выехавший в Россию в Смутное время швед Сувор, Державина — татарский мурза Багрим. В составленных в XVIII веке родословиях «счастья баловней безродных» непременно подчеркивалось иностранное происхождение основателя рода: предком Александра Даниловича Меншикова был объявлен литовский шляхтич Менжик, а Алексея Григорьевича Разумовского, морганатического супруга императрицы Елизаветы Петровны, — польский вельможа Рожинский. Фонвизины в изобретении подобных генеалогий не нуждались, иноземное происхождение их фамилии очевидно, а история рода прослеживается по архивным документам.

Предки Дениса Ивановича Фонвизина принадлежали к числу рыцарей Ливонского ордена, во время войны с Россией сын и внук Вальдемара фон Визина Петр и Денис были приняты Иваном Грозным на русскую службу и оказались превосходными солдатами. Верные семейной традиции, Фонвизины, в том числе отец и дед писателя, становились людьми военными. Названный в честь своего знаменитого предка, награжденного за военные доблести во время Смуты ротмистра Дениса Петровича, Денис Иванович Фон Визин (именно так он подписывал свои бумаги) какое-то время числился сержантом гвардии, но к военной службе не имел ни малейшей склонности. В главном источнике сведений о жизни и образе мыслей Д. И. Фонвизина — «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях» — по этому поводу сказано: «…но как желание мое было гораздо более учиться, нежели ходить в караулы на съезжую, то уклонялся я сколько мог от действительной службы».

Не только военные экзерциции, но и атрибуты средневекового рыцарства не возбуждали в потомке меченосцев особенных чувств. О посещении в 1784 году нюрнбергского арсенала он пишет: «В нем есть что смотреть: воинские снаряды, уборы и одежда древних рыцарей весьма любопытны. Удивительно, как могли они таскать на себе такую тягость. Я не совсем безсилен, но насилу поднял копье, которым они воевали».

И всё — никаких фантазий, никаких размышлений, никакого почтения к деяниям предков. Их физическая крепость вызывает у Фонвизина не восхищение, а едва ли не насмешку: в самом деле, как немецкие средневековые рыцари могли «таскать на себе» такую тяжесть? Зато чуть ниже путешественник несколько раз кряду повторяет, что он русский. Последовательность изложения фактов в высшей степени показательная.

Герой знаменитого «Бригадира» галломан Иванушка утверждал, что «молодой человек подобен воску» и что воспитай его не французский кучер, а русский учитель, «который бы любил свою нацию», то он, как это для него ни печально, стал бы совершенно другим человеком. Фонвизин и его персонаж — ровесники: в 1769 году, когда написана комедия, им было примерно по 25 лет. Иванушка называет свой возраст сам, Денис же родился, по разным данным, 3 апреля 1745 (большинство современных исследователей настаивают на верности этой даты), 1744, а то и 1743 года. Оба они были сыновьями дворян шпаги и бригадиров: герой «Бригадира» Игнатий Андреевич, как сказано в комедии, — «военный человек, а притом и кавалерист», Иван Андреевич Фонвизин долгое время служил во флоте, потом в сухопутных частях, в том числе в «Московском драгунском шквадроне», затем перешел на гражданскую службу и завершил карьеру в чине статского советника, что соответствовало военному чину бригадира; «отставным бригадиром» называли старого Фонвизина и его современники. Однако, в отличие от Иванушки, для Дениса Фонвизина авторитетом и образцом являлся не француз-гувернер, а отец.

Фрагмент «Чистосердечного признания», посвященный Ивану Андреевичу Фонвизину, выглядит, скорее, как похвальное слово. Он — истинный христианин, добродетелен, правдолюбив, почтителен с достойными почтения, резок с порочными, враг лжи и лихоимства, мудр, кроток и не злопамятен, ради ближнего своего готов пойти на любую жертву и поступиться собственным благополучием. Спасая брата, наделавшего «неоплатные» долги, он в пору «цветущей своей юности» женился на 70-летней вдове Огаревой и в течение двенадцати лет «старался об успокоении ее старости». Не имея возможности «просветить себя учением», он читал книги только на русском языке и делал это с великим удовольствием. Надо сказать, что в России подобных книголюбов было немало: читателем лишь русских книг был спасший Москву во время Чумного бунта 1771 года знаменитый Петр Дмитриевич Еропкин; лишь русские книги читают и герои фонвизинских комедий. В «Недоросле» Стародум признается, что прочитал все русские переводы «нынешних мудрецов», а персонаж

незаконченной и неназванной пьесы Простосерд «любит читать книжки», и у него они «все русские».

Иван Андреевич, человек набожный и «безмерно» «пекущийся» о «научении» старшего сына, «заставлял» малолетнего Дениса во время «отправлявшихся» дома богослужений «читать у крестов» и, таким образом, познакомил его со «славянским языком, без чего — по авторитетному мнению славного писателя Дениса Фонвизина — российского языка и знать невозможно». «Я должен благодарить родителя моего за то, — вспоминает знаменитый сын скромного отца, — что он весьма примечал мое чтение, и бывало, когда я стану читать бегло: „Перестань молоть, — кричал он мне, — или ты думаешь, что Богу приятно твое бормотанье?“». Наблюдая за чтением церковных книг, Иван Андреевич не только «кричал» или «заставлял», но и терпеливо комментировал не вполне понятный ребенку текст. «Отец мой, примечая из читанного мною те места, коих, казалось ему, читая, я не разумел, принимал на себя труд изъяснять мне оные», — завершает Фонвизин-младший свой восторженный рассказ об отцовских «попечениях». Едва ли не житийной героиней выглядит и мать писателя, дочь контр-адмирала и участника турецкой войны 1735–1739 годов Василия Афанасьевича Дмитриева-Мамонова Екатерина Васильевна. По словам почтительного и благодарного сына, она «имела разум тонкий и душевными очами видела далеко. Сердце ее было сострадательно и никакой злобы в себя не вмещало: жена была добродетельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная». Среди многочисленных писем Фонвизина большая часть будет адресована «милостивому государю батюшке и милостивой государыне матушке», «родительского благословения которых» непременно просит их «всепокорнейший сын».

Другим важнейшим адресатом Фонвизина станет его старшая сестра, «матушка сестрица» Феодосия Ивановна, в будущем жена близкого друга писателя, сына первого директора Московского университета — Василия Алексеевича Аргамакова. Третьим ребенком в семье Ивана Андреевича Фонвизина был Павел Иванович, со временем — директор Московского же университета (пятый по счету), поэт и переводчик. В своих письмах Фонвизин перечисляет и остальных братьев и сестер, просит передать им поклоны и пожелания. Причем по обыкновению придерживается своей игриво-иронической манеры. Сохраняя приличное случаю единообразие официальных наименований младших родственников и соблюдая некое подобие этикета, он, едва сдерживая улыбку, раздает им весьма однообразные, но

постоянно дополняемые шутливыми запретами советы и наставления: «Сестрице Анне Ивановне желаю здоровья и охоты писать ко мне. Сестрице Марфе Ивановне желаю того же. Сестрице Катерине Ивановне желаю того же и меньше резвиться. Братцу Александру Ивановичу желаю великих успехов в высоких науках. Братцу Петру Ивановичу желаю того же и меньше с печи прыгать». Некоторые из фонвизинских рекомендаций мало годятся для его малолетних единоутробных родственников и потому выглядят еще смешнее. Письмо, в котором Фонвизин упоминает всех своих братьев и сестер, датировано январем 1766 года, когда братцу Александру исполнилось лет шестнадцать, и заниматься «высокими науками» для него было бы вполне естественно. Зато братцу Петру, которому в это время было лет пять-шесть, старший брат желает не только перестать заниматься приличным возрасту делом — прыгать с печки, но и «великих успехов» в вышеупомянутых «высоких науках».

О своем младенчестве Фонвизин может вспомнить немногое и резонно полагает, что такая его забывчивость естественна и объяснима. Ссылаясь на воспоминания отца, он утверждает, что претерпел первое свое «лишение» на третьем году жизни, когда его наконец-то «отняли от кормилицы» и перевели на рацион, более подходящий ребенку этого возраста. Проявив необыкновенную для простого младенца способность чувствовать, он впал в великую тоску и на вопрос отца, грустно ли ему, «затрепетав от злобы», ответил: «А так-то грустно, батюшка… что я и тебя, и себя теперь же вдавил бы в землю». Кровожадные мысли посещают склонного к бурному выражению эмоций Фонвизина и в дальнейшем, хотя не так часто и лишь в минуту сильного душевного волнения: например, во время путешествия по Италии в 1785 году у него, уже 40-летнего пенсионера, возникнет неистребимое желание перестрелять из пистолета всех огорчивших его местных почтальонов. Но к счастью, дальше желания расправиться с ближними дело не шло никогда, и ни один человек, будь то в России или за границей, не пострадал от руки вспыльчивого правнука меченосцев.

Вскоре после памятного разговора с отцом, уже в четырехлетнем возрасте, Фонвизина начали «учить грамоте», но и об этом, произошедшем в его «первом младенчестве», а значит, не запечатлевшемся в памяти событии он узнал от родных. Зато историю, научившую его ходить «прямою дорогою» и избегать «лукавых стезей», он запомнил очень хорошо. Оказывается, родная тетка Фонвизина, «женщина кроткая» и нежно любившая своих племянников, посещала «дом одного славного тогдашнего карточного игрока» и от него привозила детям целые колоды

карт. В какой-то момент малолетний Фонвизин всей душой привязался к «картам с красными задками», и обладание ими стало истинным его «блаженством». Исчерпав все не вполне честные средства к их приобретению, Фонвизин признался тетушке в своей страсти, и та одобрила его искренность. Отец же одобрял не только искренность, но безмерную чувствительность своего старшего сына: собрав однажды вокруг себя «всех своих младенцев», Иван Андреевич принялся рассказывать им историю Иосифа Прекрасного. Безыскусное повествование произвело на ребенка впечатление столь сильное, что он «начал рыдать безутешно» и не мог сдержать чувств во время всего рассказа. Из того же «Чистосердечного признания» следует, что Фонвизин был мальчиком не только чувствительным, но и чрезвычайно впечатлительным. Приезжавший из принадлежащей Фонвизиным деревни Дмитриевской мужик Федор Суратов рассказывал господским детям страшные сказки и так запугал маленького Дениса, что и взрослым человеком он «неохотно оставался в потемках».

Университетское учение

С XVI века потомки суровых рыцарей Фонвизины жили в Москве, в Печатниках, в Москве же начал свое обучение записанный в 1754 году в гвардейский Семеновский полк мушкетером и оставленный дома для получения необходимого образования малолетний Денис. По словам писателя, отец, «не в состоянии будучи нанимать для меня учителей для иностранных языков, не мешкал, можно сказать, ни суток отдачею меня и брата моего в университет, как скоро он учрежден стал», то есть в 1755 году. Строго говоря, Денис и Павел Фонвизины поступили не в университет, а в располагавшуюся недалеко от Кремля университетскую гимназию. Там, по замыслу основателей, российские юноши должны были приобретать базовые знания, необходимые для поступления на философский, юридический и медицинский факультеты университета или для успешного начала служебной карьеры.

В университете будущий переводчик и литератор выучил латинский и немецкий языки, «а паче всего получил… вкус к словесным наукам». Правда, рассказывая «об образе нашего университетского учения», Фонвизин не жалеет яда и без всякого снисхождения высмеивает нерадивых и не всегда трезвых преподавателей: «Арифметический наш учитель пил смертную чашу; латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков». На экзамене «в нижнем латинском

классе» ученики оказались способны продемонстрировать знания грамматики лишь потому, что преподаватель (по всей видимости, магистр философии и свободных наук Филипп Якимович Яремский) в порядке подготовки к испытанию показал им, какому склонению и спряжению соответствует та или иная специально пришитая по этому случаю пуговица на его кафтане и камзоле, и в решительный момент дотрагивался до «правильной» застежки. Учитель географии, будучи «тупее прежнего латинского», явился на экзамен «неготовым», «с полным партищем пуговиц». В результате лучшим учеником из «географического класса» экзаменаторы объявили признавшегося в своем невежестве Фонвизина. «Товарищ мой спрошен был, куда течет Волга? „В Черное море“, — отвечал он; спросили о том же другого моего товарища. „В Белое“, — отвечал тот. Сей же самый вопрос сделан был мне. „Не знаю“, — сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили», — рассказывает Фонвизин о своем триумфе. По едкому замечанию автора «Чистосердечного признания», остальных учеников он превзошел скорее по части «практического нравоучения», а отнюдь не географии.

Как бы то ни было, Денис считался одним из лучших учеников гимназии — о том свидетельствуют его награды: золотые медали, похвальный лист, поручение произнести речь «о наилучшем способе к обучению языков» на немецком языке и поездка в Санкт-Петербург в самом конце 1759 года. Братья Денис и Павел «фон Визины» оказались в числе «избранных учеников», которых «тогдашний директор» Иван Иванович Мелиссино планировал представить основателю университета Ивану Ивановичу Шувалову.

В столице Фонвизины остановились в доме своего дяди, Николая Алексеевича Дмитриева-Мамонова, и через несколько дней направились на торжественную встречу с куратором. Шувалов принял гимназистов милостиво и сам подвел Дениса к Ломоносову, который, узнав о латинской «специализации» юного гимназиста и будто в подтверждение своей репутации российского Цицерона, «с великим красноречием» заговорил о пользе латинского языка. Сильное впечатление на «малолетнего» Фонвизина произвел императорский дворец («везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах, множество дам прекрасных, наконец, огромная музыка, все сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертного»). Но еще большее — театр, который он «увидел в первый раз от роду», и вхожие в дом его дядюшки великие «комедиянты»: «муж глубокого разума» Федор Григорьевич

Волков и «человек честный, умный, знающий», будущий близкий приятель автора «Недоросля» Иван Афанасьевич Дмитревский. Первой пьесой, увиденной Фонвизиным и несказанно его поразившей, была комедия знаменитого датско-норвежского драматурга Людвига Хольберга, который, как полагали в Дании, по силе таланта не уступал Мольеру, а по количеству написанных комедий превзошел своего знаменитого французского коллегу ровно в два раза. На русский язык эта пьеса была переведена с немецкого, называлась «Генрих и Пернилла» и через 30 лет в «Чистосердечном признании» оценена как «довольно глупая». Но тогда комедия Хольберга казалась юному Фонвизину «произведением величайшего разума», а шутки знаменитого комического актера Шумского такими смешными, что он, «потеряв благопристойность, хохотал изо всей силы».

Российские и особенно датские исследователи находят в сочинениях Фонвизина следы влияния Хольберга: в «Бригадире» оно очевидно, в «Недоросле» весьма возможно. С творчеством основателя датского театра Фонвизин был знаком настолько хорошо, что, оказавшись в конце 1770-х годов во Франции, сразу же вспомнил о главном герое комедии Хольберга «Жан де Франс» галломане Хансе Франдсене, а увидев во время следующего европейского вояжа, в 1784 году, немецких бедняков, тут же сравнил их с нищими, но гордыми персонажами комедии Хольберга «Дон Ранудо де Колибрадос». В России комедии Хольберга (правда, далеко не все) переводились, ставились на сцене и выходили отдельными изданиями, но, вопреки ожиданию, ни одна из них не была переведена Фонвизиным. Обойдя своим вниманием творчество Хольберга-комедиографа, не заинтересовавшись его сравнительными жизнеописаниями великих жен или знаменитых мужей Востока, сочинениями на тему мировой или датской истории, комической поэмой «Педер Порс», письмами, эпиграммами и трудами на нравоучительные темы, Фонвизин принялся переводить его «моральные басни» (нем. — *Moralische Fabeln;* дат. — *Moralske Fabler)*.

Проба пера

Из «Чистосердечного признания» следует, что перевод знаменитых басен Хольберга стал началом духовного и нравственного падения Фонвизина, а возможно, послужил причиной будущего физического расстройства. Заказавший перевод книгопродавец Х. Л. Вевер обещал Фонвизину расплатиться с ним иностранными книгами, слово сдержал и снабдил находящегося «в летах бурных страстей» переводчика

(басни были изданы в 1761 году) «соблазнительными» изданиями, «украшенными скверными эстампами». Пространные рассуждения Фонвизина о причиненном ему вреде вполне соответствуют педагогическим установкам того времени. Например, в изданном директором Сухопутного шляхетского кадетского корпуса И. И. Бецким «Кратком наставлении, выбранном из лучших авторов» (1768) говорится в том числе и о «развращении воображения»: «Довольно известно, сколь вредно и опасно действие любовной страсти в молодых летах. Потому что для росту и для укрепления сил и разума вся природная горячность потребна: всеми способами надлежит стараться отвращать все, что прежде времени может вредить юности. Надобно удалять их от мерзких разговоров, от прикосновений бесчестных, от чтения любовных сочинений, наконец от частого обхождения разного пола вместе, дабы не превратить прекрасной весны натуры в мрачную и бесплодную осень».

«Развратив воображение» чтением соблазнительных книг, юный Фонвизин почувствовал потребность применить полученные знания на практике и, не имея понятия «ни о тяжести греха, ни об истинной чести», «завел порочную связь» с некой девушкой. Примечательно, что этот живой и совершенно не покаянный рассказ о невинном приключении следует за чрезвычайно патетическим обращением к отечественным воспитателям юношества — «о вы, коих звание обязывает надзирать над поведением молодых людей, не допускайте развращаться их воображению, если не хотите их погибели!». И далее — «узнав в теории все то, что мне знать было еще рано, искал я жадно случая теоретические мои знания привесть в практику» — даже в самых серьезных своих сочинениях Фонвизин не может скрыть так свойственную ему веселую иронию.

По признанию автора, «преподать» своей пассии «физические эксперименты» ему так и не удалось: двери в ее доме были сделаны отечественными мастерами и сделаны так плохо, что не только «не затворялись», но и «не притворялись». Юная пара не имела возможности уединиться, девушка, которая была «толста, толста, проста, проста» и вызвала интерес беспечного кавалера лишь своей принадлежностью к противоположному полу, начала ему надоедать, Фонвизин заскучал и охотно общался с ее матушкой, «которую целая Москва признала и огласила набитою дурою». Эти встречи не прошли для Фонвизина даром — матушка неизвестной москвички стала прототипом Бригадирши, «премудрой» Акулины Тимофеевны. Следовательно, работа над переводом басен Хольберга явилась причиной не только «погибели» Фонвизина, но и создания принесшей ему невиданную

славу комедии «Бригадир», если угодно, первопричиной.

Исследователи, сопоставлявшие сочинения Хольберга и Фонвизина, отмечали, что русский автор существенно скромнее своего датского предшественника. В своих комедиях он избегает рискованных намеков, в переводе басен исключает все низкое, способное оскорбить вкус и нравственность: никаких упоминаний половой жизни, никаких запоров, нечистот, неприличных звуков, кастраций и ночных горшков. Начинающий русский автор старается переводить немецкую книгу как можно точнее, но при этом сохраняет присущую воспитанному молодому человеку целомудренность и, если угодно, чистоплотность. Кажется, мнение взрослого Фонвизина о его юношеской растленности является в высшей степени несправедливым, и знакомство с ужасными книгами нанесло вступающему в жизнь ребенку ущерб куда меньший, чем автор «Чистосердечного признания» полагает. Другое дело — его язвительность и «склонность к сатире», удовлетворить которую сатирические басни Хольберга могли в полной мере.

В России XVIII века басня (иначе — притча) — один из любимейших жанров русских поэтов: А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, В. И. Майкова, А. А. Ржевского, И. И. Хемницера, И. И. Дмитриева и многих других отечественных стихотворцев. И в Европе, и в России басня была не только любима, но и почитаема. По мнению знаменитого немецкого теоретика Просвещения, к слову сказать, поклонника и переводчика Хольберга, Иоганна Кристофа Готшеда, «…басня есть то же самое, что является источником и душой поэтического искусства… Только тот, кто умеет придумывать хорошие басни, имеет право на звание поэта». Александр Петрович Сумароков же, поэтическим творчеством которого восхищались, а к мнению прислушивались, в своей знаменитой «Эпистоле о стихотворстве» (СПб., 1747) настаивал, что «…склад басен должен быть шутлив, но благороден, / И низкий в оном дух к простым словам пригоден» и что лучшим европейским поэтом-баснописцем является знаменитый Лафонтен.

Хольберг и Фонвизин на звание поэтов претендовали не меньше Лафонтена, однако и датский, и немецкий, и русский варианты «Нравоучительных басен» скандинавского классика написаны прозой. Надо сказать, что в XVIII веке русские авторы далеко не всегда считали своим долгом следовать за оригиналом и находили дозволенным переводить прозаические сочинения стихами: уже взрослый, стяжавший славу умелого поэта Фонвизин написал стихотворную басню «Лисица-казнодей» (казнодей — значит оратор), источником которой, по всей

видимости, является одноименное прозаическое произведение немецкого поэта Х. Ф. Шубарта, а старший приятель Фонвизина, знаменитый автор «смешных геройческих поэм» «Игрок ломбера» и «Елисей, или Раздраженный Вакх» Василий Иванович Майков басни того же Хольберга переводил стихами. Вероятно, предлагая читателю прозаический, а не стихотворный перевод хольберговских басен, Фонвизин не просто шел за немецким источником, но и руководствовался своими соображениями, мог выбирать и выбрал прозу.

Отказываясь ориентироваться на Лафонтена, Хольберг и его переводчики следовали за родоначальником прозаической басни — Эзопом. В России же творчество легендарного фригийца знали превосходно: первый русский перевод его басен появился в самом начале XVII века, «Притчи Эсоповы на латинском и русском языке» были изданы и переизданы в петровское время, а в 1747 году вышли переведенные с французского секретарем канцелярии Академии наук Сергеем Волчковым «Езоповы басни с нравоучением и примечанием Рожера Летранжа» (английского писателя, журналиста и убежденного роялиста сэра Роджера Лестрейнджа, 1616–1704). Вот одна из многочисленных Эзоповых басен, «Волк с козленком», какой ее узнал русский читатель в версии «Летранжа» и какой ее мог увидеть юный Фонвизин:

«Хищной волк в некоторое время увидел, что козленок от стада отстал, и для того за ним погнался. Как козленок увидел, что ему от волка не уйти, то сам к нему подошедши, сказал: „Я уже, господин волк, сам вижу, что мне от вас съедену быть; только я еще вздумал перед смертью своею поскакать и повеселиться. Ты великой мастер на сиповке играть. Пожалуй, мне поиграй, а я перед последним концом попляшу“. Волк было стал на сиповке играть, а козленок перед ним конта-танц выпрыгивать начал. Но вблизи бывшие собаки, сиповошной голос услыша и тотчас подбежавши, волка растянули, а козленок чрез то освободился. Бедной изодранной волк, лежачи при смерти, сказал: „Таково-то худое не за свое дело и ремесло приниматься. Мне было лучше мясником, а не сиповщиком быть“».

Сразу за текстом басни следуют короткое «учение» («Ежели хитрова обманщика похвалить, то и самой простак обмануть ево может») и пространное, содержащее рассуждения о чудесном вмешательстве «правосудного Бога», «примечание» английского моралиста.

А вот содержащая диалог тех же персонажей басня Хольберга «Козленок отвечает волку», как ее перевел Фонвизин:

«Волк увидел на горе козленка, хотел иметь его своею добычею. Но как не мог он взойти на гору сам, то старался

приманить его к себе лестными словами.

— Не бойся ничего, — говорил он козленку, — мне, конечно, совестно поступить с тобою худо и огорчить тем твоих родителей.

— Я б охотно тебе в том поверил, — отвечает ему козленок, — однако мне должно еще спросить У родителей моих, имеет ли волк совесть?

Волк, услышав то, не хотел дожидаться, что скажут козленку на его вопрос, и пошел со стыдом прочь.

Баснь учит детей не начинать ничего без родительского совету».

Несомненно, к публикации русского перевода «Нравоучительных басен» Хольберга отечественная читающая публика была изрядно подготовлена и в труде молодого Фонвизина увидела сочинение изящное и написанное языком весьма чистым. Возможно, по этим причинам дебют юного переводчика прошел удачно: второе, дополненное сорока двумя новыми баснями, издание этой книги вышло в 1765-м, третье — в 1787 году.

Совсем иначе сложилась судьба другого перевода, выполненного Фонвизиным в том же 1761 году — «Метаморфоз» Овидия. Эта работа Фонвизина-переводчика до нас не дошла, однако исследователи находят ее следы в творчестве русских поэтов XVIII века того же Василия Майкова. Немногим больше известно о переводе Фонвизиным «Илиады» Гомера. В бумагах писателя сохранился черновой список фрагмента 6-й песни, содержащий прозаическое описание «страшной битвы» и заканчивающийся призывом Агамемнона, разгневанного милосердием Менелая, истреблять троянцев без всякой жалости. Редактор «Сочинений, писем и избранных переводов Д. И. Фонвизина» (1866) П. А. Ефремов и замечательный советский исследователь Г. А. Гуковский высказывали предположение, что этот перевод относится к последним годам жизни писателя, однако точными сведениями о том, когда, где, при каких обстоятельствах и с какого языка выполнялся этот перевод, мы не располагаем.

Итак, хорошее знание латинского и немецкого позволило Фонвизину заявить о себе как о весьма квалифицированном переводчике. Неожиданное происшествие заставило его расширить круг известных ему иностранных языков. Из «Чистосердечного признания» следует, что некий молодой человек, сын петербургского вельможи, поначалу очень расположенный к Фонвизину, был крайне разочарован, узнав, что тот не владеет французским. Насмешек Денис не спустил и, по его собственному выражению, «загонял» шутника эпиграммами,

однако за французский принялся и благодаря хорошему латинскому за два года изучил его настолько, что был в силах переводить самого Вольтера.

Определенно, в елизаветинское царствование языковые приоритеты российского дворянства изменились кардинальным образом. Если в аннинско-петровской России самым востребованным европейским языком был немецкий (не случайно замечательный историк и государственный деятель того времени Василий Никитич Татищев настоятельно рекомендовал юношеству изучать немецкий и сам, общаясь во время командировки в Швецию в 1724–1726 годах со своими скандинавскими коллегами, поражал их, владеющих немецким не хуже, чем шведским, своими познаниями в этом языке), то теперь главным иностранным языком стал французский. Как бы то ни было, закончив университетское обучение, Денис может переводить с трех языков — латинского, немецкого и французского. С немецкого лучше, с французского — существенно хуже. Латинский же необходим Фонвизину не только для упражнения в переводах древних авторов (сочинения которых продавались в университетской книжной лавке во множестве), но и для самого пребывания в университете.

Из «Прибавления» к «Московским ведомостям» следует, что 17 декабря 1758 года в «большой университетской аудитории» в присутствии завершивших учебный год студентов и гимназистов «держан был диспут из натуральной теологии на латинском языке», а из «Чистосердечного признания» — что переключившись, по-видимому, в 1760 году на новый для себя французский и продолжая «упражняться в переводах на российский язык с немецкого», Фонвизин с огромным удовольствием слушает блестящие лекции по логике доктора философии и профессора Московского университета (в то время еще и ректора гимназии) Иоганна Маттиаса Шадена на латинском языке. Отметим попутно, что для Фонвизина-гимназиста оба эти события напрямую связаны с его переходом на новую ступень университетского обучения. Известно, что по окончании теологического диспута в декабре 1758 года Шаден объявил имена «прилежнейших учеников», «произведенных по экзамену в высшие классы как в дворянской, так и в разночинской гимназиях», и среди прочих назвал Дениса и Павла «фон Визиных». Про Шадена же Фонвизин пишет, что «сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны, и мы с братом скоро потом произведены были в студенты». По мнению некоторых исследователей, это событие произошло в 1760 году. Правда, из

«Прибавления» к другому номеру «Московских ведомостей» следует, что 26 апреля 1761 года Московский университет «по обыкновению торжествовал» день коронования Елизаветы Петровны, и Денис Фонвизин был одним из награжденных по этому случаю учеников немецкого высшего класса, а вовсе не студентов. В том же документе о Денисе «фон Визине» сказано, что в 1761 году из высшего латинского класса он переводится «в Риторику» и из нижнего французского класса — во второй французский же класс. В самом начале 1760-х годов студентом Фонвизин еще не был и стал им, по справедливому предположению большинства его биографов, лишь в 1762 году (точнее, в самом конце июня 1762 года).

Однако вернемся к столь важным для него иностранным языкам. Надо сказать, что с точки зрения некоторых (далеко не всех) европейцев, мнение которых в России знали и ценили, русские дворяне владели ими превосходно. Например, читатель переведенной с французского и изданной в России в 1765 году книги «Дорожная география, содержащая описание о всех в свете государствах» мог узнать, что представители российского благородного сословия «приятны к чужестранным» и изъясняются на французском, немецком и итальянском языках. Благодаря некоторым русским поэтам и переводчикам, не обязательно дворянам, список известных россиянам иностранных языков был существенно шире. Например, «второй Ломоносов» (по мнению императрицы Екатерины II) или ее «карманный поэт» (по мнению его недругов) Василий Петрович Петров изучил не слишком распространенный в России английский, издатель сатир Кантемира и автор стихотворений «в честь Вакха и Венеры» Иван Семенович Барков — шведский, а про знаменитого вельможу елизаветинского и екатерининского царствований, переводчика оперных либретто и, подобно Баркову, автора стихотворений «во вкусе Пиррона» Адама Васильевича Олсуфьева его сын Дмитрий Адамович вспоминал, что «он говорил и писал весьма отчетливо и правильно на языках французском, немецком, италиянском (в нем он даже знал все наречия), на шведском и датском и понимал, и мог изъясниться по-английски».

Если в отношении «набора» известных ему европейских языков Фонвизин в общем и целом соответствовал описанному в «Дорожной географии» стандарту, полиглотом не был, «необычных» языков не знал и того же Хольберга переводил не с датского, а с немецкого, то по другим пунктам описанные во французской книге фантастические россияне сильно его опережали. Например, из «Дорожной географии» следует, что «дворяне Российские трезвы», Фонвизин же отмечает, что имел

большую склонность к горячительным напиткам и не стал пьяницей лишь благодаря постоянным головным болям (из-за мигреней же он приобрел славу не самого трудолюбивого сотрудника, почти как среднестатистические шведы, про которых в той же французской книге говорится, что «они ленивы и любят вино и хорошее кушанье»). В «Дорожной географии» сказано, что «дворяне Российские учтивы», Фонвизин же утверждает, что был ядовит и обиженные его колкостями «оглашали» молодого острослова «злым и опасным мальчишкою».

В самом начале 1760-х годов переводы Фонвизина (по большей части с немецкого) печатаются в двух московских университетских журналах: в «Полезном увеселении» (1761) и в «Собрании лучших сочинений» (1762). Первый издавал поэт и переводчик, с 1763 года — директор, а с 1778-го — куратор Московского университета Михаил Матвеевич Херасков, второй — профессор Московского университета, автор «Истории о знатнейших европейских государствах» (под таким названием вышел перевод его лекций по истории) Иоганн Готфрид Рейхель. Об обоих в «Чистосердечном признании» не сказано ни слова, но оба — хорошие знакомые Фонвизина (чего стоит хотя бы такой, по обыкновению насмешливый, отзыв о знаменитом поэте: «М. М. Хераск. с женою живут смирно. Он также с полпива пьян, а ее дома не застанешь» — письмо сестре, датированное 1770 годом). Рейхель же благоволил к молодому автору и, вероятно, очень его ценил. В журнале Хераскова Фонвизин помещает небольшой рассказ «Правосудный Юпитер» (как выяснилось относительно недавно, принадлежащий известному немецкому автору И. Г. Б. Пфейлю, 1732–1800), в журнале Рейхеля — «Господина Менарда изыскания о зеркалах древних» (диссертацию члена Французской академии, написанную на французском, но, по мнению исследователей, переведенную Фонвизиным с немецкого), «Торг семи муз» (одно из философских «Сновидений» немецкого писателя Иоганна Готлиба Крюгера), «Господина Ярта рассуждение о действии и существе стихотворчества» (переведенную с французского речь академика города Руана) и «Рассуждение о приращении рисовального художества господина Рейтштейна с наставлением о начальных основаниях оного». Вероятно, переводы, напечатанные в «Собрании лучших сочинений», Фонвизин выполнял по заказу редактора журнала, и судить по ним об интересах юного переводчика было бы неправильно.

По инициативе Рейхеля Фонвизин начинает переводить и огромный роман французского писателя Жана Террассона «Сетос, история, или Частная жизнь» (в русском варианте — «Геройская

добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского, из таинственных свидетельств древняго Египта, взятая»; в России в 1760-х годах переводы с подобными двухчастными названиями появлялись не редко, например, роман французской писательницы Шарлоты Комон де ла Форс имел заголовок «Геройский дух, или Любовные прохлады Густава Васы, короля шведского» — в то время все героическое, будь то дух или добродетель, было в моде). Небольшой фрагмент фонвизинской «Жизни Сифа» напечатан в «Собрании лучших сочинений» и в том же номере журнала расхвален благоволившим к молодому переводчику редактором.

«Не напрасный труд имел господин Фонвизин в переводе на российский язык книги сея своим согражданам, — пишет Рейхель в статье „Известие и опыт о российском переводе „Сифа““. — Великой благодарности достойны переводчики, когда употребляют они время свое на такие книги, кои служат к распространению учения и которые вообще полезны для свободных наук. При столь великом множестве худых книг видно похвальное достоинство переводчика, когда избирает он нечто доброе, полезное и особливое. Что господин Фонвизин в рассуждении сего сделал, о том общество узнает с удовольствием. О знании его в немецком языке я весьма уверен, а общество видело уже силу его в российском языке как из различных опытов, так и из басен барона Гольберга».

Полный же перевод «Жизни Сифа» выходил отдельными книгами и издавался на протяжении целых шести лет, с 1762 по 1768 год. За эти годы Фонвизин основательно подтянул свой французский: если первые три части переведены с немецкого, то последняя, вышедшая в 1768 году, — уже с французского и, по мнению занимающихся этим вопросом специалистов, переведена очень хорошо.

В романе Террассона нет места так любимой Фонвизиным иронии, произведение ученого аббата наполнено самыми разнообразными сведениями, широковещательно, серьезно и чрезвычайно полезно. Цель автора — прославить добродетель, рассказать о ее пользе и величии, исправить нравы и тем оказать услугу обществу. По мысли Террассона, история царя Сифа в высшей степени поучительна, а сам он достоин подражания: египетский правитель мудр, добродетелен, просвещен и добросердечен. Кроме него, в романе действуют самые разнообразные герои, некоторые из которых демонстрируют крайнюю чувствительность и бывают необыкновенно эмоциональны. Правда, под пером Фонвизина отдельные их восклицания кажутся двусмысленными (например, умирающая царица кричит сыну, будущим которого она очень встревожена:

«…во гробе без тебя не буду иметь покоя»; можно подумать, что «во гробе» она будет иметь покой лишь в его обществе), но такие огрехи едва ли могли быть замечены современниками, не избалованными качественными переводами иностранных книг. С журналом Рейхеля, к слову сказать, жаловавшегося на недостаток хороших переводчиков, Фонвизин активно сотрудничал до осени 1762 года, момента своего выхода из университета.

Глава вторая
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ (1762–1769)

Переводчик иностранной коллегии

Во взрослую жизнь Фонвизин вступает в чине сержанта Семеновского полка и имея перспективу продолжить университетское образование. Однако вскоре выяснилось, что ни сержантом, ни студентом долго ему быть не придется: благодаря родству и близкому знакомству Фонвизиных с вице-канцлером Александром Михайловичем Голицыным молодой переводчик переходит на службу в Коллегию иностранных дел. Из запроса, отправленного из коллегии в университет в октябре 1762 года, следует, что «лейб-гвардии Семеновского полку сержант и оного университета студент Денис Фонвизин поданным в Коллегию иностранных дел прошением представил, что он в Императорском московском университете обучался латинскому, французскому и немецкому языкам и желает ныне при делах оной коллегии служить, почему оный Фон-Визин в тех языках свидетельствован и найден в знании оных достаточным и к делам оной коллегии способным; и потому Коллегия иностранных дел от Императорского московского университета требует, чтоб оный благоволил помянутого сержанта Фон-Визина, выключа из числа университетских студентов, прислать в оную коллегию для определения по желанию и способности его, о чем равномерно писано и лейб-гвардейского Семеновскому полку в полковую канцелярию». Иными словами, Фонвизин выполнил все формальные требования: отправил на высочайшее имя прошение, для подтверждения своего профессионального уровня перевел начало речи Цицерона «За М. Марцела», «Политическое рассуждение о числе жителей у некоторых древних народов», несколько известий — из Данцига о «возобновлении» после екатерининского переворота, или, как сказано в документе, «перемены, бывшей в Российском государстве», «системы, отвергнутой Петром III» (21 июля), из Петербурга — о милостях, которых удостоились знаменитый фельдмаршал Миних и дети покойного посла в Голландии графа Александра Гавриловича Головкина (20 августа), из Голландии — о подписании испанским послом в Париже «прелиминарных пунктов» между Англией, Францией, Испанией и Португалией (4 сентября), или «кредитив» «графа Мерсиа» (имперского посла графа де Мерси-Аржанто — 25

февраля 1762 года), речь профессора Рейхеля на коронацию Екатерины II (3 октября). В итоге он был признан годным для открывающегося перед ним поприща. Кроме вышеупомянутого вице-канцлера Голицына, запрос подписал канцлер Михаил Илларионович Воронцов, в распоряжение которого поступил новый переводчик, уже не сержант, а армии поручик Денис Фонвизин.

Начало служебной карьеры молодого переводчика Коллегии иностранных дел без малейшего преувеличения можно назвать успешным. Канцлер дорожит новым сотрудником, и в конце того же 1762 года Фонвизин выполняет первую в своей жизни дипломатическую миссию: отправляется в Северную Германию, где вручает герцогине Мекленбург-Шверинской Луизе Фредерике главный женский орден Российской империи — орден Святой великомученицы Екатерины. По замыслу правительства, Фонвизин, игравший весьма незначительную роль в сложной внешнеполитической комбинации, должен был «заехать» в Гамбург и уже оттуда в сопровождении чрезвычайного посланника Алексея Семеновича Мусина-Пушкина последовать в Шверин. Поставленная задача была выполнена, орденская лента с успехом передана, а Фонвизин «поведением своим приобрел… благоволение герцогини и одобрение публики».

Судя по всему, юный дипломат, «сущий ребенок», был не слишком подготовлен к подобной службе, не знал великосветского обращения и вышел из положения лишь благодаря живости характера, природному уму и начитанности. Как бы то ни было, по возвращении в Москву Фонвизин чувствует себя триумфатором: им довольны все, и похваливший его Мусин-Пушкин, и получившие рекомендательное письмо посланника в Гамбурге канцлер Воронцов и вице-канцлер Голицын. Превосходно складывается и его карьера литератора: начатый в 1761-м или, возможно, в 1762 году перевод трагедии Вольтера «Альзира, или Американцы» сделал настолько «много шума», что всегда недоверчивый к похвалам и неизменно ироничный Фонвизин всерьез поверил в силу своего таланта. Уже в Петербурге в 1763 году с переводом трагедии познакомился фаворит императрицы Григорий Орлов, и его отзывом Фонвизин был весьма доволен.

Современники же и потомки отнеслись к этой работе молодого Фонвизина скептически: его непримиримый критик, родной брат сотрудника Коллегии иностранных дел и неприятеля Фонвизина Василия Семеновича Хвостова Александр Семенович Хвостов в своем стихотворении «К творцу послания, или Копия к оригиналу» ядовито высмеивал неточности перевода, а создатель

первой биографии писателя Петр Андреевич Вяземский не мог отыскать в нем ни одного хорошего стиха. Сам Фонвизин называл свой труд «грехом юности», которым он был недоволен уже в начале 1760-х годов. В самом деле, фонвизинская версия не может дать представления о поэтической мощи оригинала, а некоторые стихи неуклюжи и откровенно смешны. Например, «Сражаясь, побежду, Альзиру защищая» или «Убийством утомясь и крови напившися, / В глубокий сон теперь тираны все вдалися». Кажется, в своем переводе «Альзиры» Фонвизин следует не только за Вольтером, но и за автором первых русских трагедий Александром Петровичем Сумароковым, с творчеством которого он был знаком лучше большинства своих современников. Так, подбирая наиболее подходящие для своего творения рифмы, он обращается к опыту старшего и не всегда расположенного к юному Фонвизину собрата по перу. Например, использованную молодым переводчиком рифму христианство-поганство «северный Расин» Сумароков впервые употребил в своей трагедии «Гамлет» (1748): узнав о противоестественном стремлении женатого на королеве Гертруде датского короля Клавдия вступить еще в один брак, на этот раз с Офелией, возлюбленная принца Гамлета восклицает: «Наш царь? Супругом мне — иль мы живем в поганстве? / Како бывало то доныне в христианстве? / Закон нам две жены имети вдруг претит».

Как бы ни слаб и ни неточен был перевод, как бы ни потешался граф Хвостов над ошибкой Фонвизина, перепутавшего слова «sabre» (меч) и «sable» (песок), как бы критически ни оценивал эту работу сам Фонвизин, нельзя забывать, что перевод «Альзиры» появился лишь через два года после того как юный автор занялся французским. Как ученическая работа, русская «Альзира» выглядит в высшей степени сносно, но лишь как ученическая: в отличие от дважды переиздававшегося перевода басен Хольберга, увидеть перевод трагедии Вольтера напечатанным Фонвизин не желал никогда.

Надо полагать, что к творчеству Вольтера Фонвизин обратился не случайно: в 50–80-х годах XVIII столетия Вольтер был одним из самых популярных и постоянно переводившихся в России авторов. В академическом журнале «Ежемесячные сочинения» выходили его философские повести, «Поэму на разрушение Лиссабона» перевел друг и критик Фонвизина И. Ф. Богданович, перевод «Почерпнутых мыслей из Экклезиаста» был выполнен М. М. Херасковым, трехтомное «Собрание сочинений» Вольтера в 1785–1789 годах издал состоятельный литератор и преданный поклонник его таланта И. Г. Рахманинов, на протяжении многих лет в переписке с фернейским мудрецом

состояла императрица Екатерина II. Работа Фонвизина дополняет длинный перечень русских переводов Вольтера, а провозглашаемые героями «Альзиры» принципы гуманизма и терпимости для России 60-х годов XVIII века были актуальными и востребованными.

В начале 1763 года счастье Фонвизина было полным: он делает успешную карьеру, находит время для литературных переводов и при этом живет в Москве, среди близких людей. По случаю коронационных торжеств с осени 1762 года двор находится в старой столице, и Фонвизину нет нужды расставаться с родными. Однако летом 1763 года идиллия заканчивается, первые лица государства возвращаются в Санкт-Петербург, и молодой переводчик Коллегии иностранных дел вынужден отправиться следом за своими новыми начальниками.

Естественно, перемены в судьбе юного офицера были ожидаемыми, но от этого не менее печальными. Как знать, будь для Фонвизина столичная жизнь «интересной», а значит — доставляющей удовольствие, разлука с домашними не ощущалась бы столь остро, а одиночество не было бы столь тягостным. Ведь для юноши с «чувствительным сердцем» каждое новое знакомство должно становиться «основанием» «или дружбы, или любви» («… ou de l'amitie ou de l'amour», — как выражается пылкий Фонвизин в одном из первых своих писем, отправленных домой из столицы), а в Петербурге это едва ли возможно. Грустного мечтателя окружают либо «солдаты» из кадетского корпуса, либо «педанты» из Академии наук, и тех и других Фонвизин сторонится, скучает и всем сердцем тянется к своему единственному другу — старшей сестре Феодосии.

В дружеских письмах к «любезной сестрице» Денис предельно откровенен: рассказывает про свою не всегда объяснимую грусть, про незначительные недомогания, просит ее не возводить на него напраслину, не сомневаться в его искренности, не бросать писать стихи и, естественно, шутит. Причем шутит в лишь ему присущей манере: сначала с самым серьезным видом клянется быть степенным, затем чрезвычайно патетически рассказывает о впечатлении, произведенном на него французской трагедией «Троянки» («Слезы еще и теперь видны на глазах моих. Гекуба, лишающаяся детей своих, возмутила дух мой. Поликсена, ее дочь, умирая на гробе Ахиллесовом, поразила жалостью сердце мое…»), сразу после этого неожиданно предлагает на всех них плюнуть и, дурачась, признается в желании написать собственную трагедию («Я сам горю желанием писать трагедию, и рукой моей погибнут по крайней мере с полдюжины героев, а если рассержусь, то и ни одного живого человека на театре не

оставлю»).

Внешне же столичная жизнь молодого человека из хорошей семьи и со связями складывается весьма благополучно. В письмах Фонвизина из Петербурга постоянно упоминаются многочисленные родственники и знакомые семьи Фонвизиных, вице-канцлер Александр Михайлович Голицын, его брат Михаил Михайлович, коллежский советник Михаил Васильевич Приклонский, князь Алексей Никитич Путятин, дядюшка Николай Алексеевич Дмитриев-Мамонов. Все они любят молодого насмешника, очень его «ласкают» и спешат сообщить домашним пустяковые, на взгляд стороннего наблюдателя, но чрезвычайно важные для любящих родителей и способные не на шутку их разволновать новости. «Алексей Никитич напрасно сказал вам, что я худ, — пишет Фонвизин растревоженным этим известием „милостивому государю батюшке“ и „милостивой государыне матушке“ 18 сентября 1763 года. — Мне кажется, я все таков же, как был». Письма, адресованные родителям, обязательно заканчиваются основательно составленным перечнем людей, передающих поклон почтеннейшим московским жителям Ивану Андреевичу и Екатерине Ивановне Фонвизиным, и людей, которым кланяется сам Денис Иванович: «P. S. Василий Алексеевич Кар (через десять лет генерал-майор, оказавшийся неспособным противостоять Пугачеву, добровольно отказавшийся от командования и навлекший на себя гнев императрицы. — *М. Л.)* приказал вам написать почтение. Он не больше пробудет здесь десяти суток. P. S. Милостивой государыне тетушке Анне Васильевне приношу мое почтение и с днем ангела поздравляю, и братцу поклон. P. S. Милостивому государю дядюшке Матвею Васильевичу и милостивой государыне тетушке Анне Ивановне засвидетельствую нижайшее почтение. Государыням моим сестрицам и братцу приношу покорнейший поклон».

В это же время Фонвизин сходится с вольтерьянцем, воспитанником Московского университета, а в 1763 году — офицером Преображенского полка, сыном обер-прокурора Священного синода, поэтом, переводчиком и драматургом (автором несохранившейся комедии «Любовник в долгах», по словам современника, «комедии прямо российской, осуждающей главные наши пороки») князем Федором Алексеевичем Козловским. Литературное наследие молодого вольнодумца совсем невелико, однако хорошо известно и почитаемо видевшими в нем большой талант современниками. В своих «Записках» знаменитый Державин вспоминал, что в молодости он упражнялся в «кропании стихов, стараясь научиться стихотворству из книги о поэзии, сочиненной г. Тредиаковским, и

из прочих авторов, как гг. Ломоносов и Сумароков. Но более ему других нравился по легкости слога г. Козловский». В письмах 1763 года Фонвизин ничего не говорит о литературных занятиях своего нового приятеля, но постоянно рассказывает о их совместном времяпрепровождении: «Князь Козловский ко мне тогда приехал и… возил меня в академию», «обедал у меня князь Ф. А.», «от скуки сидели у меня князь Ф. А. Козловский да Dmitrewskoi», «вчера обедал у меня князь Ф. А. Козловский, и после обеда поехали мы с ним в аукцион». Князь Алексей входит в круг ближайших друзей и советчиков Фонвизина: расхваливая стихотворения Феодосии, он обещает показать их «трем особам», которых любит, «а именно: А. И. Приклонск. (жене Михаила Васильевича Приклонского Анне Ивановне Приклонской. — *М. Л.),* князю Ф. А. Козловск. и еще Василию Алексеевичу Аргамакову» (в скором будущем мужу сестры Феодосии), прозу же Фонвизин показывает только Козловскому. Правда, дружба двух литераторов продлится не долго: по наблюдению исследователей, уже в 1764 году имя Козловского исчезает из писем Фонвизина, в 1769 году на короткое время они сойдутся вновь, но в 1770 году молодой офицер погибнет в знаменитой Чесменской битве. О павшем поэте-воине напишут его друзья, В. И. Майков в стихотворном письме «О смерти князя Федора Алексеевича Козловского, который скончал жизнь свою при истреблении турецкого флота российским, быв на корабле „Евстафии“» и М. М. Херасков в поэме «Чесменский бой», но не Фонвизин.

Из «Чистосердечного признания» следует, что причиной столь быстрого охлаждения стало привлекательное поначалу, но в конечном счете оттолкнувшее патриархального москвича вольнодумство Козловского. Фонвизин вспоминает, что главным занятием «общества», в которое его ввел русский вольтерьянец, было «богохуление и кощунство». Пугаясь прямо и грубо богохульствовать, юный острослов принялся с удовольствием «шутить над святыней». Памятником этой эпохи в жизни Фонвизина стало его «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке», «…в коем, — по позднейшему признанию автора, — некоторые стихи являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником». По словам Фонвизина, его юношеское «заблуждение» проявилось лишь «в некоторых стихах», в невинном же заглавии этого стихотворения нет ничего предосудительного, тем более кощунственного. Молодой барин обращается к своим крепостным людям: дядьке Михаилу Шумилову, кучеру Ваньке и лакею Петрушке и называет свое обращение посланием. Но почему автор не квалифицирует

свой диалог со слугами как разговор или беседу? Если же ему непременно хочется дать своему стихотворению «литературное» название, то почему он не использует более привычное для современного ему читателя отечественных поэтических творений наименование — письмо? Ведь между письмом и посланием большой разницы нет — адресованный текст или пишется, или посылается; зато к началу 60-х годов XVIII века русских стихотворных писем было написано хоть не великое, но множество, а стихотворных посланий — ни одного. Ответ на этот вопрос дает сам Фонвизин: в своем позднем, напечатанном в 1783 году, «Опыте российского сословника» (первом русском словаре синонимов) он отмечает, что посланиями называются «письма древних», и в качестве примера приводит послания апостолов: «послания святого Павла богодухновенны» (а задолго до этого, еще в 1735 году, Василий Кириллович Тредиаковский объяснил читателям своего трактата «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», что необходимо отличать «пиитическое письмо от *посланий святого апостола Павла* и от простых писем»). Больше того, само название стихотворения молодой безбожник строит по образцу апостольских посланий: апостол Павел создает Послание *к евреям* или *к коринфянам,* Фонвизин — послание *к слугам.*

Но что автор хотел этим сказать? В чем соль его шутки? При чем здесь апостол Павел? Можно предположить, что таким образом Фонвизин настраивает читателя на игриво-кощунственный лад, намекает, что его малоученые герои будут рассуждать о высоких материях, Творении, Создателе и тайнах Бытия. И точно: потешая барина, они пытаются ответить на вопрос вопросов: «зачем сей создан свет?», предлагают различные версии и, наконец, прямо заявив о собственной неспособности решить такую «премудрую задачу», обращаются за разгадкой к своему ученому господину. Тот, получив от их рассуждений несказанное удовольствие и предлагая просвещенному читателю разделить свою радость, насмешливо улыбается и признается, что и сам не знает, «на что сей создан свет?». Кажется, тем самым Фонвизин освобождает себя от обязанности отвечать на любые вопросы, в том числе и касающиеся выбора названия. Если в его распоряжении есть дерзкая, пусть даже и кощунственная, острота, почему бы не сделать ее достоянием общественности?

Смеется же Фонвизин не только «над святыней», но и над своими богобоязненными людьми, испуганными страшными видениями или сразу после пропажи господской ветчины почувствовавшими «великое омерзение к временной жизни» и запившими. Самым забавным собеседником Фонвизина является,

несомненно, «глупейший служитель» Ванька (тот самый герой «Послания к слугам моим», про которого сказано: «…сомнение его тревожить начало / Наморщились его и харя и чело»). Как следует из апрельского письма 1766 года, читая на Страстной неделе Ефрема Сирина, набожный Ванька впал в особый род дремоты, в этом состоянии вступил в разговор с поваром, на поверку оказавшимся пришедшим по его душу чертом, пытаясь перекреститься, превратился в лошадь и, громко заржав, перепугал окружающих и самого себя. Подобные инфернальные шутки встречаются и в фонвизинских комедиях: если в письме «темный дух» настаивает на своем внешнем сходстве с поваром Астрадымом, то в «Бригадире» Иванушка рассказывает, будто бы его отец «до женитьбы не верил, что и черт есть, однако женясь на… матушке, скоро поверил, что нечистый дух экзистирует». Фонвизин одинаково остер и в письмах, и в комедиях, и в кощунственных стихотворениях.

По мнению исследователей, «Послание к слугам моим» самое известное, но не единственное ядовитое стихотворение, написанное в этот период. Обращалось внимание, что в письме от 13 декабря 1763 года Фонвизин клянется сестре больше не писать сатир и рассказывает, что «ту» он уже сжег в печи. «Той» может быть и «Послание к слугам моим», и фрагмент высмеянного Александром Хвостовым «Послания к Ямщикову», и коротенькая эпиграмма «О Клим! Дела твои велики! Но кто хвалит тебя? Родня и два заики». Кто такой Клим? Кто такой Ямщиков? Кто эти люди, которых так безжалостно и зло высмеивает юный острослов? К сожалению, на эти вопросы ответов не существует.

О Ямщикове известно лишь, что он — «пиита, философ, унтер-офицер» и, естественно, имеющий тяжелую наследственность самодовольный дурак. Зачин этого псевдопанегирического послания коллеге-стихотворцу строится по образцу торжественных славословий, где после длинного перечня удивительных качеств невероятно талантливого адресата следует почтительная просьба раскрыть секрет его успеха. «Открытель таинства любовныя нам лиры, / Творец преславныя и пышныя „Семиры“, / Из мозгу родшейся богини мудрой сын, / Наперсник Боалов, российский наш Расин, / Защитник истины, гонитель злых пороков, / Благий учитель мой, скажи, о Сумароков! / Где рифмы ты берешь?» — говорится в «Эпистоле г. Елагина к г. Сумарокову»; или «Натуры пасынок, проказ ее пример, / Пиита, философ и унтер-офицер! / Ограблен мачихой, обиженный судьбою, / Имеешь редкий дар — довольным быть собою. / Простри ко мне глагол, скажи мне свой секрет, / Как то нашлось в тебе, чего и в умных нет?» — вторит ему в «Послании к

Ямщикову» Фонвизин.

Сходным образом, но с несколько иным вопросом обращается к своим собеседникам автор «Послания к слугам моим»: «Скажи, Шумилов, мне, на что сей создан свет? / И как мне в оном жить, подай ты мне совет. / Любезный дядька мой, наставник и учитель, / И денег, и белья, и дел моих рачитель…» Правда, если в «Послании к слугам моим» Фонвизин добродушно-насмешлив и снисходителен к слабости своих людей, то в «Послании к Ямщикову» он насмешлив уже ядовито. Видно, что Ямщиков сильно ему не нравится.

Фонвизинский адресат — сын скотоподобных родителей, главной приметой которых является содержимое их утробы: отец загадочного Ямщикова «как погреб начинен и пивом, и вином», а мать была «жерёбой» таким прекрасным сыном. И вновь без всякой видимой причины молодой повеса из всех сил пытается оскорбить чувства верующего читателя. По утверждению исследователей, некоторые строки этого небольшого отрывка явно отсылают к тексту молитвы «Богородице лево, радуйся»: «О чудо странное…» Неприятели Фонвизина его «шутки над святыней» заметили и вспоминали их на протяжении всей жизни прославленного сатирика. Так, в созданном предположительно в начале 1780-х годов и «неудобном для печати» *Noel'e* князь Дмитрий Петрович Горчаков представляет Фонвизина бездарным зазнайкой, сильно огорчившим младенца Христа:

Но только лишь ввалился
Фон Визин, вздернув нос,
Тотчас отворотился,
Заплакавши, Христос
И ангелам сказал: «Зачем его впустили?
Моим писаньем он шутил,
Так вы б его, лишь он вступил,
К ослу и проводили».

С обещанием сестре больше не писать сатир исследователи связывают появление стихотворения Фонвизина «К уму моему». «На хулящих учения. К уму своему» называется известная сатира Антиоха Дмитриевича Кантемира, в которой просвещенный автор представляет своему собеседнику — собственному уму — многочисленные примеры воинствующего невежества, уговаривает его «покоиться» и так избежать «хулы злой». Следом за Кантемиром (в прямом смысле этого слова, поскольку первое русское издание сатир Кантемира вышло в 1762 году, незадолго до предполагаемого времени создания этого одноименного

стихотворения) Фонвизин призывает свой разум прекратить «примечать людские глупости» и отказаться от гордой надежды исправить «разумы и нравы» соотечественников. Во-первых, полагает наследник князя-сатирика, порода дураков неистребима, и их заболевание неизлечимо, во-вторых, глупо рассчитывать на успех и без того сомнительного проекта в тот момент, когда в Россию прибывают все новые и новые партии возвращающихся из Франции отечественных дураков. В своем сатирическом стихотворении молодой автор над «святыней не шутит» и дает залп по новой цели — русской галломании, по «русским дуракам», которые желают превратиться в «дураков французских».

Кажется, расписавшись в своем бессилии вразумить окружающих, Фонвизин отказывается от роли сатирика и моралиста. Но является ли это стихотворение публичным отречением от такого рода творчества, вопрос дискуссионный. Ведь среди сатир Кантемира стихотворная беседа со своим умом значится под первым номером, знаменует собой не конец, а начало его сатирической деятельности. Фонвизин же и не думает уверять читателя в своей окончательной «отставке» подобно тому, как в 1759 году это сделал обиженный на весь свет Сумароков:

Для множества причин
Противно имя мне писателя и чин;
С Парнаса нисхожу, схожу противу воли
Во время пущего я жара моего,
И не взойду по смерть я больше на него, —
Судьба моей то доли.
Прощайте, музы, навсегда!
Я более писать не буду никогда.

Кажется, в стихотворении «К уму моему» мы имеем дело с использованным Кантемиром и прекрасно известным Фонвизину приемом. Кажется также, что за этой сатирой должны следовать новые и новые опыты «в сем роде стихов». Однако за всю свою жизнь ни одной оригинальной стихотворной сатиры он больше не напишет и, следовательно, слово, данное сестре, сдержит.

В 1763 году Фонвизин знакомится не только с вольтерьянцем Козловским, но и с масоном, с 1772 года Провинциальным великим магистром России, главой едва не полутора десятка русских лож, автором процитированной выше эпистолы Сумарокову, его учеником и почитателем — Иваном Перфильевичем Елагиным. Доказавший в конце 1750-х годов свою преданность великой княгине Екатерине Алексеевне,

переживший арест, ссылку, но на допросах не выдавший ни одной из ее тайн, после переворота 1762 года Елагин был щедро награжден и приближен к императрице — стал действительным статским советником (а в 1767 году — тайным советником), вице-президентом Главной дворцовой канцелярии, кабинет-министром и главным директором музыки и театра.

Екатерина считала Елагина одним из своих самых верных и благородных друзей, отзывалась о нем иногда насмешливо, но, как правило, с большим уважением. «Это был человек надежный и честный, — писала она в своих „Записках“. — Кто раз приобретал его любовь, тот нелегко ее терял. Он всегда изъявлял усердие и заметное ко мне предпочтение». В конце 1763 года екатерининский сановник намеревается «взять кого-нибудь из коллегии» и останавливает свой выбор на «замеченном с хорошей стороны» переводчике «Альзиры». Для вельможи, ценящего литературное творчество и стремящегося покровительствовать молодым дарованиям, хорошо выполненный перевод трагедии Вольтера был достаточным основанием для назначения на должность личного секретаря. Сам Елагин был не чужд изящной словесности: активно участвовал в разгоревшейся в середине столетия литературной полемике и изо всех сил защищал Сумарокова от нападок его противников, писал оригинальные стихотворения, переводил Прево, Мармонтеля, Мольера («Мизантроп, или Нелюдим»), возможно, перевел все комедии знаменитого французского комедиографа Детуша. Его пристрастие к театру проявляется в сочинениях, далеких от художественной литературы: в исторических разысканиях, получавших название «Опыт повествования о России», «искушенный летами» и «долговременным отечеству служением» престарелый Елагин утверждает, что князь Владимир принял решение крестить Русь под влиянием своей жены, «хитрой гречанки», специально для него устроившей придворное театральное представление. Елагину же принадлежит переделка едва ли не главной комедии Хольберга «Jean de France», в русской версии — «Русский француз» или «Жан де Моле».

К слову сказать, в России 50–80-х годов XVIII века комедии Людвига Хольберга переводились достаточно активно, и нередко переводы оказывались сродни переделкам. Некоторые фрагменты русских версий выглядят весьма комично, и в жизнеописании Фонвизина, остроумнейшего писателя того времени, их упоминание было бы к месту. Например, в датском оригинале знаменитой комедии «Йеппе с горы» главный герой, горький пьяница, всецело подчиненный своей жене, отправляется за покупками, по дороге заходит в корчму и быстро пропивает

выданные ему деньги. Захмелевший крестьянин неожиданно начинает говорить по-немецки и объясняет хозяину заведения, что выучил этот язык за время десятилетней службы в армии. В немецком переводе датской комедии он переходит на язык, определенный корчмарем как «welsch» (немецкое название романских языков), и объясняет свою образованность тем же десятилетним пребыванием в армии. Наконец в русском переводе, выполненном с немецкого варианта сыном знаменитого токаря Петра Великого Андреем Андреевичем Нартовым, иностранный язык, который герой выучил в той же армии, называется латинским. Понятно, что Нартов не нашел точного аналога немецкому слову «welsch», но от этого описанная ситуация стала еще смешнее и абсурднее: можно подумать, что персонаж комедии служил в римской (а может быть, папской?) армии. Были ли подобные курьезные ошибки или осознанные остроты у Елагина, выяснить невозможно — его переделка комедии Хольберга до нас не дошла.

Под началом Елагина

Кажется, сама судьба помогает Фонвизину найти собственный жизненный путь и стать одним из величайших деятелей отечественного театра: во время первого посещения Северной столицы он приходит в восторг от постановки комедии Хольберга «Генрих и Пернилла» и, «потеряв благопристойность», хохочет над шутками великого «комедиянта» Якова Даниловича Шуйского, в Петербурге же знакомится с прочими «вхожими в дом дядюшки» «великими людьми»: «первым актером» публичного русского театра Федором Григорьевичем Волковым и его коллегой, знаменитым Иваном Афанасьевичем Дмитревским, в 1763 же году начальником Фонвизина становится театрал Елагин, который, по ироническому наблюдению Екатерины II, «умрет от садна слуховой перепонки, произведенного театральной гармонией».

Именной указ о переводе Фонвизина в Кабинет по приему челобитных был подписан 7 октября 1763 года; при этом, поступая в распоряжение нового начальника, он продолжает числиться сотрудником Коллегии иностранных дел и из нее же получать причитающееся ему жалованье (как сказано в Высочайшем указе императрицы, «Переводчику Денису Фон-Визину, числясь при Иностранной Коллегии, быть для некоторых дел при нашем Статском Советнике Елагине, получая жалование по-прежнему из Коллегии»). Поначалу отношения между Фонвизиным и Елагиным складываются как нельзя лучше. В

письмах родным, датированных концом 1763 года, Елагин упоминается без малейшего раздражения, в основном в связи с делами службы: «во вторник был я у И. П. на час, а дело дано мне было на дом», «во вторник и в среду все дни пробыл у И. П. — дело было очень велико», «во вторник в 5 часов прислал по меня И. П. курьера, и так я у него пробыл весь день за делом». Если же у молодого секретаря знатного сановника появляются «свободные часы», он проводит их за «полезными увеселениями», наносит визиты важным господам, смотрит русские и французские спектакли, слушает итальянские оперы, посещает балы и маскарады, и Елагин нисколько этому не препятствует: «в понедельник обедал у И. П. Дела было однако не очень, так что после обеда мог я уехать к Dmitrew. (актер Иван Афанасьевич Дмитревский. — *М. Л.)* и от него au bal masque chez Locat.» (итальянский организатор популярных в начале екатерининского царствования придворных балов-маскарадов Джованни Батиста Локателли. — *М. Л.)*.

Петербургская жизнь Фонвизина наполнена незначительными и суетными событиями: он беспокоится, что не сможет достать билет в «кавалерскую трагедию» (театральные представления, в которых все роли исполнялись придворными), огорчается, что некая «бестия» и «дура» оклеветала его перед отцом русской трагедии и «северным Расином» Александром Петровичем Сумароковым (которого тут же и без всякого почтения именует «безумным человеком», дуре поверившим), хвалится, что играет на своей скрипке «с пречудным мастерством» (в этом его утверждении нет и тени иронии). Жизнь в столице дорога, секретарское жалованье невелико, Фонвизин начинает испытывать финансовые затруднения и пытается поправить положение с помощью удачно проведенной коммерческой операции.

В конце 1763 года в типографии Кадетского корпуса Фонвизин издает свой перевод романа французского аббата Жана Жака Бартелеми «Любовь Кариты и Полидора». Выходу этого сочинения предшествуют длительные и малообъяснимые проволочки (еще в августовском письме сестре Феодосии Фонвизин жалуется, что его труд «все переходит из рук в руки членов кадетского корпуса для подписания»), однако упорный юноша преодолевает все препятствия и приступает к осуществлению своего книготоргового предприятия. Переводчик полагает, что трогательная история любви прекрасных афинянина и афинянки, принесенных в жертву чудовищу Минотавру, заинтересует отечественного читателя, и «издает» целых 1200 экземпляров. По его замыслу, часть тиража должна была попасть

в Москву и быть реализованной стараниями Феодосии. Ей поручается получить книги (сначала 60, а потом — 300 штук), отнести их в переплет, затем продать в академическую лавку и как можно скорее отправить удрученному бедностью брату вырученные деньги («Деньги как наискорее, Бога ради, присылай», «Как возможно скорее присылай. Здесь деньги редки»), В Петербурге же книги распространяет сам переводчик — «у переплетчика по полтине». Надо полагать, что в старой столице их покупали без большой охоты, Фонвизин торопится и к началу 1764 года соглашается уступить «Любовь Кариты и Полидора» хоть по 25 копеек за штуку. В это же время он впервые задумывается о переходе на новое место — о своем неудовольствии прямо он еще не говорит, но очевидно, что служба при коллегии и должность секретаря кабинет-министра устраивают его не вполне. Сослуживец Фонвизина князь Федор Яковлевич Шаховской собирается занять место резидента в Данциге и приглашает его отправиться вместе с ним. Фонвизин с радостью принимает предложение и, если бы Шаховской не упустил свой шанс, наверняка продолжил бы свою карьеру в Северной Германии.

В Петербурге Фонвизину приходится тяжело, здесь он чувствует себя «чужестранцем», скучает по родным, непрекращающиеся праздники и балы сильно его раздражают, однако он участвует в придворных развлечениях, надевает розовое домино и «плетется» на маскарад. Он страшно устал и хочет в отпуск в Москву, тем более что дома ожидается событие огромной семейной важности — старшая сестра Феодосия выходит замуж за петербургского товарища Фонвизина, «любезного человека», имеющего «просвещенный разум», сына бывшего директора Московского университета, но при этом «чужестранца в Москве», гвардейского офицера Василия Алексеевича Аргамакова. Фонвизин, узнавший душу, сердце и достаток своего «истинного» друга, рекомендует Аргамакова как достойного и благородного молодого человека, не богатого, но способного «содержать себя честным образом». Правда, уехать из Петербурга на свадьбу сестры и лучшего друга оказывается не так-то просто: послушный сын, он хлопочет о каком-то «батюшкином деле» и не может двинуться с места, пока не дождется окончательного решения. Отец же просит Дениса поскорее приехать домой и одновременно с этим — завершить начатое предприятие. Удалось ли Фонвизину навестить родных в начале 1764 года, до сих пор остается неизвестным.

Зато доподлинно известно, что за время своей многолетней службы в Петербурге в Москву он все-таки выезжал. Например, в

самом конце 1765 года он целых 29 дней живет в родном городе в кругу близких ему людей, наслаждается их обществом и отдыхает от столичной суеты. Однако чем приятнее Фонвизину было окунуться в жизнь московскую, тем тяжелее он возвращался к жизни петербургской. Теперь, в начале 1766 года, он еще острее переживает свою разлуку с милыми родственниками, страдает от одиночества, и его самые «изрядные» дни меркнут при сравнении с московскими. В Петербурге ему, честному человеку с чувствительным сердцем, приходится иметь дело со «злодеями» или «дураками». Как полагает сам Фонвизин, от жизни в кругу бесчестных людей начинает портиться его характер, и то, что еще недавно казалось смешным и забавным, теперь приводит в бешенство. Его не веселит история про жену, закричавшую «караул!», когда муж вез ее купаться в проруби, про мужа, едва не поколоченного женой накануне Нового года и на этом основании изъявившего богопротивное желание поскорее с ней развестись, про отправленного на покаяние буйного пьяницу и оскорбителя собственных родителей, сына бывшего елизаветинского канцлера Алексея Петровича Бестужева — графа Андрея Алексеевича, об умственных способностях которого раздраженный острослов отзывается весьма ядовито (в монастырь младшего Бестужева «посадили» «каяться в том, что не поступал он по правилам здравого рассудка, хотя никто не помнит того, чтобы какой-нибудь род разума отягощал главу его сиятельства»). Такая жизнь кажется Фонвизину невыносимой (все здесь говорит о том, что «в свете почти жить нельзя, а в Петербурге и совсем невозможно»), и в создавшейся ситуации он не видит иного выхода, как настоятельно просить своего шефа «переменить» его «судьбину».

Другая причина постоянного раздражения москвича в Петербурге — необходимость ежедневного общения со своим «товарищем» по службе, секретарем Елагина — Владимиром Игнатьевичем Лукиным. Его Фонвизин ненавидит всей душой, презирает за происхождение, душевную низость и бездарность. По его мнению, подлый человек Лукин вкрался в доверие к честному «командиру» Елагину и изо всех сил интригует против добродетельного аристократа Фонвизина, доводит своего коллегу до отчаяния и вынуждает его, забыв про бедность, всерьез задуматься об отставке. На протяжении шести лет, с 1763 по 1769 год, Фонвизин постоянно жалуется на козни «твари», «змеи», «негодяя» и «бездельника» Лукина и пронесет ненависть к удачливому «мерзавцу» через всю свою жизнь. Елагин же к Лукину благоволил, ценил его талант драматурга и мастерство переводчика. Не случайно завершение перевода романа аббата Прево «Приключения маркиза Г., или Жизнь человека,

оставившего свет», начатого еще до своего стремительного возвышения при дворе, Елагин поручит любимому секретарю. Лукин справился с поставленной задачей, и перевод последних частей романа Прево был напечатан в 1764–1765 годах в сопровождении благодарственного посвящения начальнику.

Как и Елагин, переделавший комедию Хольберга, Лукин переделывал комедии французов Детуша, Буасси, Дюпати и англичанина Додели (естественно, используя французский текст). При этом Лукин был не только практикующим переводчиком, но и теоретиком, создателем знаменитой концепции «склонения на наши нравы». Переводя иноязычную комедию, полагал автор знаменитого «Мота, любовью исправленного», «Щепетильника» и «Награжденного постоянства», необходимо не столько демонстрировать силу таланта чужестранного драматурга, сколько исправлять нравы отечественного зрителя. Поэтому действие, венцом которого становятся торжество добродетели и осмеяние порока, должно разворачиваться в привычной русскому «смотрителю» обстановке: в русских городах, среди людей, носящих русские имена, облаченных в русские одежды и занимающих «русские» должности. В комедиях Лукина нет места заверяющим брачный контракт нотариусам, зато в них участвуют галломаны Верхоглядовы, верные слуги Василии и добродетельные девицы Клеопатры. Служа под началом Елагина, Фонвизин волей-неволей должен был стать членом его «кружка» и «склонять на русские нравы» иностранные комедии.

Вклад Фонвизина в общее дело — поставленная в конце 1764 года переделка комедии французского драматурга Жана Батиста Луи Грессе «Сидней», в фонвизинской версии — «Корион». Верность Фонвизина принципам, изложенным Лукиным и реализованным на практике Лукиным же и Елагиным, проявляется в самом названии комедии: вместо иноземного Сиднея на сцену выходит русский Корион (имя редкое, но встречающееся: одного из талантливейших стихотворцев второй половины XVII — начала XVIII века звали Карион Истомин). Русификации подвергаются имена других персонажей французской комедии — слуга Дюмон превращается в Андрея, а садовник Анри — в безымянного Крестьянина. Правда, лучшим другом главного героя становится не Лорд Гамильтон, а совсем не русский Менандр (по-гречески «твердый муж»), тезка древнегреческого комедиографа. Другие персонажи «склоненной» комедии Фонвизина также вызывают исторические ассоциации: например, возлюбленную Кориона, Зиновию, зовут так же, как хорошо известную европейскому читателю царицу Пальмиры (в одной из историко-биографических работ Хольберга, на русский

язык не переведенной, специально сравниваются Зенобия и российская императрица Екатерина I, и между ними обнаруживается много общего). Зачем Фонвизину потребовалось называть героев своей комедии именами известных исторических личностей, объяснить сложно; отметим лишь, что в этом своем начинании он не оригинален: влюбленную героиню комедии Лукина «Мот, любовью исправленный» зовут Клеопатра, и подобно Зиновии, со своей царственной тезкой она имеет мало общего.

Кроме имен персонажей, Фонвизин изменяет и место действия: события этой совсем не смешной комедии происходят в подмосковной деревне страдающего героя. Москва же с ее колокольным звоном становится прекрасным городом, который вопреки здравому смыслу и дворянскому долгу покинул новоявленный полковник Корион. Изменив своей любимой Зиновии, одумавшись, но не имея надежды увидеть ее в живых, он замышляет самоубийство. Узнав о намерении своего хозяина, преданный слуга Андрей предусмотрительно убирает шпагу и пистолеты, однако предпринятые меры оказываются недостаточными, и Корион принимает яд. Прибывшая в его усадьбу влюбленная Зиновия прощает раскаявшегося изменника, тот обращается к ней с предсмертной пламенной речью, сокрушается, что из-за своего малодушия лишается и жизни и любимой, описывает свою предсмертную тоску. Дело идет к трагической развязке… как вдруг слуга Андрей насмешливо объявляет, что в последний момент он заменил отраву простой водой и жизни Кориона ничего не угрожает. Исцелившийся герой рождается для новой жизни, в которой у него будут верный друг Менандр, усердный слуга Андрей и обожаемая жена Зиновия. Как же обстояли дела сердечные у самого Фонвизина?

Любовь и поэзия

В «Чистосердечном признании» рассказывается о «порочной» привязанности Фонвизина к глупой москвичке, в письме от 13 декабря 1763 года упоминается «маленькая история» с дочерью Сумарокова. Но, как утверждает Фонвизин, эти происшествия — не больше чем пустяк и ничтожный «вздор». В самом начале 1764 года он клятвенно заверяет Феодосию, что ни в кого не влюблен, поскольку в Петербурге влюбиться ровном счетом не в кого («все немки ходят бледны, как смерть»), а Бакунина, которой он отдал билет на трагедию, уже 20 лет как замужем. Правда, как представляется, для Фонвизина замужество возлюбленной никогда не становилось непреодолимым препятствием.

По словам первого биографа П. А. Вяземского, в 1763 году в Петербурге он всерьез увлекся Анной Ивановной Приклонской, женой будущего директора Московского университета Михаила Васильевича Приклонского (в 1784 году на этом посту его сменит брат Фонвизина — Павел Иванович), постоянной посетительницей знаменитого «литературного салона» г-жи Мятлевой и, следовательно, собеседницей М. М. Хераскова, В. И. Майкова, И. Ф. Богдановича, И. С. Баркова, Ф. Г. Волкова и пылкого острослова Фонвизина. Несомненно, госпожа Приклонская имела удовольствие наблюдать словесные поединки молодого насмешника со старшими коллегами, когда он набрасывался на соперника, по удачному сравнению очевидца, подобно коршуну, и неизменно «одерживал поверхность» и над Майковым, и над Херасковым. Вяземский, специально расследовавший эту историю, утверждает, что Анна Ивановна была умна, образованна и начитанна, но при этом чрезвычайно не красива — «длинная, сухая, с лицом, искаженным оспой». Фонвизин же «был ей предан всем сердцем, мыслями и волей; она одна управляла им как хотела, и чувства его к ней имели все свойство страсти и страсти беспредельной». Правда, о своем чувстве он не пишет нигде, никому и ни разу. Как следует из писем Фонвизина домой, в августе 1763 года супруги Приклонские «безмерно» его «обласкали», в конце того же года Приклонская вместе с Козловским и Аргамаковым входила в круг ближайших его друзей, в 1766 году Анна Ивановна уверяла его в своем искреннем «дружестве», а в 1770 году Михаил Васильевич «дает» своей жене такие «вытаски», что дело доходит до Священного синода.

Совсем другое дело — неизвестная москвичка, «страсть» к которой, в отличие от первого опыта Фонвизина, была основана на «почтении», а не на «разности полов», и о любви к которой он пишет в своей «исповеди». Из «Чистосердечного признания» следует, что, находясь в 1768 году в Москве, он познакомился с неким полковником, как и другой полковник — Корион, человеком честным, но легкомысленным. Своей жене, даме «препочтенной», он был неверен, та безумно его любила, и жизнь ее была самой ужасной. Однажды молодой писатель познакомился с родной сестрой несчастной полковницы и тотчас же почувствовал к ней «совершенное почтение», которое вскоре переросло в «нелицемерную привязанность» и уже после, во время недельного пребывания в подмосковном имении полковника — в любовь. Добродетельная женщина хранила верность своему мужу, тоже военному, «стоящему с полком недалече от Москвы», не давала молодому влюбленному «ни малейшего повода к

объяснению» и призналась в своей любви только во время их последней встречи.

В автобиографии Фонвизин настаивает на чистоте их отношений и утверждает, что любовь к этой женщине он пронес через всю свою жизнь. Рассказывая эту чувствительную историю, автор чрезвычайно серьезен, не допускает даже тени иронии и, будучи уже давно и будто бы счастливо женатым, откровенно грустит о навсегда потерянном счастье. Несомненно, чувствительное сердце и насмешливый нрав молодого остроумца не оставляли равнодушными окружающих его женщин, Фонвизин «в двадцать лет» был «красавицам любезен» (как выразился по другому поводу ученик Сумарокова и знакомый Фонвизина, поэт Василий Иванович Майков).

Недоброжелатели же спешат при первой возможности оклеветать молодого человека, распускают слухи о его порочности, обсуждают его роман с дочерью Сумарокова, а потом — с полковницей, сестрой его истинной возлюбленной. Прославленный русский поэт, по словам расстроенного Фонвизина, оговорившей его «бестии» поверил и с младшим коллегой поссорился; о реакции же полковника на эти слухи нам неизвестно ничего. Однако Фонвизин подобные упреки с негодованием отвергает как совершенно беспочвенные и призванные испортить его репутацию и очернить имя честной женщины.

Женщины, составлявшие круг общения юного писателя, были все как одна страстно увлечены литературой. Их интерес мог быть смешным и нелепым, как в случае с глупой москвичкой, которой переводчик басен Хольберга показывал развращающие воображение книги, или серьезным и глубоким, как в случае с Анной Ивановной Приклонской. Феодосия Ивановна занималась литературой весьма серьезно, читала книги, рекомендованные младшим братом, и сама писала стихи. Фонвизин, которому П. А. Вяземский отказывал в поэтическом таланте, в поэзии разбирался и давал сестре дельные советы. Например, в одном из писем рубежа 1763–1764 годов он рассыпается в похвалах, сулит ей великое будущее, отмечает, что в поэтических творениях Феодосии «мысли прекрасны, изображение очень хорошо и непринужденно, и версификация везде почти чиста», но при этом замечает, что рифмовать одни лишь глаголы не хорошо, и рекомендует использовать «имена, наречия и проч.». В своем поэтическом творчестве Фонвизин точно следует этому правилу и старается избегать монотонных, как в XVII веке, глагольных рифм: их мало и в «Альзире», и в «Послании к слугам моим», и в «Корионе». Таких рифм должно быть мало и в стихотворениях,

которые, как следует из того же письма, авторитетный наставник юной Феодосии планирует написать и тут же передать сестре («хочу писать что-нибудь стихами, и первая ты их иметь будешь»). И действительно, в это время стихи он пишет, и Феодосия знакома с ними очень хорошо: «сегодня Василий Алексеевич (Аргамаков. — *М. Л.)* и братец Денис Иванович поехали в академию, — рассказывает Феодосия Ивановна в письме от 7 июля 1765 года, — там празднество, и сама государыня изволит присутствовать… Братец поехал несколько и для того, что, думаю, хор академии будет петь его похвальные государыне стихи, которые велел ему сделать Елагин». Правда, достоинства этого творения «на девяти строках» смогли оценить лишь сестра и начальник Фонвизина. «…Стихов братцовых в академии не пели, а пели стихи Теплова, которые очень дурны перед братцовыми», — заканчивает Феодосия свой печальный рассказ.

В себе Фонвизин видит «правильного» стихотворца и тонкого ценителя поэзии, по обыкновению, ядовитого и бескомпромиссного. Как и для большинства современников, предмет его насмешек — поэтическое творчество В. К. Тредиаковского: в письме сестре от 13 декабря 1763 года он потешается над «странными и смешными стихами», гигантским объемом и несуразным поведением (что может быть забавнее Ахиллеса в женском платье) героев трагедии «Деидамия». Скучная пьеса убаюкивает желчного критика, и, засыпая, он записывает образчик настоящей поэзии, блестящий экспромт, адресованный ближайшему другу и коллеге по цеху:

Слабеют мысли все, объемлет чувства сон.
Ты знаешь ли, кого на мысль представит он?
Представит ту он мне, кого люблю сердечно,
Тебя представит он; я знаю то, конечно.
О сон! Приятный сон! Прелестные мечты!
Но ах! И на яву нейдешь из мыслей ты!

Естественно, здесь Фонвизин не вполне серьезен: в его письмах сестре стихотворные вставки призваны создать непринужденную атмосферу литературной игры и рассмешить собеседницу. Позднее, в 1770 году, внушая Феодосии, что, несмотря на войну с Турцией, предстоящая поездка Павла Ивановича в Морею не опасна, Фонвизин добавляет рассказ о его сердечных делах: «Брат Павел оставил здесь Замятину в тоске и горьком плаче. Он же, благодаря Бога, расставаясь с нею, о стену головою не стукнулся. Я думаю, что гречанки заставят его забыть россиянку. Его сердце в рассуждении нежной страсти на мое не

похоже. Я верен яко горлица».

Где я ни буду жить, доколе не увяну,
Дражайшую мою любить не перестану;
Я брата восхотел отселе удалить,
Чтоб мог он, удален, Замятину забыть.

Искусство рифмовать Фонвизин демонстрирует не только сестре, но и своему литературно одаренному начальнику — Ивану Перфильевичу Елагину. Правда, эти рифмы не добродушно-«элегические», а ядовито-«сатирические». Перечисляя в 1769 году причины, по которым ему, находящемуся в отпуске, не следует оставлять Москву и спешить в Петербург, Фонвизин, между прочим, настаивает на своей служебной бесполезности: сейчас при Елагине всю работу выполняет *секретарь,* Фонвизин же может использоваться лишь для рифмы, как *тварь.* Естественно, соглашается автор прошения, он отдает себе отчет в том, что называться тварью совсем не обидно, ведь все люди — божьи твари. Обидно становиться такой тварью, которой назначено быть всего лишь рифмой для другой, имя которой он предпочитает не называть. Иными словами, Фонвизин балагурит, дискредитирует в глазах начальника своего старинного врага Лукина, называет его безымянным секретарем и тварью; а может быть, не желая ехать в Петербург, объясняет Елагину, что секретарь у него уже есть, а становиться рифмованным к нему приложением Фонвизин не хочет. В любом случае здесь он уподобляется древнерусскому скомороху или, лучше сказать, — Даниилу Заточнику, из далекой ссылки развлекающему господина своими неожиданными рифмами. Другое дело, что «ссылка» Фонвизина была приятной, и возвращаться из нее он ни в коем случае не желает. Вероятно, области скоморошьего балагурства принадлежит и умилившее исследователей желание 24-летнего просителя прожить наступающие последние дни жизни, не встречаясь с Лукиным («Ваше превосходительство изволите сами знать, что я для миллиона резонов с г. Л. быть вместе не могу, ибо кто не желает остатки дней своих провести спокойно?»), и упоминание прописанной ему врачебной диеты, запрещающей писать стихи и пить английское пиво («ибо как то, так и другое кровь заставляет бить вверх» и тем самым вызывает сильные головные боли), и деликатное опасение утомить серьезного человека «вздорными письмами» и «философиею».

Однако вернемся к обстоятельствам жизни Фонвизина в 1760-е годы. С 1763 по 1769 год он остается секретарем Елагина

и за это время покидает столицу трижды. Кроме упомянутого 29-дневного отпуска в 1765 году, Фонвизин живет у родителей в 1767 (в это время в Москве работает Уложенная комиссия, и молодой секретарь находится при сопровождавшем императрицу Елагине) и 1769 (когда он получает полугодовой отпуск, из которого так не хочет возвращаться в Петербург, и встречает свою самую большую любовь) годах. Живя в Петербурге, Фонвизин регулярно видится с дядей и вместе с прибывшими братьями проводит время в семейном кругу. «На Петровском острову был я в субботу с братьями, — рассказывает почтительный сын „милостивому государю батюшке и милостивой государыне матушке“ в одном из писем лета 1768 года, — нас всех взял с собою дядюшка; он со всею фамилиею туда ездить изволил. Обедали мы у Резвова, катались на шлюпке, качались, играли в фортуну и время свое довольно весело проводили. Каждый день бываю у дядюшки, да и нельзя иначе. Он нас жалует, да близость места не допускает нас долго быть розно. Мы живем почти друг против друга». Службой же у Елагина Фонвизин остается недоволен, а его отношения с патроном продолжают складываться очень и очень не просто. Если летом 1766 года Фонвизин рассказывает родителям о своей любви к «командиру», который наконец-то перестал заблуждаться на счет Лукина, и весьма эмоционально клянется почитать этого «благородного и честного человека» даже в случае, если их пути разойдутся и Фонвизину придется оставить это место, то осенью 1768 года он говорит о твердом намерении уйти в отставку и через несколько лет начать служить снова, но уже под началом не такого «урода», как Елагин. Как же случилось, что за два года достойный почитания «командир» превратился в «урода», почему Фонвизин так эмоционален и на чем основана его неприязнь к вельможе, «имеющему разум, просвещенный знанием», и «доброе сердце»?

Летом 1768 года Кабинет по приему челобитных был передан под начало генерала Степана Федоровича Стрекалова, Фонвизин сдает дела, но по-прежнему находится при Елагине, который становится сенатором и остается «вице-президентом Главной дворцовой канцелярии и при кабинете Ее Величества у собственных дел» и «над спектаклями главным директором». В это время Фонвизин страдает не столько от разлуки с родными, не столько от козней заклятого врага Лукина, сколько от упорного нежелания начальника заняться его делами, добиться производства в чин (в 1768 году он был всего лишь титулярным советником) и повышения жалованья. Работы по службе у Фонвизина немного, но ему приходится ежедневно бывать у ненавистного «командира», и эти визиты становятся для него

крайне неприятными и «беспокойными». Сам Елагин, по словам Фонвизина, «держится одною удачею» и поэтому не задумывается ни о чьем благополучии, ни о своем, ни о зависящих от него людей. Фонвизина же Елагин искренне любит, хочет оставить при себе, уверяет его, что отставкой или «переменой места» он непременно себя погубит, но видит в своем секретаре лишь приятного собеседника и сотрапезника. Фонвизин хотел бы служить у другого начальника, но среди них нет никого, кто захотел бы идти на прямой конфликт с властным вельможей («Такая беда моя, — пишет Фонвизин в письме родителям от 11 сентября 1768 года, — что никто прямо от него брать меня не хочет, а на него я никакой надежды не имею»). Попав в столь непростую жизненную ситуацию, не имеющий руководства и покровительства молодой человек «бежит» в отпуск в Москву и «скрывается» в доме родителей.

Кажется, служебная карьера секретаря и переводчика близка к бесславному завершению и выхода из положения не существует. Фонвизин крайне раздражен создавшимся положением, в письмах 1768 года родным ругает Елагина последними словами, а в «балагурных» посланиях 1769 года принципалу выражает надежду, что тот вызывает его в Петербург лишь для того, чтобы «поправить обстоятельства» окончательно обедневшего и отчаявшегося сделать служебную карьеру сотрудника. Правда, еще в позапрошлом веке было высказано предположение, что письмами Елагину Фонвизин, твердо решивший покинуть равнодушного начальника, пытался потянуть время и дождаться перемены своей судьбы.

В 1768 году старший брат и любящий сын заботится о прибывших в Петербург Александре и Петре Фонвизиных и продолжает хлопотать о делах отца: посещает его шефа — начальника Ревизион-коллегии Романа Илларионовича Воронцова (получившего прозвище «Роман — большой карман»), передает ему неизвестное нам, но чрезвычайно важное для Ивана Андреевича письмо и сообщает родителям о доброжелательности сенатора. Правда, отец знаменитой княгини Екатерины Романовны Дашковой («Екатерины Малой», в девичестве — Екатерины Воронцовой) вызывает у раздраженного Фонвизина презрение, не меньшее, чем Елагин: будучи в фаворе, вельможи мало считаются с интересами зависящих от них подчиненных, оказавшись же в опале, становятся приветливыми и любезными. Видеть, как «идут дела», омерзительно и для честного человека невыносимо: хорошо ли, когда публика проливает слезы над страданиями сценического персонажа и при этом равнодушна к настоящим бедам живого человека? («К пользе человеческого

рода каждую неделю дают здесь по трагической или комической штуке. Льются слезы о несчастий театрального героя, а бедный Чур., который несчастлив не на шутку, забыт, да и помнить о нем не велят. Вот как в свете дела идут», — рассказывает возмущенный Фонвизин родителям в одном из писем 1768 года.) Единственная альтернатива этому аду — «любезная неволя» в Москве, в кругу родных и близких людей; лишь там он может обрести вожделенный покой и счастье. О своем желании воссоединиться со своими любимыми домочадцами Фонвизин говорит практически во всех своих письмах сестре и родителям, за встречу с ними готов отдать «семь десяток жизни», но такого раздражения против петербургской жизни, как в 1768 году, он не испытывал никогда.

В письмах Фонвизина из Петербурга, в каком бы состоянии ни находились его дела, постоянно встречаются слова «скука», «огорчение», «утешение», «разлука», «вина». В столице ему плохо настолько, что он ощущает себя узником, за неведомое преступление лишенным душевного равновесия и наказанным разлукой с любимыми людьми. Свобода ему безразлична не потому, что пагубна для молодого человека, а потому что не согревает душу и не дает счастливого покоя; сестра уверена, что в Петербурге ему живется весело, а он скучает и рвется «к своим». Даже рассказывая в 1766 году о головокружительных успехах на службе у Елагина, о «падении» (как выяснилось, несостоявшемся) Лукина и своем «возвышении», он обязательно отметит, что вдали от милых родных его счастье не может быть полным, и обязательно вставит пассаж о своей скучной жизни (пусть виной тому всего лишь петергофский ветер и отсутствие возможности выйти на улицу). В следующем десятилетии повзрослевший Фонвизин будет продолжать жаловаться на придворную скуку и поразительную для честного человека несправедливость, но так тосковать по Москве уже не станет.

Новые переводы

Во второй половине 1760-х годов Фонвизин, переводчик «Альзиры» и творец «Кориона», продолжает переводить литературные произведения и политэкономические труды современных европейских, в первую очередь французских, авторов. Его стараниями в 1766 году увидела свет русская версия трактата аббата Габриэля Франсуа Куайе «Торгующее дворянство», в 1768 году — перевод последней части романа Жана Террассона «Сиф» («Сиф, или История жизни, почерпнутая из памятников и свидетельств Древнего Египта»), в 1769-м —

«чувствительного» романа Д'Арно «Сидней и Силли, или Благодеяние и благодарность» и «поэмы» Поля Жереми Битобе «Иосиф».

Даже при беглом сопоставлении внешнего вида этих изданий можно заметить, насколько по-разному Фонвизин относится к оригиналам выполненных им переводов, насколько различными были причины, побудившие его взяться за работу. Если Фонвизин выполняет служебное распоряжение начальства или работает на заказ, на титульном листе книги указывается имя переводчика: «Басни нравоучительные с изъяснениями г. барона Гольберга, перевел Денис фон Визин» или «Торгующее дворянство противу положенное дворянству военному, или Два разсуждения о том, служит ли то к благополучию государства, чтобы дворянство вступило в купечество с прибавлением особливаго о том же разсуждения г. Юсти. Переводил Денис фон Визин» (из сочинений известного во всей Европе профессора политической экономии Й. Г. Г. фон Юсти Фонвизину было поручено переводить книги «О правительствах» и «Полицейскую науку»). Если же автор трудится по собственному почину, на титульном листе печатается лишь имя сочинителя — Террассона, Д'Арно или Битобе; о переводчике не говорится ничего, хотя его участие в подготовке издания весьма заметно. Русская версия книги Битобе открывается пространным предисловием переводчика, книги Д'Арно — трогательным посвящением неназванной по имени возлюбленной Фонвизина, по мнению исследователей, той самой прекрасной москвичке, любовь к которой он пронес через всю свою жизнь: «К госпоже… Следуя воле твоей, перевел я Сиднея и тебе приношу перевод мой. Что мне нужды, будут ли хвалить его другие? лишь бы он понравился тебе. Ты одна всю вселенную для меня составляешь».

Судя по всему, появление фонвизинских переводов «Иосифа» и «Сиднея» вызвано причинами сугубо личного свойства. Историю о прекрасном юноше, проданном братьями в рабство, Фонвизин услышал от отца еще в «младенчестве», и, как следует из «Чистосердечного признания», незатейливый рассказ на «чувствительную» тему исторг у него потоки слез; за роман Д'Арно же Фонвизин взялся по настоянию своей пассии. Политэкономический трактат аббата Куайе с сентиментальными историями Фонвизина, по всей видимости, связан не был, однако создание и этого перевода можно объяснить житейскими обстоятельствами молодого титулярного советника.

В своей работе, ставшей репликой во внутри-французском и, естественно, известном всей Европе споре, Куайе доказывает необходимость «вступления дворянства в купечество» и

утверждает, что «купечество возвышает дворянство». Надо понимать, для потомка знатных и воинственных рыцарей фон Визинов этот вопрос был весьма актуальным. Едва ли не в каждом письме родным Фонвизин рассказывает о своем, как правило, неудовлетворительном финансовом положении, об огромных расходах и своей вынужденной экономии («теперь мне будет терпеть убыток, который пришел очень некстати, затем, что в деньгах у меня и так изобилия нет» или «отъехав от вас, взял я только 165 рублей своего жалования, которыми до сего числа жил, то есть слишком пять месяцев», — пишет Фонвизин в 1766 году). По этой ли причине или по склонности к коммерческой деятельности, но время от времени Фонвизин из дворянина, «которого отцы и предки родились господствовать», становится «купцом»: сначала распродает тираж «Жизни Сифа», значительно позднее, уже будучи человеком женатым и хозяином более тысячи крестьян, покупает в Италии произведения искусства, переправляет их для продажи в Россию и не видит в этом ничего предосудительного. В споре о должности дворянина русский переводчик, молодой человек из благородного сословия, полностью разделяет позицию аббата Куайе и не принимает аргументов его оппонента — рыцарственного маркиза де Лассе.

Больше того, трактат «Торгующее дворянство» не мог не вызывать в памяти просвещенного читателя (и, естественно, прекрасно начитанного Фонвизина) комедию Хольберга «Дон Ранудо де Колибрадос», главный герой которой, благородный, но до крайности обнищавший испанский гранд, готов скорее умереть в нищете и уморить голодом чад и домочадцев, чем поступиться правилами сословной чести. Восклицания Куайе-Фонвизина: «Что нам делать шпагою, когда кроме голода не имеем мы других неприятелей!» или: «Вы опасаетесь презрения и в нищете остаетесь. Вы любите знатность и ничего не значите!» — напрямую перекликаются с репликами разумных и насмешливых персонажей комедии датского просветителя. В переводе Ивана Кропотова их каламбуры звучат вполне по-фонвизински: *«Дона Олимпия*: Как о том ни вспомню, кипит во всех жилах моих благородная кровь! — *Педро*: Вить чему-нибудь в доме да надобно же кипеть, для того что в котле у нас давно уж ничего не кипело». Или: «…честь и почтение вещи очень хорошие, а как их в обеде или в ужине вместо пищи употреблять, то скоро до смерти объесться можно».

Книга «Торгующее дворянство» вышла большим тиражом: ведь для российского шляхетства поставленная в ней проблема была важной и актуальной, а пути решения, предложенные французским аббатом, — продуманными и убедительными.

Однако для Фонвизина этот труд не стал ни эпохой в жизни, ни поворотным пунктом в карьере переводчика. О трактате Куайе не говорят ни он сам, ни интересующиеся его творчеством современники. К началу 1770-х годов Фонвизин имеет репутацию молодого и «острого» писателя, заинтересовавшего публику в первую очередь своими литературными сочинениями. В «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772) друг и сотрудник Фонвизина Николай Иванович Новиков перечисляет основные его творения 1760-х годов: «Альзиру», «Кориона», многочисленные, но в большинстве своем не названные сатирические стихотворения, «Иосифа», «Бригадира и бригадиршу», а также менее значительные произведения — «Жизнь Сифа», «Кариту и Полидора», «Сиднея и Силли». Те же сочинения Фонвизина названы в сатирическом стихотворении «К творцу послания, или Копия к оригиналу» его заклятого врага Александра Семеновича Хвостова: «Сидней» («Корион»), «Иосиф», «другой Сидней» («Сидней и Силли»), «Жизнь Сифа», «Альзира», ядовитые стихотворения, «Бригадир». Таков итог десятилетней литературной деятельности этого в высшей степени перспективного (для Новикова), или заносчивого и нескромного (для Хвостова), восхищающего или раздражающего, но бесспорно заметного писателя.

Как бы ни относились к раннему творчеству Фонвизина его современники, они непременно останавливаются на «Иосифе» и «Бригадире», выделяют их из круга прочих творений молодого литератора. Для них, как и для самого Фонвизина, эти сочинения были новым, невиданным в отечественной литературе, достойным прославления или осмеяния явлением. В «Бригадире» молодой комедиограф представляет «смотрителям» первую комедию «в наших нравах», в «Иосифе» пытается открыть для русского читателя неизвестный доселе «слог», сочетающий «важность» славянского и «ясность» русского языков. Конечно, для Фонвизина, стараниями благочестивого отца упражнявшегося в чтении «книг церковных» с ранних лет, славянский был не темнее русского, и он с удовольствием перевел бы поэму Битобе хорошо ему известными и приличными случаю высокими «словами и речениями», но, к сожалению, далеко не всем россиянам посчастливилось пройти такую языковую выучку.

По мысли Фонвизина, самый неискушенный читатель русского «Иосифа» должен был почувствовать, что перед ним творение, сравнимое с гомеровскими поэмами, которые переводил и за которыми следовал в своем оригинальном творчестве «удачный подражатель древним» Битобе. Не знакомством ли Фонвизина с краткой, вышедшей в 1762-м, и

полной, увидевшей свет в 1764 году, французскими версиями «Илиады» объясняется появление его собственного, правда, сильно разнящегося с переводом Битобе, варианта, и не является ли его переложение начала шестой песни «Илиады» первой попыткой ввести новый для русской литературы «слог»?

«Славлю мужа непорочного, проданного своими братьями, из единого бедства в другое низверженного, возведенного потом из бездны зол на верх величества и власти; благодетеля той страны, где носил оковы, и в цветущей своей юности, во дни щастия и бед своих явившего себя совершенным мудрости примером…» — начинает Фонвизин свой прозаический перевод, и это эпическое вступление-пересказ перекликается с зачинами величайших героических поэм, благодаря российским переводчикам ставших известными широкой отечественной аудитории.

«Пою оружий звук и подвиги героя, / Что первый, как легла во прах от греков Троя, / Судьбой гоним, достиг Италии брегов, / от ополченных нань Юноною богов / По морю и земли был вержен беспрестани, / И много пострадал от кроволитной брани…» — начинает в 1770 году свой перевод «Энеиды» любимый поэт Екатерины Василий Петров. «Воспой Ахиллов гнев, божественная муза, / Источник Грекам бед, разрыв меж них союза, / Сей гнев, что много душ Геройских в ад предслал, / В корысть тела их псам и хищным птицам дал», — вторит ему в 1787 году переводчик «Илиады», «университетский стихотворец» и «русский Гомер» Ермил Костров.

И все-таки «познавший красоты древних авторов» Битобе повествует о судьбе библейского, а не баснословного, будь то Ахиллес или Эней, героя и по этой причине намеревается следовать за «священным песнопевцем», «воспламенившим души» создателей величайших поэм на ветхозаветные сюжеты, Мильтона и Геснера. Мильтон, как указывает Фонвизин в своих примечаниях к переводу «Иосифа», «аглинский стихотворец, творец „Погибшего рая“», Геснер же — «немецкий стихотворец», который «написал в прозе „Смерть Авелеву“». В России переводы чрезвычайно популярной в конце XVIII века «поэмы в пяти песнях» швейцарского поэта Соломона Геснера выходили под названием «Авелева смерть», и лишь Фонвизин переводит немецкое «Der Tod Abels» дословно — «Смерть Авелева». Это же название фигурирует в беловом списке фонвизинского перевода начала поэмы Геснера, хранящегося среди бумаг русского писателя и переписанного его собственной рукой. К сожалению, как и в случае с переводом отрывка «Илиады», мы не можем установить точное время создания этого фрагмента. Предположение, что над переводами двух поэм в прозе, «Смерти

Авелевой» и «Иосифа» (а возможно, и «Илиады»), Фонвизин работал приблизительно в одно время, кажется логичным: в самом деле, его прозаические переводы из «Илиады» и «Смерти Авелевой» выглядят опытами, предваряющими появление русского «Иосифа» или ему сопутствующими, а сам выбор этих поэм может объясняться влиянием того же Битобе, почитателя Геснера и переводчика Гомера. Однако, как и утверждение Г. А. Гуковского, что переводы из Гомера и Геснера выполнялись в последние годы жизни Фонвизина, оно не находит бесспорного подтверждения и остается предположением. Как бы то ни было, эксперимент, поставленный Фонвизиным в «Иосифе», удался, публика с удовольствием читает историю Иосифа Прекрасного и, по свидетельству очевидцев, проливает слезные токи — предложенный молодым переводчиком «слог» принимается с восторгом, и автор-новатор уже не в первый раз за свою лишь недавно начатую писательскую карьеру имеет все основания быть довольным результатом.

Судя по всему, в фонвизинских переводах 1766–1769 годов не может не присутствовать французская тема: из предисловия к «Иосифу» русский читатель узнавал о творчестве французского поэта и переводчика Битобе, в сентиментальной «аглинской повести» «Сидней и Силли» один из благородных и добродетельных героев — природный француз, в трактате Куайе речь идет о роли и назначении дворянства Франции. Французская тема звучит и в оригинальном сочинении Фонвизина, в его знаменитой комедии «Бригадир», но звучит иначе, нежели в книгах французских авторов — в своей пьесе русский «комик» следует за датскими, английскими и немецкими галлофобами.

Рождение «Бригадира»

Для критиков нравов отечественного дворянства второй половины XVIII века галломания — величайшее зло, превращающее, по выражению Фонвизина, «русских дураков» в «дураков французских». «Молодые российские поросята», писал в том же 1769 году сотрудник и единомышленник Фонвизина Николай Иванович Новиков (по мнению некоторых исследователей, эти слова принадлежат самому Фонвизину), «ездят по чужим землям для просвещения своего разума» и возвращаются в Россию «уже совершенно свиньями». Дома же их учат французские кучера, кондитеры или подлекари и ничего, кроме презрения к отечеству и преданности Франции, внушить не могут и не желают. Жалкий вертопрах, петиметр, одевающийся по французской моде и немилосердно смешивающий русские и

французские слова, — вот новый объект ядовитых насмешек русских сатириков.

«Северный Расин» Александр Петрович Сумароков создает комедии «Чудовищи», «Третейский суд» и «Ссора мужа с женой», однокашник и товарищ Фонвизина Александр Григорьевич Карин — комедию «Россиянин, возвратившийся из Франции», а его коллега и враг Лукин — комедию «Щепетильник», один из героев которой утверждает, что «…наш язык самой зверской, и коли бы не мы его чужими орнировали словами, то бы на нем добрым людям без орниру дискурировать было не можно. Кель диабле! Уже нынче не говорят „риваль“, а говорят „солюбовник“. Ха-ха-ха». Начальник Фонвизина и Лукина, глава литературного кружка, переводчик и драматург Иван Перфильевич Елагин переделывает главное европейское сочинение на эту тему — знаменитую комедию Хольберга «Жан де Франс». К сожалению, текст елагинской комедии не сохранился и процитировать его нет никакой возможности.

Хольберг же, образец и авторитет для просвещенных русских авторов, в своих комедиях, эпистолах и «нравоучительных мыслях» высказался по поводу всех животрепещущих вопросов современности, в том числе и относительно вертопрахов и щеголей, называемых петиметрами. Для датского моралиста эта порода наделена лишь ей присущими свойствами и при этом имеет национальные подвиды: французские петиметры похожи на обезьян, а английские — на медведей. Датские же «поросята», и герой его комедии Ханс Франдсен в том числе, обезьянничают на французский манер и изо всех сил подражают господам французам. Несомненно, главный герой «Бригадира» Иванушка — родной брат и тезка Ханса; разве что, в отличие от своего датского или немецкого (Фонвизин читал немецкий перевод «Жана де Франса», хотя среди европейских Хансов-французов были и настоящие немцы) прототипа, по-французски говорит меньше и так, что его в состоянии понять даже не владеющий этим модным языком российский зритель. В остальном же северные Иваны чрезвычайно похожи: оба глупы, оба побывали во Франции и отреклись от своего отечества, оба должны жениться на добродетельной девушке, сердце которой отдано человеку, оценившему ее достоинства и достойному ее любви, и оба не хотят свадьбы не с француженкой: Ханса мало интересует датчанка Эльсебет, а Иванушку — русская Софья.

Для датских славистов комедия Хольберга — важнейший и бесспорный источник комедии Фонвизина. И не только Фонвизина, но и Сумарокова, и не только «Жан де Франс», но и не переводившаяся на русский язык пьеса «Яков фон Стюбое»,

главный герой которой, хвастливый, но трусливый солдат, как и фонвизинский Бригадир, сравнивает полюбившуюся ему красавицу с осажденной фортецией. Даже выбор названия — «Бригадир», а не «Иванушка» или, например, «Иван-Француз», скандинавские исследователи объясняют желанием Фонвизина скрыть прямую связь между своей пьесой и творением датского классика. Исследователи недатского происхождения это положение ставят под большое сомнение и находят в сочинении Фонвизина едва ли не цитаты из комедий других европейских авторов, например из «Французской гувернантки» большого почитателя Хольберга немецкого писателя и теоретика литературы Иоганна Кристофа Готшеда. Так, автор первой биографии Фонвизина на французском языке Алексей Стричек специально отмечает, что всем известные реплики Иванушки и Бригадира — «тело мое родилось в России… однако дух мой принадлежит короне французской» и «ты все-таки России больше обязан, нежели Франции. Ведь в теле твоем гораздо больше связи, нежели в уме» — уже произносились героями Готшеда — Францем и Луисхен.

Сопоставляя датского «Жана де Франса» и русского «Бригадира», специалисты отмечают одно чрезвычайно важное и при этом очевидное отличие: если в комедии Хольберга разрабатывается хоть и актуальная для всей Европы, но единственная тема, то в комедии Фонвизина таких тем несколько, и галломания — лишь одна из них. В самом деле, кроме «французского дурака» Иванушки, в комедии участвуют ханжа и лихоимец Советник, солдафон и ругатель Бригадир, ветреница Советница и ничего не понимающая скопидомка Бригадирша, и все они в равной степени глупы и комичны, и все они — хорошие знакомые Фонвизина, его зрителей и собеседников. Хотя не все и не в равной степени: наибольший интерес у автора и «смотрителей» вызывала все-таки Бригадирша.

Из «Чистосердечного признания» следует, что «подлинником к сочинению Бригадиршиной роли» стала мать той самой москвички, с которой он в свое время рассматривал скверные эстампы, а познакомившийся с комедией будущий начальник и покровитель Фонвизина Никита Иванович Панин обратил внимание лишь на этот, восхитительный в своей неподражаемой глупости, персонаж: «Я вижу… что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу… я удивляюсь вашему искусству, как вы, заставя говорить такую дурищу во все пять актов, сделали однако роль ее столь интересною, что все хочется

ее слушать».

Несомненно, в «Бригадире» комический талант Фонвизина раскрылся в полной мере, его грубоватые шутки остры и беспощадны, а дурачества потешающих публику героев нелепы, но очень натуральны. По обыкновению Фонвизин начинает свою любимую словесную игру: персонаж произносит самую банальную фразу, которую тут же подхватывает, повторяет на свой манер или «развивает» кто-нибудь из его недалеких собеседников. Как обычно, больше других достается умилительно глупой Бригадирше. Вот например: Софья тихонько называет Иванушку дураком, тот, побывавший в Париже и потому уверенный в своей неотразимости, полагает, что невеста им восхищается, и просит не льстить ему так откровенно. Советник объясняет реплику дочери тем, что она «о чем-то с ума сходит». В разговор вмешивается Бригадир и уверяет окружающих, что перед свадьбой такое случается и что его собственная жена, оказавшись в свое время в такой же ситуации, «недели полторы без ума шаталась». Естественно, здесь «мужчина и бригадир» не только делится жизненным опытом, но и «шпыняет» свою опостылевшую супругу: за годы семейной жизни она поглупела настолько, что умнее, чем накануне свадьбы, не была уже никогда. Говорить об уме Софьи Советник и не помышлял, зато Бригадир нашел случай развить свою любимую тему и рассказать всем, в том числе и влюбленному в его «сожительницу» «соседу», всю правду о глупости Бригадирши.

Еще пример: сведущий в Священном Писании и «книгах церковных» ханжа Советник замечает, что у «Создателя… все власы главы нашея изочтены суть». Эту мысль тут же подхватывает рачительная хозяйка Бригадирша и начинает упрекать мужа, не разделяющего ее страсть считать деньги. Спор раздражает Бригадира, и он, дурак под стать жене и к тому же гневливый грубиян, обещает устроить так, что на ее голове «нечего считать будет». Пример третий: что можно «нажить» без ума? — спрашивает мужа, разъяренного перепалкой с Иванушкой, по своему обыкновению ничего не понимающая Бригадирша. Ты без ума «нажила» такого «урода», как этот «младенец», — отвечает крайне утомленный обществом своих домочадцев Бригадир. И наконец: огорченный любовной неудачей, он, как и всегда, вымещает раздражение на Бригадирше, называет ее «свиньей» и «дурой». Бедняжка крайне огорчена и спрашивает у добродетельных героев: разве не видно, дура ли она? «Еще как видно», — отвечает, как выясняется, язвительный Добролюбов. Что касается «прямых» глупостей, то их говорят практически все действующие в «Бригадире» дворяне: Бригадирша утверждает, что

Иванушка побывал не только во Франции, но и в Париже, Иванушка — что мужчины любят вмешиваться не в свои дела и препятствовать любовным увлечениям своих жен, Советница — что Бригадир не вправе требовать от сына разговаривать с ним только на известном ему русском языке, сам Бригадир — что Бог, несомненно, хорошо знаком с любезным его сердцу «Табелем о рангах».

Люди они не только глуповатые, но и недобрые: слова «скотина», «урод», «тварь», «дурак», «скаред», «бездельник» звучат едва ли не в каждой их реплике. И не только у них, но и у человека, чьим «рождением» они были: в своих письмах раздосадованный Фонвизин называет Елагина «уродом», Лукина «тварью» и «бездельником», Сумарокова — «безумным человеком», «поверившим дуре», про некую неизвестную нам госпожу Персильду говорит, что она сильно поглупела и теперь «превосходит уже всякую скотину», а про «старых дураков» Петербурга — что они принялись за «новые дурачества». Похоже, автор «Бригадира» — ругатель посильнее своего героя, именем которого названа комедия.

Правда, предельно резким и лаконичным Фонвизин бывает лишь в состоянии крайнего раздражения, обрушиваясь на своих неприятелей; в более спокойном расположении духа он становится неторопливым и многословно язвительным. Описывая сестре январский 1766 года маскарад и рассказывая об увиденных им танцах, насмешливый наблюдатель отмечает: «А чтоб приключению чем-нибудь кончиться смешнее, то Еропкин, большой сын А.В., напросился один прыгать голубца. Сделан был большой круг, и г. Еропкин доказал, что если он не имеет другого дарования, то он погибший человек». Напомню, что в такой же манере и в том же письме ядовитый человек Фонвизин отзывается о буйном сыне бывшего канцлера Бестужева Андрее Алексеевиче: «Графа А. А. Бестуж. застал я здесь в покаянной, куда посажен он каяться в том, что не поступал он по правилам здравого рассудка, хотя никто не помнит того, чтобы какой-нибудь род разума отягощал главу его сиятельства». Зла Фонвизину эти люди не причинили, а поэтому над их дурачествами можно лишь смеяться, смеяться зло, но без ненависти.

Закончив работу над «Иосифом», за которого переводчик намеревался взять 200 рублей (хорошие деньги: в 1765 году за перевод трех частей книги Й. Г. Г. фон Юсти «О правительствах» Фонвизину было заплачено 150 рублей, и, как видно из письма «матушке сестрице и любезному другу» Аргамакову, этим обстоятельством он был очень доволен), напечатав «Сиднея и Силли» и дописав «Бригадира», Фонвизин заканчивает свое

счастливое пребывание в Москве и по настоянию «командира» Елагина все-таки возвращается в Петербург. Не помогли ни настоятельные просьбы продлить отпуск, ни почтительные шутки, ни призванные сломить твердость Елагина смиренные мольбы прочитать «Бригадира» и на правах авторитетнейшего судьи вынести справедливый вердикт. Не помогло ничего, и в 1769 году Фонвизин прощается со своей московской возлюбленной, оставляет любимый город и, смирившись с обстоятельствами, спешит к месту службы.

В Петербурге Фонвизин представляет свои новые творения — читает «Иосифа» и «Бригадира» и, по его собственному свидетельству, быстро добивается признания. Ироничный человек, Фонвизин становится серьезным, когда говорит о своих бесспорных талантах — играть на скрипке и декламировать — и то и другое он делает «с пречудным мастерством» и в высшей степени профессионально. Правда, чтение возвышенно-серьезного «Иосифа» и комически-бытоописательного «Бригадира» требовало мастерства различного рода. Вероятно, разыгрывание ролей удавалось Фонвизину лучше или было больше востребовано в высшем петербургском свете — особым успехом у екатерининских вельмож пользовалась комедия «в наших нравах», ее Фонвизин читает едва ли не каждый день и едва ли не в каждом аристократическом доме. Вероятно, успеху Фонвизина способствовал еще один ценный его талант — талант «дразнения». Сам он неоднократно и с нескрываемым удовольствием рассказывает, как удачно ему удавалось «играть» заикающегося и непрестанно подмигивающего Сумарокова, а потом и своего банкира. Правда, зоилы и недоброжелатели об артистических способностях Фонвизина судили иначе: в своей ядовитой эпистоле «К творцу послания» А. С. Хвостов напоминает Фонвизину о его крупной сценической неудаче, но ни обстоятельств дела, ни деталей этого неприятного для величайшего русского комедиографа и великолепного декламатора «осьмнадцатого столетия» происшествия не раскрывает.

В «Чистосердечном признании» Фонвизин подробно рассказывает, кто из вельмож и в каком порядке слушали его комедию. Первыми, кому посчастливилось познакомиться с «Бригадиром» в исполнении Фонвизина, были генерал-аншефы Александр Ильич Бибиков и Григорий Григорьевич Орлов. Бибиков, по словам Державина, «искусный вождь во бранях» (герой Семилетней войны, чей полководческий талант оценил сам Фридрих Великий, победитель польских конфедератов и удачливый противник Пугачева, вскоре после «разбития злодеев

под крепостию Татищевою» в 1774 году «скончавшийся в при городке Быгульме»), «совета муж» (в 1767 году председатель Уложенной комиссии) и «любитель Муз», стал близким приятелем и корреспондентом Фонвизина. Григорий Орлов — второй по возрасту среди знаменитых братьев, фаворит императрицы, «исполнитель премудрых поручений» (как назвал его поэт и переводчик Иван Барков), «друг истины, сердец ценитель», чья душа — «хранилище доброт» (как отзывался о нем другой поэт и переводчик — Василий Петров), спаситель Москвы во время Чумного бунта в 1771 году, ценитель высокой поэзии и, кроме прочего, поклонник творчества Фонвизина и его покровитель. В 1763 году он был одним из первых читателей русского перевода «Альзиры» и читателем в высшей степени ценным. Послушав «Бригадира», он незамедлительно рекомендовал императрице познакомиться с невиданным в отечественной драматургии явлением и пригласить молодого комедиографа прочитать его творение в Петергофе. Затея удалась — Фонвизин с блеском выполнил поручение, Екатерина была довольна и «всемилостивейше приветствовала» автора за его искусную декламацию.

После этой удачи количество желающих пригласить Фонвизина увеличилось невероятно, и следующими слушателями «Бригадира» стали наследник престола Павел Петрович и его воспитатель, начальник Коллегии иностранных дел, в свое время посланник в Дании и Швеции, сторонник так называемой «северной системы», предполагавшей участие России в антибурбонской коалиции североевропейских государств, Никита Иванович Панин. Говоря Фонвизину о желании великого князя послушать «Бригадира» в авторском исполнении, Панин доводит до сведения молодого человека, что комедия эта наделала много шума, ее «похваляет государыня» и «все вообще очень довольны». Не желая упустить предоставленный судьбой шанс, Фонвизин берется развить мысль вельможи и доверительно ему сообщает, что себя он сможет включить в число этих всех лишь в том случае, если «его сиятельство удостоит его своим покровительством». Кажется, прямота и чистосердечие талантливого литератора Панину понравились, и он тотчас же обещает ему свою поддержку. Последовавший за этой сценой по обыкновению успешный «сеанс» чтения «Бригадира» имел для Фонвизина решающее значение: он был допущен в круг наследника престола и стал членом «панинской партии», другом и соратником Никиты Ивановича и его брата — фрондерствующего полководца, покорителя Бендер и победителя Пугачева, «русского генерала Бонера» Петра Ивановича Панина.

Вопрос, тревоживший Фонвизина не один год, разрешился на исходе десятилетия: наконец-то ему удалось найти благодетеля, не только довольного профессиональными и моральными качествами своего подчиненного, но и согласившегося принять участие в его судьбе.

После чтения «Бригадира» у Петра Панина Фонвизин с неизменным успехом «выступает» в домах значительнейших лиц екатерининского царствования. Молодого сочинителя и актера приглашают вице-президент Военной коллегии Захар Григорьевич Чернышев, его брат, камергер и член Адмиралтейской коллегии Иван Григорьевич Чернышев, камергер и член Вольного экономического общества граф Александр Сергеевич Строганов, хороший знакомый Вольтера и автор стихотворений на французском языке граф Андрей Петрович Шувалов, мать будущего фельдмаршала Петра Александровича Румянцева-Задунайского и старинная приятельница самой императрицы Екатерины Алексеевны Мария Андреевна Румянцева, жена генерал-фельдмаршала Бутурлина Екатерина Борисовна и жена канцлера Михаила Илларионовича Воронцова Анна Карловна. Новые «победы» Фонвизина были блестящими, но после встречи с Никитой Паниным не такими уж и важными. В самом конце 1769 года скромный титулярный советник Фонвизин становится секретарем министра иностранных дел России, производится в чин надворного советника и, отставив на время литературные занятия, принимается за дипломатическую работу.

Глава третья
ЧЕЛОВЕК ПАНИНА (1769–1782)

В политическом водовороте

Новая должность требует от благодарного подчиненного графа Никиты Ивановича Панина недюжинной энергии и остроты ума. Теперь Фонвизин находится в курсе всех политических событий, вплоть до малейших деталей представляет существующий в Европе расклад сил, тонко и со знанием дела анализирует причины и возможные последствия шагов, предпринятых внешнеполитическими ведомствами всех европейских держав. В письмах отправленному в отставку и живущему в начале 1770-х годов то в Москве, то в деревне «персональному оскорбителю» императрицы Петру Панину Фонвизин подробно рассказывает о делах австрийских, прусских, польских, датских, шведских и турецких. Благодаря Фонвизину опальный генерал узнает о событиях и в традиционно дружественном России Датском королевстве — об аресте и казни в апреле 1772 года «государственных изменников», противников русско-датского сближения доктора Иоганна Фридриха Струензе и графа Брандта, и в традиционно вражеской Швеции — о назначении на должность первого министра барона Дебена и ожидающейся в мае 1772 года коронации Густава III — любящего родственника и политического оппонента Екатерины И, короля, искавшего славы «великих шведских Густавов и Карлов», в 1772 году, к великому огорчению российского правительства, осуществившего государственный переворот и вновь укрепившего королевскую власть в Швеции, во время русско-шведской войны 1788–1790 годов объявившего российскую императрицу порочной и достойной сурового наказания Семирамидой Севера, чуть позже, в разгар Великой французской революции, назвавшего свою венценосную кузину добродетельной Изабеллой Кастильской, а себя Фердинандом Арагонским, но не лукавым, а верным слову, и в 1792 году павшего в маскараде от руки заговорщика, практически ровесника Фонвизина (Густав родился в 1746 году и скончался в один год с российским комедиографом) и тоже знаменитого драматурга. Фонвизин же рассказывает Панину-младшему о зависти к российским военным успехам и аппетитах желающей «откроить» как можно больше территорий Австрии, о политических маневрах Пруссии, за союз с которой ратовал старший Панин, о намерении «не жалующей нас»

Франции натравить на Россию Швецию и Турцию, о русских надеждах на верность Дании, «о положении нашем с татарами», о вероятном продолжении войны, но уже с новыми противниками, и сопровождает свои послания переводами иностранных документов, способных заинтересовать брата патрона. Кроме прочего, Фонвизин снабжает генерала письмами «Его Величества Короля Великобританскаго» к «Датцкому королю» «из Сент Жемса», «короля Датскаго к его Величеству Королю Великобританскому» или графа Остена «Его Британскаго Величества Чрезвычайному Посланнику при Дацком короле, находящемуся в Копенгаге».

Из собственных писем Фонвизина следует, что дела российские находятся в таких «критических обстоятельствах», что глава министерства и его подчиненные вынуждены трудиться не покладая рук. И это притом что Никита Панин имел репутацию человека ленивого и любящего праздность: среди отличительных черт его характера английский посланник Джеймс Гаррис называет «добрую натуру», «огромное тщеславие» и «необыкновенную неподвижность», необыкновенную настолько, что, по язвительному замечанию Екатерины, Панин «когда-нибудь умрет оттого, что поторопится»; новый же секретарь министра, по собственному признанию Фонвизина, в свое время «заслужил имя ленивца», правда, не по складу характера, а по причине мучительных головных болей, о которых, кстати говоря, он периодически рассказывает Петру Панину. Объясняя скучающему генералу причины, препятствующие исполнению его «сердечного долга», написанию обстоятельных и пространных посланий, Фонвизин ссылается на полное отсутствие свободного времени: «стечение множества дел в канцелярии его сиятельства графа братца вашего лишает меня счастия служить вам пересылкою других пьес» (дипломатических реляций. — *М. Л.)* (29 ноября 1771 года), «стечение важнейших дел, занимающих, можно сказать, всякую минуту моего милостивого шефа, заняло и все мое время в исполнении его повелений по долгу звания моего. Истинно, милостивый государь, тому уже с неделю, как ни днем, ни ночью нет отдохновения» (6 апреля 1772 года) или «краткость времени, к сожалению моему, не позволяет мне больше, как только всем сердцем возблагодарить ваше сиятельство за милостивое и откровенное письмо ваше от 16-го нынешнего месяца, а ответствовать на оное предоставляю себе счастье на будущей почте» (24 апреля 1772 года). В самом деле, в начале 1770-х годов Россия ведет войну с Турцией, участвует в первом разделе Польши, выстраивает отношения со Швецией, пережившей «революцию» Густава III, по мнению современных

ему шведских панегиристов, навсегда покончившей с вмешательством России во внутренние дела этого северного королевства, противостоит «коварным внушениям» Франции и происка ее и своих собственных союзников («отовсюду хлопоты, могущие иметь следствия весьма неприятные», — замечает Фонвизин в письме брату своего шефа от 26 июня 1772 года).

Работа в Коллегии иностранных дел отнимает у секретаря Панина так много сил, времени и здоровья, что в своих письмах друзьям он жалуется на крайнюю усталость и поистине каторжную жизнь. Но жизнь эта его устраивает: судя по всему, сотрудник Никиты Панина предан своему патрону до глубины души и искренне радуется его успехам. Письмо Петру Панину, датированное февралем 1772 года, Фонвизин дополняет характерно припиской: «Я не могу довольно изъяснить, с какою радостию отправляю здесь к вашему сиятельству все обещанное мною на прошедшей почте. Вы, милостивый государь, увидите тут истинное торжество братца вашего. Вдруг положение всех дел прияло для нас новый, славный и полезный оборот! Неукротимый венский двор, почитавший до сего дня все наши резоны недостойными своего внимания, приемлет их же за доказательства геометрические, почитает кондиции наши справедливыми и признает систему нашу натуральною. Все сие есть действие душевной твердости братца вашего, которому отечество наше одолжено будет миром, возводящим его на верх славы и блаженства».

Правда, утверждает П. А. Вяземский, современники Фонвизина видели в нем человека амбициозного, лукавого и неверного. Первый биограф писателя приводит и тут же опровергает известный ему «клеветнический» слух, будто бы Фонвизин хотел (по выражению Н. И. Панина, употребленному им в свое время по поводу жалкой роли елизаветинского генерал-прокурора князя Никиты Юрьевича Трубецкого) «быть угодником фаворита и припадочного человека», в данном случае — князя Потемкина. Говорили, что для потехи вознесшегося однокашника он якобы пародировал речь и манеры его врага и своего «милостивого шефа» Никиты Панина, но расположить к себе старинного знакомого не сумел. Потемкин искал случая избавиться от назойливого просителя и в конце концов прогнал его самым оскорбительным образом. Биограф Фонвизина старается быть его защитником, говорит о невинности любого «дразнения» (если нечто подобное Фонвизин и совершал), о пресловутой непредсказуемости Потемкина (способного оскорбить человека без видимой причины), о невозможности скрыть эти «представления» от окружающих и о странном в таком

случае отсутствии реакции со стороны не потерпевшего бы подобной измены брату Никите Ивановичу Петра Ивановича Панина.

Проверить справедливость этого слуха не представляется возможным, хотя хорошо известно, что в глазах объективных наблюдателей Фонвизин выглядел человеком, далеким от идеала. Так, в той же относительно недавней французской биографии писателя А. Стричека приведены ценные сведения из дневника «французского дипломата при дворе Екатерины II» Мари Даниеля де Корберона. Как выясняется, во второй половине 1770-х годов Фонвизин все свое время проводит за карточным столом и проигрывает весьма крупные суммы, кажется себе чрезвычайно остроумным, но в глазах собеседников-иностранцев смотрится лишь довольно образованным. Последнее обстоятельство автор жизнеописания и тоже, как и князь Вяземский, защитник Фонвизина объясняет несовершенным французским русского автора, достаточным для качественного литературного перевода, но не для веселых и оригинальных шуток. Правда, оправдав Фонвизина, исследователь тут же добавляет, что на службе он был гневлив, а по отношению к подчиненным язвителен и деспотичен. Кажется (и здесь роль адвоката я беру на себя), несомненно расположенный к Фонвизину биограф обвиняет своего героя без особых на то оснований: по свидетельству Василия Семеновича Хвостова, на которое ссылается Стричек, его брат, Александр Семенович, служил под началом Фонвизина, но «по пылкости свойств ума своего» с начальником не ужился и оставил место. К сожалению, деталей этого происшествия мы не знаем и степень вины Фонвизина, если такая вина в самом деле была, определить не можем.

Зато об аристократическом высокомерии потомка благородных фон Визинов красноречиво свидетельствуют его выпады против низкородного Лукина, а о бесцеремонном обращении с беззащитными — рассказы очевидцев событий. Ближайший друг, неизменный консультант и торговый партнер Фонвизина Герман Иоганн Клостерман вспоминает, что в одной из принадлежащих Фонвизину книг, в «Энциклопедии», он случайно обнаружил тысячу рублей ассигнациями и что это были те самые деньги, из-за потери которых скорый на расправу Фонвизин в свое время без всякой милости уволил попавшего под подозрение человека. «…бедному слуге, с позором прогнанному, было не легче от того, что обнаружилась его невинность. Таковы большие господа», — заключает свой рассказ купец Клостерман. И это притом что сам Фонвизин своим главным качеством считает неспособность оскорбить беззащитного человека. «Сердце

мое, не похваляясь скажу, предоброе, — рассказывает он в „Чистосердечном признании“. — Я ничего так не боялся, как сделать кому-нибудь несправедливость и для того ни перед кем так не трусил, как перед теми, кои от меня зависели и кои отмстить мне были не в состоянии».

Люди, любящие Фонвизина, к его слабостям, разумеется, невинным, относятся снисходительно, но их подмечают и над ними подсмеиваются. Тот же Петр Панин шутливо упрекает своего «дорогого приятеля Дениса Ивановича» в «склонности к обновкам», называет эту забавную привычку его «господствующей страстью», неприличной «при наступлении уже таких лет», и изумляется, что тридцатилетний щеголь не стыдится измученных его бесконечными заказами портных.

В письмах Петру Панину из Петербурга ветреность Фонвизина не проявляется никоим образом. Обращаясь к брату патрона, он неизменно серьезен, обстоятелен и очень почтителен («верьте, милостивый государь, что усердие мое к вам вечно в сердце моем вкоренено и что доброе мнение ваше есть одно из главных видов моего честолюбия» — 6 марта 1772 года), всегда соглашается с нравственно-философскими рассуждениями генерала, поражается его проницательности и мудрости («рассуждения вашего сиятельства об истинном источнике развращения нравов, доводящем до самого бездельства, основаны на таковой истине, с каковым проницанием ваше сиятельство вникнуть изволили в сие разнообразие причин расстройства людей, воспитанных при худых примерах и худыми людьми» — 6 апреля 1772 года), касательно политических партнеров России изрекает суровые истины («Гордость злобная всегда нестерпима, но гордость, променившаяся вдруг в смирену низость, достойна посмеяния и презрения» — 6 марта 1772 года), если же шутит, то очень сдержанно и рассудительно («Божиим провидением все на свете управляется; сие конечно правда; но надобно признаться, что нигде сами люди так мало не помогают Божию провидению, как у нас» — 26 июня 1772 года — шутка это или сентенция, понять довольно трудно). Резкие изменения государственных курсов, дворцовые перевороты, неожиданное возвышение и внезапное падение всесильных временщиков — происходящие на его глазах европейские события кажутся молодому секретарю главного российского дипломата необычными и поучительными, и своими открытиями он спешит поделиться с почитаемым им Петром Ивановичем Паниным. «Можно сказать, милостивый государь, что история нашего века будет интересна для потомков. Сколько великих перемен! Сколько странных приключений! Сей век есть прямое поучение царям и подданным», — пишет

Фонвизин о долгожданном аресте фаворита датской королевы доктора Струензе в начале 1772 года и своими последующими письмами брату своего шефа неизменно подтверждает этот бесспорный для современников тезис.

Среди корреспондентов Фонвизина значится не только интересующийся последними новостями генерал, но и многочисленные русские дипломаты, его приятели, а часто — и бывшие соученики. Среди них и секретарь посольства в Варшаве Яков Иванович Булгаков, и сотрудник того же посольства, со временем посланник в Голландии и временный посол в Париже Аркадий Иванович Марков, и посланник в Мадриде Степан Степанович Зиновьев, и уполномоченный на Бухарестском конгрессе, бывший турецкий узник Алексей Михайлович Обресков. Список корреспондентов Фонвизина, представленный Вяземским, выглядит еще внушительнее и включает родственницу братьев Паниных Екатерину Романовну Дашкову, послов в Варшаве Каспара Сальдерна («скаредному бесстыдству» которого Фонвизин не устает удивляться) и его преемника Отто Магнуса Штакельберга; посла в Лондоне, в сопровождении которого Фонвизин в 1763 году выполнял свое первое дипломатическое поручение, Алексея Семеновича Мусина-Пушкина; полномочного посланника в Константинополе и начальника Булгакова генерал-фельдмаршала Николая Васильевича Репнина; посла в Стокгольме Ивана Андреевича Остермана, посланника в Константинополе Александра Стахиевича Стахиева, генерала Александра Ильича Бибикова и т. д. С Фонвизиным всех их связывают деловые, а иногда и дружеские отношения, нередко они нуждаются в помощи и совете влиятельного и информированного панинского секретаря и сами готовы оказать услугу значительному лицу Денису Ивановичу Фонвизину. В начале 1770-х годов он активно хлопочет за друзей и родственников: устраивает дела братьев, помогает оробевшему Аргамакову и дельному Обрескову найти место или продвинуться по службе, защищает Маркова, невинно пострадавшего от своего шефа Сальдерна, и просит за «беднейших из смертных».

Кажется, оказавшись в серьезных обстоятельствах, Фонвизин и сам становится очень серьезным; «шутки в сторону», — пишет он своему приятелю Булгакову, — их общий друг Марков арестован, Булгаков нездоров и «видно, что житье ваше худенько» — до смеха ли сейчас? Но серьезность для Фонвизина (если, конечно, он не обращается к Петру Панину) невыносима: как выясняется, узнав о совершившемся в отношении Маркова преступлении, он пришел в такой ужас, что волосы на его голове должны были бы встать дыбом. Но не встали, поскольку

Фонвизин носит парик, и встать не могли, поскольку волосы он уже потерял года за два до происшествия — из-за чего, собственно, парик и носит. Шутит он, и рассказывая о делах внешнеполитических, и шутит совсем не весело. В письме в Бухарест Обрескову Фонвизин говорит о тщетных попытках помирить прусского короля с городом Гданьском (в немецком варианте — Данцигом). Миссия поручена графу Головкину, который «плохой негоциатор» и с задачей не справляется. Жалко, говорит Фонвизин, смотреть на Гданьск, но жалко смотреть и на незадачливого Головкина. Шутит он и тогда, когда во время турецкой войны Павел Иванович Фонвизин отправляется в Морею и, стало быть, подвергается смертельной опасности. Однако все эти шутки не так уж и неуместны: ведь дела Маркова поправятся, Гданьск далеко, и его судьба напрямую с жизнью Фонвизина не связана, а «брат в огне не будет» — отчего же не пошутить? Другое дело — страдания разбившегося при неизвестных нам обстоятельствах брата Павла или ожидаемая опала и падение окруженного недоброжелателями покровителя — Никиты Ивановича Панина. Когда дело касается самого Фонвизина или близких ему людей, о шутках он даже не помышляет.

«Ужасное состояние»

В самом начале поприща счастье нового члена «панинской группы» оказывается под угрозой, и опасность эта напрямую связана с персоной великого князя Павла Петровича. В 1771 году жизнь будущего императора висит на волоске, в столице ходят слухи, что в случае его смерти наследником престола будет объявлен сын Екатерины и Григория Орлова малолетний Алексей Бобринский, и лишь чудо помогает великому князю исцелиться от смертельной болезни (по словам Екатерины — «простудной лихорадки») и вернуть оппозиции надежду. В 1773 году наследник достигает совершеннолетия, вступает в брак с принцессой Вильгельминой Гессен-Дармштадтской и, следовательно, у императрицы появляются все основания разлучить принца с его воспитателем Никитой Паниным.

Памятником этих изрядно испугавших Фонвизина событий стали его знаменитое «Слово на выздоровление его императорского высочества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича» и письма родным и друзьям. «Слово на выздоровление» 1771 года — образец высокого торжественного красноречия, под стать лучшим примерам отечественного ораторского искусства. Через полстолетия после того, как «русский Цицерон» Феофан Прокопович скорбел о болезни и

кончине императора Петра, Денис Фонвизин «гремит» о болезни и счастливом выздоровлении будущего императора Павла. Его голос — «глас народа», его чувства — чувства «добрых граждан» и «добрых россиян», его восторг — восторг России, его слово — «долг гражданина» и порыв преданного и «чувствительного» сердца. Речь Фонвизина наполнена «жалостными» картинами всеобщей скорби: «страждущая мать» простирает к «возлюбленному сыну» «трепещущую руку», Панин, «муж истинного разума и честности», прижимает воспитанника к «трепещущей груди своей» и «орошает его слезами», народ, «видящий увядающую юность» и «возмущающийся сердцем», «стенает и проливает слезы». Рыдают все: безутешная родительница, верный наставник, российские жены, младенцы и патриоты в расцвете лет — все доказали свою преданность будущему российскому императору, открыли ему свое сердце и подтвердили несомненное «усердие». И вот гроза пронеслась, «Превечный», тронутый слезами матери и «стенаниями многочисленного народа», остановил «ангела смерти» и сохранил для России жизнь добродетельного Павла Петровича. Империя спасена, императрица счастлива и проливает уже радостные слезы, восхищенный народ голосом Фонвизина проповедует наследнику суровые истины и от Фонвизина же получает ценные наставления. Счастливы все: и мать-императрица, и воспитатель Никита Панин, и член «панинской партии», верный слуга великого князя Денис Фонвизин.

Рассказывая своим друзьям-коллегам об испытаниях, выпавших на долю воспитателя наследника, Фонвизин эмоционален, но не конкретен. В письмах Бакунину и Обрескову, датированных сентябрем 1773 года, он или намекает на ужасное положение графа, или в общих чертах, не называя имен, пересказывает обстоятельства дела, едва не погубившего и Панина, и его самого. 13 сентября Фонвизин сообщает Бакунину, что министр чрезвычайно озабочен тем, что «описывать излишне», поскольку осведомленный адресат и без того может «представить его положение». 28 сентября он рассказывает Обрескову об удивительной твердости графа Никиты Ивановича, «претерпевшего все бури житейского моря» и лишь сейчас «достигшего до некоторого пристанища». Высокая тема требует высокого же стиля, и в этом деловитом, пестрящем цифрами, фактами и перечислениями послании проскальзывают фрагменты, неотличимые от торжественного «Слова на выздоровление… Павла Петровича»: «…злоба, коварство и все пружины зависти и мщения натянуты и устремлены были на его несчастие, но тщетно…» Как и в 1771 году, Бог снова защитил

невинную добродетель и снова помог справедливости восторжествовать. Как и в 1771 году, Фонвизин оглядывается на миновавшую грозу и радуется избавлению.

Зато в письме Феодосии Ивановне, написанном до разрешения «кризиса», он, не скрывая страха и волнения, рассказывает об ожидающей его катастрофе: придворные интриганы делают все, чтобы отдалить Панина от великого князя, и требуют выселения «бедного графа» из дворца. Орлов и Чернышев (от сестры Фонвизин не скрывает ничего, даже имен торжествующих врагов) «злодействуют ужасно», и Панин признается своему секретарю, что в случае поражения он непременно подаст в отставку. В сложившейся ситуации растерянному и лишенному поддержки Фонвизину не остается ничего иного, как положиться на Бога, который «вынесет» его «с честию из этого ада». В «ужасном состояние», в «плачевном состояние», в «аду» Фонвизин не забывает, кто он такой, и желает одного — «жить и умереть честным человеком».

Происки Орловых, Чернышевых и Вяземского полным успехом не увенчались. Панин, которого в этой схватке с удаленным при его участии, а теперь вновь набирающим силу и жаждущим реванша Г. Г. Орловым поддерживали вице-канцлер А. М. Голицын, фельдмаршал П. М. Голицын и нынешний фаворит императрицы А. С. Васильчиков, устоял, вместе с ним спасся и Фонвизин. «Его граф» не стал победителем, скорее, был достигнут устраивающий всех компромисс. По распоряжению императрицы должность воспитателя наследника упразднялась, Панин оставался руководителем Коллегии иностранных дел с ежегодным жалованьем в 14 тысяч и пенсионом в 30 тысяч рублей. В знак признания заслуг он получил благодарственное письмо от Екатерины, чин фельдмаршала, петербургский дом по выбору, огромные суммы на заведение хозяйства, годовой запас провизии и напитков, экипажи, лакейские ливреи и девять тысяч душ крестьян на новоприсоединенных польских землях. Более тысячи из них (точнее, 1180) Панин подарил «своему Фонвизину» — благородное постоянство секретаря и сотрудника было оценено и вознаграждено. Правда, Фонвизин стал не единственным чиновником, облагодетельствованным «его сиятельством, состоящим в первом классе действительного тайного советника и всех российских орденов кавалером графом Паниным»: кроме него, земли и крепостных получили «обретающиеся при Государственной Коллегии Иностранных дел» статский советник Петр Бакунин «меньшой» и канцелярии советник Яков Убрий. Благодарные соратники министра заключили письменный договор о разделе дарованных им

«маетностей», «три тысячи восемьсот двадцать шесть душ в себе заключающих», и продолжили службу уже в качестве соседей — совсем не мелких землевладельцев. Несколько позднее, в 1779 году, Фонвизин купит у Никиты Панина еще одно имение — Нище, и эта сделка обойдется ему в десять тысяч рублей.

Иван Андреевич Фонвизин владел двумястами душами и был человеком небогатым; рассказывая в начале 1764 года своей сестре Феодосии о состоянии ее жениха и своего друга Аргамакова, Фонвизин отмечал, что они с сестрой имеют 400 душ и что этого вполне достаточно, чтобы «содержать себя честным образом»; сугубо положительный герой «Бригадира» Добролюбов, получив после долгой судебной тяжбы две тысячи душ, в глазах окружающих дворян сразу же становится «почтения достойным», героиня последней комедии Фонвизина «Выбор гувернера» княгиня Слабоумова имеет три тысячи душ и совершенно обоснованно считает себя дамой весьма обеспеченной. В 1773 году Фонвизин, как его друзья, домочадцы и литературные герои, в одночасье превращается в состоятельного хозяина сотен мужиков.

Имение в Витебской губернии гарантирует ему финансовую независимость и вес в обществе, правда, как быстро выясняется, к такого рода деятельности Фонвизин склонности не имеет, поместье занимает его мало, и довольно скоро хозяйство приходит в упадок. Со временем, весной 1784 года, он на 12 лет отдаст его в аренду курляндскому дворянину барону Медему. Арендатор обязуется ежегодно выплачивать владельцу имения по пять тысяч талеров, но настраивает против себя крестьян (из начатого Фонвизиным судебного дела следует, что Медем, кроме прочего, мучил людей «разными несносными работами» и «немилосердными побоями», от которых два человека умерли, а четверо убежали), те отказываются повиноваться Медему, а Медем — передать Фонвизину причитающуюся ему сумму. Обнищавшие крестьяне отправляются в Петербург на поиски работы и там, по словам очевидца, того же Клостермана, «без пищи и крова с смертною бледностью на лицах, едва прикрытые какими-то лохмотьями, шатались, как привидения по улицам…». Но в преддверии тридцатилетия обстоятельства Фонвизина выглядят вполне счастливо: он молод, состоятелен, на хорошем счету у начальства и известен читающей публике. Бесспорно, он имеет все основания задуматься о женитьбе.

«Счастливое семейство»

Избранницей Фонвизина стала вдова адъютанта графа Захара

Григорьевича Чернышева Алексея Александровича Хлопова — Екатерина Ивановна. Единственная дочь купца Ивана Федоровича Роговикова, она рано осиротела и вышла замуж по большой любви и вопреки воле дяди-опекуна, откупщика и директора санкт-петербургской конторы Государственного банка Семена Федоровича Роговикова. После его смерти в 1767 году законная наследница огромного состояния, она попыталась предъявить права на принадлежащие ей 300 тысяч рублей. Как следует из письма Фонвизина родственникам, датированного сентябрем 1768 года, их хороший знакомый Алексей Хлопов подал государыне императрице челобитную на отказывавшуюся идти на уступки Роговикову (без инициалов), вероятно, Анну Яковлевну, жену покойного Семена Федоровича, в скором будущем — супругу генерал-адъютанта Рогожина; однако процесс затянулся, и его перспективы выглядели более чем туманными. Первые екатерининские вельможи, Чернышев, Елагин и Панин, получили распоряжение защитить интересы притесненной вдовы; Панин передал это дело расторопному Фонвизину, тот употребил все свои способности и красноречие, но тяжбу не выиграл: его будущая невеста была вынуждена довольствоваться некоторой денежной компенсацией и огромным петербургским домом на Галерной улице.

Вяземский утверждает, что один вельможа обвинил Фонвизина в необъективности, стремлении помочь «своей любовнице», и тот, защищая не только права, но и честь Хлоповой, сделал ей предложение. Как бы то ни было, Екатерина Ивановна стала для Фонвизина «его Катей», которую он любит, которой он предан и которую он окружает самой нежной заботой. Как всегда главным его другом, союзником и наперсницей остается прямодушная сестра Феодосия, желающая любимому брату счастья, лишь после некоторых колебаний принявшая его невесту — купчиху, вдову и почти ровесницу Дениса Ивановича и всячески помогавшая молодоженам. Свадьба состоялась в Москве в самом конце 1774 года, и вскоре Фонвизины возвратились в Петербург, в свой дом на Галерной улице.

Для Фонвизина начало счастливой семейной жизни ознаменовало несчастный конец жизни литературной: с этого момента и в течение нескольких лет из-под пера перспективнейшего российского писателя не вышло ни одного оригинального сочинения, ни одного художественного перевода, ни одной стихотворной строчки. И это притом что до 1774 года Фонвизин заявил о себе не только как талантливый переводчик и комедиограф, но и как автор сатирических писем и статей, опубликованных в журналах Екатерины II и Николая Ивановича

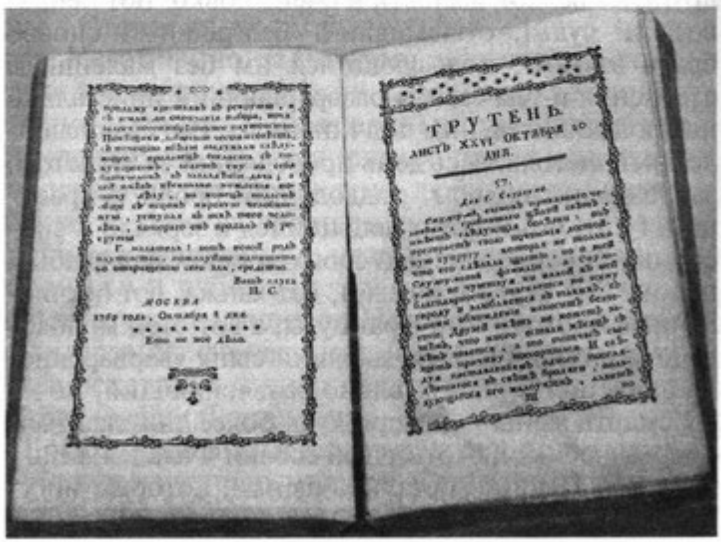
Новикова — во «Всякой всячине» (1769–1770), «Трутне» (1769–1770), «Пустомеле» (1770), «Живописце» (1772–1773) и в таинственной, до сих пор неизвестно кем издававшейся «Смеси» (1769).

Авторы, помещающие свои материалы в первых русских сатирических журналах, предпочитали оставаться неизвестными и подписывались самыми затейливыми именами: Фалалей, Агаб Самануков, Горемыкин Воздыхалов, Доброхотное сердечко, Осьмидесятилетний старик, Лечитель, Я в своем доме, Огорченный, Правдулюбов, Чистосердов и т. п. Несомненно, за многими из этих имен скрывается знаменитый русский сатирик, но за какими именно — вопрос, занимающий не одно поколение исследователей. Не имея данных, прямо указывающих на авторство Фонвизина, любителям и знатокам его творчества приходится опираться на текстуальные совпадения между «Бригадиром» и анонимными публикациями в журналах Екатерины и ее вечного оппонента Новикова, рассуждать о неповторимой фонвизинской манере и усматривать в некоторых статьях сведения из малоизвестной биографии Фонвизина.

Логика «фонвизиноведов» проста и подчас весьма убедительна: по их мнению, Фонвизину принадлежат наиболее талантливые, остроумные и выбивающиеся из общего ряда публикации. Например, самые известные из помещенных в советское собрание избранных сочинений Н. И. Новикова произведения, такие как «Смеющийся Демокрит», «Опыт модного словаря» или «Письма к Фалалею», часто и весьма аргументированно определяются учеными как фонвизинские. Во всех них предстают те же «дворяне, преимущество свое во зло употребляющие»: негодяи и бездельники, лихоимцы и вертопрахи — бесконечный перечень дураков, породы, презираемой и ненавидимой высоконравственным насмешником Фонвизиным. Вот праздный волокита, встретивший в театре двух своих обманутых любовниц и под градом их язвительных насмешек пришедший в крайнее замешательство; «совместницы» же, расправившись с клятвопреступником, воспламеняются такой взаимной ненавистью, что извлекают из шиньонов булавки и начинают разить друг друга без всякой жалости и очень ловко. Вот неправедный судья, отыскавший «безгрешный способ брать взятки», пользующийся им без малейшего стеснения и тем самым развращающий пристально наблюдающих за ним подчиненных. Вот самовлюбленный щеголь, весь день проводящий за туалетом, завивающий волосы, подводящий брови и красящий губы, поминутно глядящийся в зеркало и способный говорить лишь о своих победах над слабым полом. Вот скупец, вот мот, вот ханжа,

вот бесчисленные проходимцы-французы, а вот отец молодого дворянина Фалалея, дающий сыну «варварские» наставления и обстоятельно разъясняющий, почему смерть жены — потеря куда более тяжелая, чем смерть любимой охотничьей собаки Фалалея: ведь у умершей Налетки остались щенки, которые могут походить на мать, а ему «уж эдакой жены не нажить».

ЖИВОПИСЕЦЪ,
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ
на
1772 годъ
СОЧИНЕНІЕ.
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.


ТРУТЕНЬ.
ЛИСТЪ XXVI ОКТЯБРЯ 10 ДНЯ.

Сатирические журналы «Живописец» (1772) и «Трутень» (1769–1770), издаваемые Н. И. Новиковым

Непременным знаком фонвизинских материалов являются содержащиеся в них выпады против всеми презираемого и ненавидимого Лукина, «несмысленного творца», изо всех сил ищущего расположение читателей и без стеснения коверкающего язык. На своего старшего коллегу Фонвизин нападает и в длинных статьях, и в коротких зарисовках, и в небольших стихотворениях и нападает яростнее прочих его многочисленных ненавистников, называет его Кривотолком, «писателем, врущим без смысла» и, естественно, дураком.

В многочисленных статьях ядовитого Фонвизина дураки и бездельники подвергаются самому беспощадному осмеянию, но на страницах «Всякой всячины» и ее «правнука» «Трутня» принято смеяться по-разному, и друг Фонвизина Н. И. Новиков позволяет себе неслыханную дерзость не соглашаться с самой императрицей (естественно, не называя имени оппонента и притворяясь, будто он не имеет понятия, кто перед ним — какая-то гневливая пожилая дама, не вполне владеющая русским языком). Екатерина, следуя за английским «Зрителем», настаивала на недопустимости «сатиры на лицо», требовала, чтобы русские нравоучители ополчались против порока вообще, и обрушилась на придерживающегося иной точки зрения редактора «Трутня». Тот, по примеру тех же английских журналистов Стила и Аддисона, отвечал, что не он, а некий Правдулюбов называет проповедуемое «Всякой всячиной» снисхождение к человеческим слабостям, в ее представлении, — «человеколюбие», истинным «пороколюбием» и призывает бороться с пороками, а не потакать им. Судя по всему, сатирические писания Фонвизина были охотно приняты редакторами обоих враждующих журналов и составили значительную часть всех напечатанных в них материалов.

Новиков ценит талант Фонвизина, хвалит его в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772) и на страницах своих журналов. По мнению Стричека, напечатанное в «Живописце» замечание о щедрых подарках, преподнесенных музами одному сотрудничающему с журналом переводчику, относится к Фонвизину, а публикация в «Пустомеле» «Послания к слугам моим» сопровождается «справкой» редактора о неназванном авторе: «…его комедия столько по справедливости разумными и знающими людьми была похваляема, что лучшего и Молиер во Франции своими комедиями не видал приятия и не желал, но я умолчу, дабы завистников не возбудить ото сна, последним благоразумием на них наложенного». Отзывы Фонвизина о коллеге и издателе нам неизвестны, о его расположении к Новикову можно только догадываться.

Очевидно же сходство их судеб, типическое сходство

несомненно трагических персонажей екатерининской эпохи. Фонвизин и Новиков — ровесники (Новиков родился в 1744 году) и земляки, оба происходили из старинных, но небогатых фамилий, оба были записаны в гвардейские полки (Фонвизин — в Семеновский, Новиков — в Измайловский), учились в Московском университете, в 1762 году отправились на службу в Петербург, а в 1767 году во время работы Уложенной комиссии находились в Москве, оба служили в Коллегии иностранных дел, оба фрондировали, и обоих просветителей ждали суровые испытания: Фонвизина — мучительная болезнь, Новикова — многолетнее заключение в крепости.

Правда, в отличие от Фонвизина, Новиков, по словам Николая Михайловича Карамзина, был «теософическим мечтателем», в 1775 году он вступает в ложу «Астрея», затем — «Латона» и в масонских кругах значится под именем Коловион. Масонами были и прямые начальники Фонвизина, И. П. Елагин, являвшийся Провинциальным великим мастером, и Н. И. Панин, заместитель Великого мастера, а также его коллеги по цеху — А. П. Сумароков, М. М. Херасков, В. И. Майков, И. Ф. Богданович, В. И. Лукин, Ф. Г. Волков. Исследователи творчества Фонвизина отмечают, что молодой писатель и переводчик был близко знаком с влиятельными и принимавшими участие в его судьбе масонами И. И. Мелиссино, И. Г. Рейхелем, тем же И. И. Шуваловым, перевел «масонский роман» Террассона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа», но масоном, судя по всему, не стал ни по убеждению, ни из карьерных соображений, ни из стремления следовать моде. По крайней мере, прямыми свидетельствами, указывающими на принадлежность Фонвизина к какой-либо из лож, мы не располагаем. Сам же он если о масонстве и размышляет, то преимущественно в ироническом ключе: рассказывая в одном из писем сестре Феодосии о своем путешествии по Германии в 1784 году, он, между прочим, отмечает, что «предлинный и превысокий крытый мост по Эльбе, чрез который мы ехали при ночной темноте, так страшен, что годился б чрезмерно хорошо к принятию в масоны. Мы думали, что нас везут в жилища адских духов…». Насмешливо-неодобрительное отношение к масонству сближает Фонвизина с императрицей Екатериной, потешавшейся над мартинистами в своих комедиях, а масонские писания любимого ею Елагина назвавшей «удивительной чепухой, из которой явствует, что он сходил с ума». Причины нелюбви Екатерины к масонству известны хорошо, но чем вызвано неприятие масонства Фонвизиным? Влиянием патриархально благочестивых родителей? Врожденным скептицизмом и органической

неспособностью воспринимать учение вольных каменщиков всерьез? Независимостью ума и стремлением идти своим путем, не считаясь с мнением даже почитаемых им братьев Паниных?

И шире — что для Фонвизина религия? Каковы его духовные искания? Был ли он глубоко верующим человеком? Об этом «наш первый скептик» рассказывает в «Чистосердечном признании» и рассказывает очень обстоятельно. Другое дело — можно ли считать этот источник достоверным? Не пытается ли его автор, к тому времени уже разбитый параличом и стремящийся постигнуть причины этого божьего наказания, подправить свою биографию и нарисовать портрет вымышленного персонажа? Несомненно, его «признание» «чистосердечное» и истинное, настоящее «христианское раскаяние», но не заблуждается ли он на свой счет, не выдает ли за действительное желаемое? По этому поводу существуют самые различные, часто диаметрально противоположные мнения, и все они в равной степени мало доказуемы. Из его покаянного повествования, остающегося главным источником сведений о событиях жизни и образе мыслей молодого Фонвизина, следует, что он всегда был добродетелен и совестлив, пережил заблуждения молодости, из-за «безрассудной остроты» прослыл безбожником, но его доброе сердце всегда было открыто для Бога и «благоговейно его почитало».

Как следует из «Чистосердечного признания», главным искусителем и противником Фонвизина был князь Козловский: в 1763 году он ввел юного москвича в общество петербургских богохульников, в 1769 году познакомил его с вельможей, чей безбожный образ мыслей смог «поколебать душу» молодого человека. По Фонвизину, знакомство с вольтерьянцем Козловским в конечном итоге послужило его спасению: от него он бежит в 1764 году, ему он «по наитию здравого рассудка» объясняет «безумие неверия» в 1769 году. Фонвизин утверждает, что в этот год он пережил духовный переворот, задумался о вере и оказался способен здраво о ней рассуждать. Теперь, «придя в совершенный возраст», Фонвизин непрестанно упражняется в «богомыслии», штудирует Библию, а после многочисленных бесед с «умным человеком», сенатором и отечественным философом (правда, в свое время сильно обидевшимся на Тредиаковского и по этой причине едва не заколовшим его шпагой, своими «плутнями» рассердившим Ломоносова, а в спасительном для молодого Фонвизина разговоре начавшим бранить обер-прокурора Священного синода Петра Петровича Чебышева исключительно «из личной ненависти») Григорием Николаевичем Тепловым находит способ «определить систему в рассуждении веры». По совету Теплова Фонвизин читает «Самуэля Кларка доказательства

бытия Божия и истины христианской веры», и его смутные предчувствия и «правильные» ощущения тотчас подтверждаются «неоспоримыми доводами». Цель достигнута, существование Бога сомнению больше не подвергается, правда, теперь, на рубеже 1780–1790-х годов, перед Фонвизиным стоят несколько иные задачи: бывшему богохульнику необходимо понять, в чем причина его мучительного недуга, чем он прогневил Бога и за что он понес столь суровое наказание.

В 1791 году в окрестностях далеких Ясс от малярии скончался светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, и в этой связи его соученик по университетской гимназии Денис Фонвизин пишет свое краткое «Рассуждение о суетной жизни человеческой». Для Фонвизина смерть известного всему свету всесильного вельможи поразительна и поучительна, ее внезапность ясно доказывает суетность и тщету славы мира. Автор же не первый год страдает от неизлечимой болезни, «лишен руки, ноги и части употребления языка», но Бог, пославший столь ужасные мучения, не отбирает у Фонвизина жизнь. В страшном наказании несчастный «страдалец» видит проявление высшего милосердия: ведь Господь отнял у него способность «изъясняться словесно и письменно» в тот момент, когда вернувшийся из-за границы успешный писатель приобрел суетную славу, и его яркие и несомненные таланты могли бы «быть более вредны, нежели полезны». Просвещенный Богом и потому преисполненный благодарности безнадежно больной Фонвизин несет свой крест смиренно и с благоговением.

О причинах своего недомогания он рассуждает и в «Чистосердечном признании», называет грехи, за которые влачит столь жалкое существование, и, как ему представляется, знает момент, когда стала «скапливаться его болезнь». Все началось в ту минуту, когда петербургский книготорговец Вевер расплатился с ним за перевод басен Хольберга, снабдил нежного юношу книгами, которые «развратили его воображение и возмутили душу». По свидетельству Вяземского, незадолго до смерти Фонвизин рассказывал собравшимся в церкви Московского университета юным «питомцам» о недопустимости вольнодумства и богохульства и на своем примере показывал, какая судьба ждет безумного нечестивца. До случившегося же в 1785 году первого апоплексического удара Фонвизина, уже задумавшегося, по его уверению, о бытии Бога, волновали совершенно другие, но решаемые при участии духовенства вопросы.

Одним из самых остроумных (и нравоучительных) сочинений Фонвизина, вне всякого сомнения, является напечатанное в 1783 году в журнале «Собеседник любителей российского слова»

«Поучение, говоренное в Духов день иереем Василием в селе П.». В этой миниатюре нет ни сатиры на священничество, ни кощунственного смеха, напротив, отец Василий — мудрый пастырь, знающий должность добрых крестьян, искореняющий пороки и владеющий языком, доступным простецам. Обращаясь к немногочисленной и не вполне трезвой после вчерашнего праздника пастве, проповедник заговаривает с каждым персонажем отдельно: «Отчего, например, ты, крестьянин Сидор Прокофьев, пришел к обедне, может быть с умиленным сердцем, но с разбитым рылом? Отчего и ты, выборный Козьма Терентьев, стоишь, выпуча на святые иконы такие красные и мутные глаза…» Лишь только Фонвизин начинает рассуждать о проблемах бытия, тайнах мироустройства, Божьем Промысле, дает слово православным проповедникам и при этом вводит в свою «пьесу» людей подлого звания, он непременно смешивает «высокие», приличные торжественной проповеди, и «низкие», годные для кабацкой перебранки, слова. «Харя и чело» сталкиваются в «Послании к слугам моим: Шумилову, Ваньке и Петрушке», а «умиленное сердце» и «разбитое рыло» — в «Поучении» крестьянам села П. Правда, из-за «Послания к слугам моим» Фонвизин в свое время прослыл веселым и презирающим святыни безбожником, а в «Поучении» изобразил умного священника и добродетельного, не пьющего, чадолюбивого и искренне верующего крестьянина Якова Алексеева. Пройдя середину жизненного пути, Фонвизин в самом деле перестал быть «нашим скептиком», но за 20 петербургских лет его манера шутить над задумавшимися о Божьем Промысле мужиками существенных изменений не претерпела. Хотя противопоставлять два этих произведения было бы не совсем правильно: от «Послания к слугам моим» Фонвизин не отрекался никогда и в 1788 году включил его в число своих творений, собранных для издания полного собрания сочинений.

Пугачевщина и конец турецкой войны

Однако вернемся к событиям, предшествовавшим женитьбе Фонвизина. В начале 1770-х годов он трудится во внешнеполитическом ведомстве под началом Никиты Панина, находится в переписке с Петром Паниным, держит его в курсе всех европейских событий, но не забывает информировать «сиятельнейшего графа» и о делах внутрироссийских. В начале 1772 года Фонвизин рассказывает брату патрона о беспорядках, произошедших на Камчатке, где «глупые ссылочные» во главе с авантюристом графом Морицем Августом Беневским (или, иначе,

бароном де Беневом, в недалеком будущем — «королем Мадагаскара») истребили начальство, «пограбили город и сев на лодки, поплыли в Америку, будто завоевывать ее». Хотя завоевание Америки в планы дерзких беглецов и не входило, это странное дело могло вызвать международный резонанс, было не вполне внутриполитическим, и, следовательно, о его деталях должен был узнать хорошо осведомленный сотрудник Коллегии иностранных дел (по словам Фонвизина, о камчатском происшествии в частном письме своему брату, петербургскому генерал-полицмейстеру, сообщал сибирский губернатор полный тезка Фонвизина Денис Иванович Чичерин). Не только внутренней проблемой России могло стать и охватившее восточные окраины империи восстание Пугачева: позднее шведский король Густав III скажет, что тогда, сразу после осуществленной им шведской «революции», он мог бы воспользоваться случаем и сокрушить погружающегося в хаос, противостоящего Оттоманской империи и новоявленному самозванцу Пугачеву «старинного наследственного врага», но, соблюдая кодекс рыцарской чести, от вероломного вторжения отказался. Правда, Фонвизину не было нужды рассказывать «братцу» своего шефа об обстоятельствах крестьянской войны: после внезапной смерти генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова направленные против Пугачева силы возглавил корреспондент и друг Фонвизина — боевой генерал, герой Семилетней и Первой турецкой войн, покоритель Бендер Петр Иванович Панин.

Оба военачальника, и Бибиков и Панин, регулярно получали от Фонвизина «газеты» и держали его в курсе всех происходящих событий. В письме, написанном в Казани и датированном 29 января 1774 года, Бибиков рассказывает своему приятелю о трудностях вооруженной борьбы с «проклятой сволочью», удивляется, почему ведомство, в котором служит Фонвизин, до сих пор не достигло мира с Турцией, и просит «уведомлять сколь можно чаще» «о делах внешних». В письме, написанном в Москве в августе 1774 года, Петр Панин рассуждает о Бибикове, который «в рвении своем по службе умер», а в письме, отправленном из Симбирска и датированном 27 октября того же 1774 года, извещает «дорогого приятеля Дениса Ивановича» о «низложении столь язвительного врага государственного и бунтовщика», то есть Емельяна Пугачева, и передаче его в руки учрежденной в Москве и возглавляемой тамошним генерал-губернатором князем Михаилом Никитичем Волконским Особой комиссии Тайной экспедиции Сената. «Обыкновенный почталион прибыл вторым к находящемуся у меня из прежних, привез ко мне письмо ваше,

государь и дорогой приятель Денис Иванович, от 17-го числа нынешнего месяца со включенными газетами; без упоминания об них, но при оных дошло до меня еще только новоизданная от господина Сумарокова книга о Стеньке Разине, весьма подобном своими злодеяниями низложенному ныне мною врагу государства, которой 26-го числа поутру нынешнего месяца выпровожен уже из моих рук под стражею гвардии господина капитана Галахова в руки князь Михайлы Никитича Волконского». Обо всех перипетиях многотрудной войны с восставшей «чернью» помещик Фонвизин знал лучше, чем кто-либо из российских дворян. Российское же дворянство ликовало: благодаря «достойному орудию промысла Великия Екатерины», Петру Ивановичу Панину, империя была спасена от конечной гибели, а ее цвет — от полного истребления.

В ноябре — декабре 1774 года победоносный генерал следует в столицу и в каждом городе разоренного края принимает поздравления и слушает благодарственные речи тамошнего дворянского корпуса. Выжившие «верные сыны» матери-императрицы уверяют героя, что о его подвиге не забудут «самые отдаленные» их потомки, что он «честь, слава и красота» российского благородного сословия и что именно он встал на пути недостойного упоминания врага, который «стремился на разрушение связи, целость государства составляющий и в лице Дворян истреблял подпору престола Владеющей нами». Панин же, еще недавно отставленный ото всех дел, чувствует себя спасителем отечества, пребывает в прекрасном расположении духа, отвечает встречающему его дворянству, что готовность отдать свою жизнь за отечество и императрицу является «их», дворян, «преимуществом» перед «простым народом», и тут же отправляет Фонвизину поздравление с бракосочетанием.

От лица благородного сословия вообще и столичного в частности победу над Пугачевым прославил знаменитый А. П. Сумароков. Кроме полученного Паниным исторического разыскания о преступлениях Стеньки Разина, шляхетскому сыну Сумарокову принадлежат «Стихи на Пугачева», где, между прочим, отмечается, что «подлый, дерзкий человек, незапо коего природа извергла на блаженный век ко бедству многого народа», «в наши предан ныне руки». Злодей, имя которого предпочитают не упоминать ни в частных письмах, ни в благодарственных речах, ни в торжественных стихотворениях, оказался в плену у тех, кого он уничтожал без всякого милосердия, и скоро понесет заслуженное наказание. Как известно, покаявшийся в своих преступлениях Пугачев был приговорен к четвертованию и 10 января 1775 года казнен. В соответствии с тайным

распоряжением императрицы палач начал страшную экзекуцию с того, что отрубил государственному преступнику голову и тем избавил его от дальнейших мучений. Известно также, что многочисленные зрители из числа дворян поступком «милосердного» палача были очень недовольны, полагали, что он или плохо знает свое дело, или подкуплен друзьями самозванца.

Фонвизин, прекрасно помнящий «приобретенные прародителями» сословные «преимущества» и в одном из писем к родственникам в Москву специально отметивший, что его тогдашний «командир» Елагин обходится с ним как положено обходиться с дворянином, о пугачевщине не написал ни строчки. Вероятно, случившееся кровопролитие не могло стать предметом описания насмешливого комедиографа и журналиста: не весело, когда бригадир Игнатий Андреевич, бригадирша Акулина Тимофеевна, советник Артамон Власьевич, советница Авдотья Потаповна, бригадиров сын Иванушка или поучаемый отцом Фалалей, люди, достойные осуждения, но не смерти, стали жертвой разъяренной толпы. До исправления ли нравов тогда, когда дело идет о выживании целого сословия? Торжественная же ода фонвизинским жанром все-таки не была: в «Опыте исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новиков отмечал, что Фонвизин «написал много острых и весьма хороших стихотворений», но не больше того. Другое дело, что и среди признанных отечественных одописцев не было никого, кто посвятил бы этому событию сочинение столь любимого в России жанра. Например, перу Василия Майкова, приятеля Фонвизина и врага Василия Петрова, принадлежат оды на взятие Хотина А. М. Голицыным в 1769 году, на разгром турецкого флота при Чесме А. Г. Орловым в 1770 году, на взятие Бендер П. И. Паниным в том же 1770 году, на выздоровление великого князя Павла Петровича в 1771 году, на победу русского флота в Патрасском сражении в 1772 году, на бракосочетание наследника престола Павла Петровича в 1773 году, на мир с Турцией в 1774 году, но не на разгром полчищ Пугачева покорителем Бендер и тезки великого императора Петром Паниным. Вероятно, подавление крестьянского бунта не принадлежало к числу героических и достойных быть воспетыми в торжественной оде деяний отечественных полководцев.

Судя по всему, насилие, особенно вкупе с несправедливостью, миролюбивому, хоть и раздражительному Фонвизину было глубоко отвратительно. В 1763 году, в начале своего пребывания в Петербурге, он грозит написать трагедию, в которой, осердясь, не оставит в живых ни одного человека, но о нередких в его немирную эпоху «кроволитных бранях» отзывается с неизменно

сокрушенным сердцем. В этом отношении Фонвизин был таким, какими мягкосердечная Екатерина желала видеть своих подданных. Примеров декларируемого в екатерининское правление человеколюбия существует великое множество, вот лишь один и не самый известный.

Начиная со второй половины XVII века в России накануне или во время войны обязательно печатались «Ектении (общие молитвы. — *М. Л.)* о победе на супостаты», будь то «агаряне»-турки или «еретики»-шведы. В XVIII веке Россия воевала часто, и этот текст был издан в 1703, 1722, 1736, 1742, 1757, 1768, 1787 годах. На голову «супостата» призывались всевозможные небесные кары вплоть до его полного истребления — Россия как Новый Израиль считала себя вправе надеяться, что все ее враги подвергнутся поистине библейскому уничтожению. «Память их с шумом потреби, да уведа, яко имя тебе Господь» — эта цитата из 108-го псалма встречается во всех предвоенных молитвенных текстах, вплоть до изданного во время екатерининского царствования. В «Ектении о победе», появившейся в самом начале Первой турецкой войны, в 1768 году, этот фрагмент выглядит принципиально иначе: «…величеством славы своея умягчи их жестокосердие, да сведят, яко имя тебе Господь силный в бранех и готовый покровитель неповинности». Просвещенная императрица, собеседница Вольтера и Дидро, истребления целых народов не желала, по отношению к захваченным пугачевцам желала проявить милосердие (1 января 1775 года Екатерина просила М. Н. Волконского помогать судьям «внушить умеренность как в числе, так и в казни преступников») и окружала себя людьми, столь же просвещенными и гуманными, как и она: тот же граф Панин, прочитав дело казненного при Анне Иоанновне Артемия Волынского, был потрясен настолько, что едва не скончался от удара.

Фонвизин же с нетерпением ждет окончания затянувшейся войны с турками и надеется, что, несмотря на происки некоторых европейских держав и дипломатическую бездарность определенного для ведения мирных переговоров Григория Орлова, кровопролитие не будет бесконечным. В конце мая 1772 года он сообщает Петру Панину: «Ваше сиятельство столько имеете причин радоваться тому, что все уже устроено к трактованию о мире, сколько беспокоиться о том, чтоб сие устроение не разрушилось от того, кто посылается исполнителем. Правда, что мудрено сообразить потребный для посла характер с характером того, кто послом назван; но неужели Бог столько немилосерд к своему созданию, чтоб от одной взбалмошной головы проливалась еще кровь человеческая». В августе 1772 года

Фонвизин пишет тому же корреспонденту, что попытки «гордого» австрийского двора «положить преграду нашему вожделенному миру» обречены на провал, поскольку «и самому Богу нельзя попустить, чтоб злоба торжествовала, а кровь невинных лилась». В своих прогнозах осведомленный секретарь Панина старается оставаться сдержанным оптимистом и в том же письме сообщает, что «хотя в самом деле за будущее ручаться невозможно, однако турецкое изнеможение, вступление австрийцев в общее с нами согласие и самая справедливость дела нашего подает причину надеяться, что мир будет заключен по положенному основанию». Однако в Фокшанах, где в августе 1772 года проходили переговоры, мир заключен не был, и уже через год, в датированном 28 сентября 1773 года письме А. М. Обрескову в Бухарест, он вновь жалуется на непрекращающуюся войну, «не приносящую нам ни малейшей пользы, кроме пустой славы», а значит, бессмысленную и препятствующую вожделенному миру. В таком настроении Фонвизин будет пребывать до июля 1774 года, когда в деревне Кючук-Кайнарджа Россия и Турция договорятся о давно чаемом мире. В отличие от своего славного и воинственного предка ротмистра Дениса Фонвизина, бывший сержант лейб-гвардии Семеновского полка, а ныне «надворный советник при Государственной коллегии иностранных дел» Денис Иванович Фонвизин предпочитает участвовать в бумажных битвах и проливает не кровь, но чернила. Он человек смирный, семейный и сугубо штатский.

Знакомство с Тома

Вновь Фонвизин обращается к литературному творчеству лишь через несколько лет после завершения потрясших Россию внутренних и внешних неурядиц. В 1777 году в Петербурге выходит анонимный, но, несомненно, принадлежащий Фонвизину перевод «Слова похвального Марку Аврелию», созданного членом Французской академии, человеком в высшей степени добродетельным и талантливым, в недалеком будущем — знакомым Фонвизина, певцом великих героев Европы, Антуаном Леонаром Тома. Случайно или нет, но большинство авторов переведенных Фонвизиным сочинений принадлежали к числу пылких почитателей российского императора Петра Великого: сочинителями отдельных фрагментов и обширных трудов, посвященных этому удивительному правителю московитов, были Вольтер, Куайе и Хольберг. Отечественная публика, привыкшая к обожествлению первого российского императора, беспримерного гения и творца новой России, была готова выслушать восхищенных иностранцев, но лишь в том случае, если они не стремились к излишней объективности и не позволяли себе критиковать величайшего российского героя. В противном случае труд оставался непереведенным или подвергался существенной правке русского переводчика.

В одной из своих работ (переведенной с немецкого на русский сотрудником журнала «Ежемесячные сочинения» и переводчиком Прево Семеном Андреевичем Порошиным) датский историк и моралист Людвиг Хольберг сопоставляет шведского короля Карла XII с Александром Македонским и приходит к выводу, что оба эти полководца «одухотворены единым гением», в равной степени бесстрашны и неутомимы, но из-за разных масштабов военного таланта противостоящего им противника имели разную судьбу. Ведь встань на пути Карла XII не Петр, а Дарий, славный шведский король, без сомнения, стал бы покорителем вселенной, а выступи против Александра не бессильный Дарий, а великий Петр, обстоятельства македонского царя были бы самыми ужасными. В датском тексте российский монарх упоминается лишь однажды, однако русский автор воспользовался предоставленной ему возможностью развить тему Петра и, будто бы забыв, кто является главными героями этого сочинения, заканчивает свой перевод длинным и витиеватым панегириком царю. Зато в русском варианте созданного тем же Хольбергом «сравнительного жизнеописания» Петра Великого и великого могола Акбара (перевод выполнен бывшим учителем

Академической гимназии, уволенным за нерадение и разгульный образ жизни, а впоследствии занявшим скромную должность корректора типографии Морского кадетского корпуса Семеном Ивановичем Веденским) биография российского императора опущена как написанная с многочисленными ошибками, иначе говоря, недостаточно верноподданнически.

Тома же был известен образованному русскому читателю как великий создатель незаконченной поэмы «Петреида». «Два великих духа принимались петь Петра Великого, — размышляет автор первой русской завершенной героической поэмы „Россияда“ (1779), хорошо знакомый Фонвизину Михаил Матвеевич Херасков, — г. Ломоносов и Томас, оба начали, оба не кончили». По Хераскову, не решившемуся взяться за петровскую тему и воспевшему казанское взятие, если такие гении, как Ломоносов и Тома, не смогли прославить деяния Петра I, значит, время появления поэмы «Петр Великий» еще не наступило. Зато похвальное слово римскому императору Марку Аврелию является законченным и, вероятно, востребованным сочинением Тома, перевод которого вместе с представленным императрице в 1762 году фрагментом «Марка Туллия Цицерона речью за Марка Марцелла» и недатированной рукописью, имеющей название «Древность римских обычаев», составили корпус фонвизинских текстов на римскую тему.

«Учитель и друг Марка Аврелия» Аполлоний над гробом великого императора прославляет добродетель верховного правителя и в присутствии малопривлекательного наследника престола излагает «философию государя и всех тех, кои царствовать достойны будут». Не имеет значения, проводит ли, как полагали советские исследователи, Фонвизин аналогии с современной ему екатерининской Россией, прославляет или порицает императрицу, очевидно, что его чрезвычайно интересует фигура идеального правителя, человека, избранного небом, несущего ответственность за судьбы миллионов своих подданных, обязанного избегать губительных страстей и являть пример всех человеческих добродетелей. Аналогичные рассуждения содержатся в знаменитой комедии «Недоросль»; а в одном из рукописных списков пьесы читается фрагмент, вписанный рукой самого Фонвизина и, следовательно, привлекший особое внимание автора: «Друг мой! — обращается почтенный Стародум к почтительному Правдину. — Сколь великой душе надобно быть в государе, чтоб стать на стезю истинны и никогда с нее…» (и далее рукой Фонвизина) «…не совращатся! Сколько сетей разставлено к уловлению души человека, имеющаго в руках своих судьбу себе подобных! И

вопервых…» (и снова рукой неизвестного переписчика) «…толпа скаредных льстецов всеминутно силятся уверять его, что люди сделаны для него, а не он для людей». Вероятно, в 1770-е годы этот вопрос занимал Фонвизина и как частное лицо, и как секретаря бывшего воспитателя наследника престола Никиты Панина.

Закончив свой едва ли не самый главный литературный труд (о переводе «Слова похвального Марку Аврелию» Фонвизин будет вспоминать неоднократно, а за день до своей смерти спросит юного Ивана Ивановича Дмитриева, знаком ли он с этой его работой) и находясь под обаянием сочинения Тома, Фонвизин предпринимает путешествие на родину автора, во Францию. Этот довольно продолжительный вояж продлится чуть больше года (с лета 1777-го по осень 1778 года) и будет детально описан Фонвизиным в письмах сестре Феодосии, Якову Булгакову и Петру Панину.

Путешествие во Францию

Причины, побудившие Фонвизина отправиться в августе 1777 года в свою вторую в жизни заграничную поездку, кажутся вполне очевидными: из его писем и мемуаров современников следует, что здоровье Екатерины Ивановны пошатнулось, ее мучит отвратительный, описанный любящим супругом и добросовестными исследователями жизни и творчества знаменитого русского комедиографа глист и что избавиться от этой напасти возможно лишь во Франции и с помощью французских докторов. Между тем существуют и иные объяснения столь длительного отсутствия надворного советника Фонвизина в России. Отечественные биографы указывают на некую остроту, пущенную неосмотрительным насмешником в адрес Потемкина и вызвавшую гнев всесильного фаворита (в «Словаре достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского по этому поводу сказано, что «одно замысловатое слово, сказанное им насчет князя Потемкина, восстановило против Фонвизина этого вельможу. Остряк наш принужден был воспользоваться болезнью жены своей и получил увольнение в чужие края»), или предполагают, что во Франции секретарь руководителя российского внешнеполитического ведомства выполнял секретную миссию, связанную с установлением дружеских российско-американских отношений, и в этой связи вспоминают о его встречах с находящимся в этот момент во Франции «американским поверенным» Бенджамином Франклином и русским послом в Париже Иваном Сергеевичем

Барятинским. Современные же французские (как, впрочем, и некоторые советские) авторы полагают, что это предположение едва ли доказуемо, и представляют множество обоснованных возражений.

По наблюдению тех же французских исследователей, в письмах, написанных Фонвизиным во время пребывания в Париже весной — летом 1778 года, адресованных его старинному собеседнику Петру Панину и, между прочим, еще при жизни писателя распространявшихся в списках, он опускает некоторые достигшие французской столицы и привлекшие внимание парижан новости. О смерти английского премьер-министра Питта, форсировании Гибралтара адмиралом д'Эстеном, военных успехах корабля «Красивая курица» или приеме, сделанном в Париже герцогу Шартрезу, он не говорит ни слова.

Безусловно, отправляясь в путешествие, Фонвизин ставил перед собой цель выяснить, чем так притягательна Франция, почему посетившие Париж юные европейские дворяне превращаются в Жанов де Франсов и можно ли избежать ее чар. Описывая Францию и французов, он хвалит все достойное одобрения (такого, на его взгляд, немного) и осуждает заслуживающее порицания (такое он встречает на каждом шагу). Повествуя о прекрасной Франции, Фонвизин сопоставляет ее со своим отечеством, отдает предпочтение то одной, то другой земле, поражается сходству французов и русских «не только в лицах, но в обычаях и ухватках» и их совместному отличию от немцев, которые «кроме на самих себя ни на кого не походят», но в конечном счете окончательно и бесповоротно развенчивает «французский миф» и приходит к выводу, «что люди везде люди» и что умных людей везде мало, а глупых много. Правда, не одна Франция привлекала внимание русского путешественника.

В своих письмах из-за границы Фонвизин предстает насмешливым и не всегда снисходительным ругателем стран, о военно-политическом положении которых он знал лучше подавляющего большинства современных ему россиян и с которым в течение нескольких лет знакомил своего постоянного корреспондента Петра Ивановича Панина.

Первым государством, подвергнутым Фонвизиным беспощадной критике, стала Польша. Через эту страну новоиспеченный белорусский помещик движется к основной цели своего путешествия, и кратковременное пребывание в польской земле приносит Екатерине Ивановне и Денису Ивановичу Фонвизиным множество «неприятностей и мучительных беспокойств». Правда, привыкший к столичному комфорту русский путешественник сталкивается с разного рода бытовыми

неудобствами сразу же по выезде из Смоленска, то есть еще находясь в пределах любезного отечества. В российском городе Красный («который похуже немного всякой скверной деревни») в доме городничего Степана Яковлевича Аршеневского в честь прибывшей петербургской знаменитости был дан памятный для Фонвизиных обед: тамошний повар, «прямой empoisonneur» (отравитель), накормил ничего не подозревающих вояжеров такой снедью, что, по выражению бедного Фонвизина, «целые три дня желудки наши отказывались от всякого варения».

«Длинная повесть его странствования» содержит многочисленные описания дурно пахнущих трактиров, ночевок и обедов в карете, отвратительной погоды, бесконечных дождей, головных болей, опасных для здоровья происшествий в дремучих лесах, скверных местечек, которые русский барин отказался бы взять и задаром, и не достойных упоминания городов и городишек. Даже Слоним, резиденция гетмана литовского и лучший из всех увиденных Фонвизиным польских городов, кажется «побегавшему» по нему путешественнику «весьма скверным», а в местечке Шисмыцы, где супруги решили остановиться на ночлег, они не смогли заснуть в горнице из-за «пляшущих» около них лягушек и были вынуждены перебраться в карету.

Совсем иначе Фонвизин оценивает те места, в которых ему и Екатерине Ивановне был оказан достойный прием: в «изрядном городе Венгрове» их встретил и угостил тамошний военный начальник, университетский товарищ Фонвизина князь Солнцев; в Варшаве, по наблюдению Фонвизина, имеющей удивительное сходство с любимой им Москвой, российский гость имел беседу с королем Станиславом Августом Понятовским, посетил российского посланника Отто Магнуса Штакельберга, был зван на многочисленные торжественные обеды и ассамблеи, где супруги «видели целую Варшаву» и удостоились величайших «учтивостей». Польские дамы, запомнившиеся Фонвизину своей любезностью, «наведываются» о посещавших Варшаву общих знакомых, передают поклоны и очень скоро становятся его добрыми друзьями. Многие семьи еще не вернулись из своих деревень, но, несмотря на это, круг приятных Фонвизину благородных поляков остается достаточно широким: здесь и упоминаемая сразу в нескольких письмах «гетманша Огинская», и сердечно «эстимающая» его приятеля Булгакова *madame Oborska,* и искренне расположенный к русским путешественникам великий маршал Иосиф Мнишек.

И все же польские нравы вызывают у патриотически настроенного русского сатирика недоумение и, естественно, смех.

Никогда Фонвизину не приходилось сталкиваться с таким суеверным и доверчивым народом, простотой которого безнаказанно пользуются многочисленные плуты и мошенники; со знанием дела он описывает сестре Феодосии увиденные им «странные» женские наряды; поражается свободе тамошних нравов и тяге польской шляхты к дуэлям (сам Фонвизин в дуэлях не участвовал никогда, вероятно, руководствуясь наставлением отца, не видевшего существенной разницы между шпагой и кулаками и считавшего вызов на дуэль «действием буйственной молодости»). Куда более сложным выглядит отношение Фонвизина к польскому театру. Из письма Феодосии следует, что Екатерина Ивановна и Денис Иванович видели с десяток оригинальных и переводных комедий и игрой актеров остались весьма довольны. Польский же язык кажется им «смешным и подлым», причем речи персонажей забавляют их настолько, что «во всю пиесу» они «помирают со смеха». Не меньший восторг у веселого путешественника вызывают фигуры тамошних артистов: «странно и видеть любовника плешивого, с усами и в длинном платье», — пишет он 18/29 сентября 1777 года из Варшавы. И все-таки, на взгляд завзятого театрала и самого ироничного человека во всей России, польские комедии играются «изрядно» и заслуживают внимания.

После краткого пребывания в Польше чета Фонвизиных отправляется в Саксонию, начав, таким образом, «немецкую» часть своего европейского вояжа. Три недели путешественники осматривают достопримечательности «веселого» Дрездена, а затем перебираются в «скучный» Лейпциг. Здесь, в городе «преученых педантов», наблюдательный острослов приступает к своему любимому занятию — находить и высмеивать дураков и их дурачества. Оказывается, главным «своим и человеческим достоинством» ученые лейпцигцы «почитают» знание латинского языка, на котором, как ехидно замечает Фонвизин, во времена Цицерона мог изъясняться любой пятилетний ребенок (а сейчас этим искусством в совершенстве владеет русский путешественник и переводчик, в том числе с латинского, Денис Фонвизин). Некоторые из лейпцигских педантов воспарили умом, но не имеют понятия о происходящем на земле; другие досконально изучили логику, но не умеют руководствоваться ею в жизни. Известно, что «ученость не родит разума», и, утверждает Фонвизин, ученые мужи города Лейпцига — лучшее тому подтверждение.

Приезд секретаря российского министра иностранных дел в Саксонию совпадает со временем пребывания там знаменитого авантюриста, загадочного обладателя секрета философского

камня графа Сен-Жермена. Тот спешит предложить влиятельному русскому свои услуги: сулит «золотые горы», обещает познакомить со своими служащими к пользе России проектами и рекомендует отменное лекарство для его жены. Предложения по обогащению Российской империи Фонвизин вежливо отклоняет (хотя и передает Никите Панину) под тем предлогом, что в Дрездене находится российский поверенный Василий Григорьевич Лизаневич, к которому и надлежит отправлять подобные бумаги. Лекарство же ожидаемого облегчения Екатерине Ивановне не приносит, и на этом основании «искуситель» и «чудотворец» Сен-Жермен незамедлительно объявляется «первым в свете шарлатаном». Правда, Фонвизин отдает ему должное, не без изумления называет французского «алхимиста» и целителя «весьма чудной тварью» и упоминает в одном ряду с Вольтером и Руссо.

Покинув Саксонию, Фонвизины оказываются в пределах Священной Римской империи и довольно быстро следуют через множество одинаково крошечных немецких государств. Везде с них взимают немалую дорожную пошлину, а вытащив из непролазной грязи, объясняют, что по приказу владеющего государя проезжающим вменяется в обязанность оплачивать строительство мостовой, правда, лишь запланированное. Везде они избегают встреч с хозяевами тамошних земель и, не теряя времени на придворные церемонии, стремительно приближаются к границам Франции. Исключение сделано лишь для двух имперских городов, Франкфурта-на-Майне и Мангейма. Первый славится своими древностями, которыми русский путешественник сильно интересуется, второй является резиденцией курфюрста Пфальцского, встреча с которым для Фонвизина обязательна и вызвана причинами сугубо политического характера. Франкфурт, названный Фонвизиным хранилищем старинных «знаков невежества», сильно его разочаровывает («все сие поистине не стоит труда лазить на чердаки и слезать в погреба», — пишет он Петру Панину 22 ноября/3 декабря 1777 года), Мангейм же производит самое приятное впечатление. Просвещенный и обходительный курфюрст Карл Филипп Теодор подтверждает свое расположение к российскому двору, уважение к Никите Панину и к его секретарю. Город же, «строение» в котором «новое и регулярное», кажется Фонвизину самым лучшим во всей Германии. Правда, Мангейм — это уже почти Франция, и мангеймцы сильно отличаются от прочих немцев.

Отъехав от Мангейма всего на полмили, Денис Иванович с супругой достигают рубежей Франции и, начиная основную часть

поездки, отправляются на юг — в Лион, а оттуда — в Монпелье, где Екатерина Ивановна должна пройти курс лечения. Первым французским городом, оказавшимся на пути Фонвизиных, становится Ландо, «крепость знатная», но «прошибшая» путешественников «мерзкой вонью». Фонвизин — не первый русский вояжер, отметивший это обстоятельство: что «Париж воняет», в России узнали от самого Петра Великого; что французы имеют обыкновение выливать помои из окон прямо на улицу, не писал только ленивый. Фонвизин же делает тему французской нечистоты едва ли не центральной в своем повествовании: улицы тамошних городов узки и грязны, простой народ нечистоплотен, белье аристократов грубо и несвеже, отвратительный запах кажется ему приметой всей Франции. И это притом что географическое положение Лангедока позволяет назвать его истинным земным раем: северянина Фонвизина восхищает прекрасный южный климат, высокие и ясные небеса, яркое солнце, превосходные виды — тамошняя зима выигрывает даже по сравнению с русским летом; воистину «Господь возлюбил видно здешнюю землю», — сообщает он в письме П. И. Панину от 22 ноября / 3 декабря 1777 года. Но Франция для Фонвизина — далеко не рай, а господа французы, привыкшие быть образцом для всех европейских народов — не его обитатели: по признанию русского путешественника, он верил, что найдет здесь райские куши, но, к сожалению или к радости, в ожиданиях обманулся. В своих иронических отчетах Фонвизин продолжает словесную игру, и введением райской темы эта игра не ограничивается.

Все странное и необычное или же понятное, но достойное всяческого осуждения, он сравнивает или намеренно путает с чем-то совершенно противоположным, хоть и похожим внешне. Описывая «славный город» Лион и, по своему обыкновению, возмущаясь его нечистотой и равнодушием полиции, Фонвизин приводит, на его взгляд, весьма характерный пример. Идя по центральной улице города (которая, естественно, не идет ни в какое сравнение с российскими переулками), он заметил большое скопление народа и множество зажженных факелов. Близорукий вояжер решил, что стал свидетелем торжественного погребения какой-то знатной особы, и, будучи от природы любопытным, подошел ближе. К своему великому изумлению, вместо скорбного обряда он увидел безобразную сцену: при свете дня и полном попустительстве властей «господа французы» опаливали убитую свинью. Или другой пример: рассказывая сестре об очень странной, на его взгляд, церковной службе в Монпелье, Фонвизин вдруг вспоминает, что не описал «архиерейскую шапку», и тут же отмечает ее поразительное сходство с гаерским колпаком. Под

пером русского комедиографа, примечающего все необычное и любопытное, высокое неотличимо от низкого, а низкое — от высокого: опаливание свиной туши издалека напоминает похоронный обряд, а епископская митра вблизи очень похожа на шапку балаганного шута. Кажется, для человека, посмотревшего на французов русскими глазами, отметившего поразительное и малообъяснимое подобие французов и русских, Россия и Франция — настоящие антиподы.

Парижане же, с которыми он знакомится после лионцев, марсельцев и жителей Монпелье, имеют некоторое сходство с самим Фонвизиным, но не зрелым мужем, а совсем юным повесой, лишь вступающим в жизнь. Рассуждая о разуме столичных жителей, наблюдательный путешественник отмечает, что под ним они подразумевают лишь «одно качество, а именно остроту его», причем остроту, не управляемую «здравым смыслом». В покаянном «Чистосердечном признании» умудренный опытом Фонвизин пишет, что природа наградила его «умом острым», но не дала «здравого рассудка». Со временем Фонвизину, как он полагает, удалось избавиться от этого недостатка, французам же не удалось за всю их многовековую историю и не удастся никогда. А все потому, что, по наблюдению русского нравописателя (правда, по сведениям Вяземского, заимствованному из книги французского же писателя и историка Шарля Пино Дюкло «Рассуждения о нравах этого века»), из молодости они сразу же «переваливаются» в «дряхлую старость» и, следовательно, минуют «совершенный возраст».

Высказавшись в «Бригадире» по поводу пагубности французского влияния на неокрепшие и переимчивые умы русских дворянских сынков, Фонвизин решает не столько проверить верность своих антифранцузских суждений, сколько найти новые им подтверждения, «посчитаться» с народом, «дающим тон всей Европе». Кажется, господам французам трудно рассчитывать на его справедливый и объективный суд: вот почему все достойное восхищения Фонвизин отмечает с некоторым изумлением и будто бы оправдываясь перед ждущими от него острой сатиры на французов адресатами. «По справедливости сказать», «надлежит отдать справедливость», «справедливость велит мне признаться», «правду сказать», «коли что здесь действительно почтенно» — так начинается его каждое более или менее одобрительное замечание о Франции. Безусловно хороши лишь французские патриотизм, система писаных законов, «щегольские» дороги, мостовые «как скатерть», лионский водопровод, фабрики и театр, особенно комедии, в которых русский путешественник знает толк и сочинением которых

сделал себе имя. Конечно, искусных комедийных актеров можно найти и в России, но такой великолепный ансамбль, игрой которого наслаждается автор «Бригадира», возможен только во Франции, «…когда на них смотришь, то конечно забудешь, что играют комедию, а кажется, что видишь прямую историю», — пишет он сестре из Парижа 11/22 марта 1778 года.

«Несценические» же комедии Фонвизин имеет удовольствие наблюдать едва ли не каждый день, при виде нового «дурачества» французов принимается «кататься со смеху» и исключением из общего, для многих европейцев, разумного и достойного подражания правила французской жизни такие «пьесы» не считает. Для французов совершенно естественно безмерно, театрально и поэтому чрезвычайно потешно восхищаться гардеробом (в котором, правда, наряду с очень скромными вещами встречаются поистине великолепные меховые наряды) русского путешественника, а для тамошнего духовенства — проводить пресмешные церковные церемонии: французские епископы при своем облачении используют собственных лакеев, а прочий клир выглядит непривычно и в высшей степени забавно. Об увиденной в Страсбурге «панихиде по всем усопшим, то есть нашей родительской» Фонвизин рассказывает сестре, что «великолепие было чрезвычайное. Я с женою от смеха насилу удержался, и мы вышли из церкви. С непривычки их церемония так смешна, что треснуть надобно. Архиерей в большом парике, попы напудрены, словом — целая комедия». Характерно, что в описанных русским путешественником «несценических» комедиях (именно так он называет все эти сценки) речь непременно идет об одевании, одежде или предметах туалета, будь то восхищающий французов редкой красоты гардероб русского вояжера или странный, на взгляд православного иностранца, внешний вид французского духовенства — судя по всему, молодой щеголь и в самом деле имеет слабость к нарядам и примечает все с ними связанное.

Рассказывая сестре Феодосии в письме из Монпелье от 20 ноября / 1 декабря 1777 года о распорядке своего дня, Фонвизин отмечает, что «в пять часов ходим или в спектакль, или в концерт». Но если французский театр кажется Фонвизину одним из редких, хоть и не бесспорных чудес тамошней земли («могу тебя уверить, что французская комедия совершенно хороша, а трагедию нашел я гораздо хуже, нежели воображал», — сообщает он той же Феодосии несколько позднее, в марте 1778 года и уже из Парижа), то музыкальное искусство современных французов, на его взгляд, достойно лишь безжалостного осмеяния. «A propos, — пишет он сестре в том же письме из Монпелье, — забыл

я сказать о здешнем концерте, то есть о французской музыке. Этаких козлов я и не слыхивал. Поют всего чаще хором. Жена всегда носит с собою хлопчатую бумагу: как скоро заблеют хором, то уши и затыкают». Что касается музыки, то в ней Фонвизин разбирается давно и превосходно: «пречудным мастерством» играет на скрипке «миноветы» и состоит членом основанного в Петербурге музыкального клуба — а потому его мнение можно считать вполне авторитетным. Французы же, по наблюдению ядовитого путешественника, обожают самые разные зрелища, будь то комедия или публичная казнь, и готовы одинаково бурно рукоплескать как искусству актера, так и мастерству палача, «… здесь за все про все аплодируют, даже до того, что если казнят какого-нибудь несчастного и палач хорошо повесит, то вся публика аплодирует битьем в ладоши точно так, как в комедии актеру», — отмечает он, рассказывая сестре об успехе новой пьесы Вольтера «Ирена, или Алексей Комнин».

Рассуждая о Франции, Фонвизин никогда не напишет: «Сказать по правде, французы легкомысленны, безрассудны, невежественны, развращенны, простоваты, лживы и суеверны»; «сказать по правде» — это лишь про прекрасные дороги и великолепные лионские фабрики, про все, достойное одобрения и, следовательно, для Франции исключительное. Как сказано в «итоговом», написанном уже в Ахене 18/29 сентября 1778 года письме Петру Панину, во Франции Фонвизин «нашел доброе гораздо в меньшей мере, чем воображал, а худое в такой большой степени, которой и вообразить не мог», а в чуть более раннем «отчете» сестре — «хорошее здесь найдешь, поискавши, а худое само в глаза валит». Рассказывая о «худом», он следует определенной схеме: называет изъян, отмечает, что нечто подобное встречается в России, и в заключение добавляет, что во Франции дела обстоят значительно хуже, чем в любезном отечестве. Говоря о безобразиях, творящихся в тамошних судах, Фонвизин утверждает, что в этом смысле Франция ничем не отличается от России, но «в нашем отечестве издержки тяжущихся не столь безмерны», как во Французском королевстве; обращаясь к французским фантазиям касательно новой русско-турецкой войны, Фонвизин отмечает, что «вести» любят и в России, но для французов, не способных без выдумок и лжи прожить и дня, они являются настоящей пищей. К счастью, некоторые «неустройства» несовершенного французского общества в Россию еще не проникли и в далекой северной стране до сих пор неизвестны: размышляя в привычных терминах о «хорошем» и «дурном», Фонвизин продолжает утверждать, что здесь чрезвычайно много «совершенно дурного и такого, от чего

нас Боже избави».

По мысли Фонвизина, исследование обманчивого идеала должно помочь «начинающим жить» и лишь создающим свою общественную «форму» «нам» «избегнуть тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились». «Nous commençons et ils finissent (мы начинаем, а они заканчивают), — пишет русский галлофоб Фонвизин своему другу Булгакову и, развивая эту мысль, добавляет: —…я думаю, что тот, кто родился, посчастливее того, кто умирает». Узнав Францию, «мы» не допустим такого же развращения нравов, презрения к воспитанию, забвения «доброй веры» людям и торжества лицемерия, не позволим распространяться злоупотреблениям и нищете. Пример «умирающей» Франции, где «вольность есть пустое имя», а люди охвачены рабским суеверием или заражены «новой философией», пойдет на пользу «родившейся» России.

Благодаря быстрому исцелению Екатерины Ивановны в Монпелье Фонвизин имеет в своем распоряжении достаточно времени, чтобы проехаться по «южным французским провинциям», посмотреть «Лангедок, Прованс, Дофине, Лион, Бургон, Шампань». Фонвизины посещают города Э (*Aix*), Оранж, Дижон, Осер, Валанс, Вьенн, Фонтенбло и «папский город» Авиньон, «в котором, кроме церквей, ничего нет любопытного». Оставшись в целом довольным «сим малым вояжем», Фонвизин въезжает в Париж, «мнимый центр человеческих знаний и вкуса», и «с целью приращения знаний своих» встречается с «учеными людьми» и «новыми философами».

Как обычно во Франции, его постигает горькое разочарование. Давно и положительно решив для себя вопрос существования Бога, Фонвизин отказывается понимать, почему «признание бытия Божия мешает человеку быть добродетельным», предлагает полюбоваться на «людей без религии» и рассудить, «прочно было бы без оной все человеческое общество». Учителя, по мнению русского критика французской нравственной философии, полностью соответствуют своему учению: их поведение вызывает у него негодование и презрение (а подобное мнение и критические писания самого Фонвизина вызывают крайнее неодобрение у его биографа П. А. Вяземского). Самовлюбленность и корыстолюбие Мармонтеля, Дидро и Д’Аламбера не знают границ и выходят за рамки всяческих приличий: Мармонтель, автор запрещенного во Франции и переведенного в России при участии самой Екатерины II «Велизария» и знаменитых «Нравоучительных сказок», на поверку оказался способным на «подлые поступки» «вралем», Д’Аламбер, редактор знаменитой «Энциклопедии», кроме душевной низости,

запомнился его русскому собеседнику «премерзкой фигурой» и «преподленькой физиономией». На взгляд Фонвизина, французские философы отличаются от обыкновенных бульварных шарлатанов лишь непомерным тщеславием, желают не только денег, но и славы. Единственным исключением из этого грустного правила является Антуан Леонар Тома, автор переведенного Фонвизиным «Слова похвального Марку Аврелию». Лишь в нем суровый критик пороков «ученых людей» Франции находит не только тонкий ум, но и честность; лишь в этом кротком и доброжелательном человеке и талантливом писателе он не видит ни высокомерия, ни корыстолюбия, ни «подлой лести».

В Париже Фонвизин становится свидетелем последнего триумфа Вольтера, присутствует при краткой беседе фернейского старца с Екатериной Ивановной, наблюдает за ним во время спектакля (разумеется, постановки «Альзиры») и на собрании Академии наук. В своих письмах Фонвизин описывает Вольтера преимущественно в церковно-религиозных терминах: называет его чудотворцем, упоминает *мощи* «осьмидесятипятилетнего» старика и отмечает, что для французов он подобен сошедшему на землю божеству. На такого человека можно лишь благоговейно взирать со стороны, о знакомстве с кумиром всей Европы Фонвизин даже не помышляет.

Последним из «мудрых века сего», кого хочет увидеть русский путешественник, был Жан Жак Руссо. Но сделать это чрезвычайно сложно: Руссо «в своей комнате зарылся, как медведь в берлоге», никуда не ходит и никого не принимает. Ученые французы обещают Фонвизину исполнить его просьбу и показать любознательному чужестранцу «этого урода» (число людей, названных Фонвизиным этим словцом, неуклонно растет: в «уроде» Елагине его раздражала черствость, в Руссо — нелюдимость, и свое недовольство Фонвизин выражает довольно однообразно, примерно как Бригадир, называвший «уродом» своего сына Иванушку). Однако встретиться с почитаемым сестрой Феодосией автором Фонвизину так и не пришлось: «славный французский писатель» (так Руссо назван в «Чистосердечном признании», создававшемся, к слову сказать, по образцу его «Исповеди») умер накануне назначенной встречи, и Фонвизину остается лишь сокрушаться, что судьба не позволила ему увидеть честнейшего и бескорыстнейшего из «господ философов нынешнего века».

Пребывающие в Париже образованные иностранцы интересуют Фонвизина куда меньше тамошних «ученых людей»; строго говоря, русский путешественник упоминает лишь одного чужестранца, поверенного американской республики Бенджамина

Франклина. Правда, в отчетах Фонвизина его имя встречается чаще, нежели кого-либо из «господ французов»: в концовке писем Петру Панину Фонвизин непременно информирует своего корреспондента о слухах, касающихся американского представителя: сначала сообщает, что Франклин назначен послом при французском дворе, после объявляет эти сведения не соответствующими действительности, затем доносит, что Франклин «аккредитуется полномочным министром от Соединенных Американских Штатов», и говорит об этом в связи с английскими неудачами в «междоусобной» войне и ожиданием неизбежного англо-французского вооруженного конфликта. Зато в письмах Феодосии об англо-американских делах Фонвизин рассказывает не много, называет «министра от американских соединенных провинций» «славного Франклина» «славным английским физиком» и с удовольствием замечает, что оба они (Фонвизин и Франклин) получили приглашение на заседание парижского общества «Свидание литераторов», возглавляемого «одним из мудрых века сего» Паэном Шампленом Бланшери, и что там русский писатель (именно в этом качестве Фонвизин был известен ученым людям Франции) с большим успехом рассказал любознательным французам «о свойстве нашего языка». Правда, по мнению исследователей, говоря о своей «удаче», честолюбивый путешественник сильно преувеличивает и важность этого собрания, и мудрость его председателя.

Рассказывая Феодосии о посещении Франклином Парижа, Фонвизин специально останавливается на сфере научных интересов просвещенного американца и делает это неспроста. Описывая свое времяпрепровождение, русский вояжер отмечает, что здесь он в полной мере пользуется возможностью получить дешевое и основательное образование: пока Екатерина Ивановна учится французскому языку и музыке, Денис Иванович изучает философию и юриспруденцию, а после, уже в Париже, слушает курс экспериментальной физики академика Жака Бриссона. В каком-то смысле он тоже физик, хотя и не такой славный, как его знакомый изобретатель громоотвода и исследователь электричества Бенджамин Франклин.

Дешевизна образования во Франции радует Фонвизина несказанно: в письме Петру Панину из Монпелье он подчеркивает, что имеет возможность «приобретать знания», «не расстраивая своего малого достатка». И это притом что французы, к удовольствию Фонвизина, видят в нем «важную персону» и «русского сенатора», а он потешается над их невероятной экономностью, едва ли не «скаредной жадностью». Ясно, что финансовые дела беззаботных и живущих явно не по средствам

Фонвизиных приходят в жалкое состояние: в письме Якову Булгакову от 3/14 апреля 1778 года он, владелец большого имения и кредитор князя Гагарина, просит своего старинного приятеля помочь ему в решении возникших денежных проблем и доверительно сообщает, что «как в начале июня нужно мне будет выехать отсюда в Спа, то и надобно деньги к тому времени отослать мне, а между тем я кое-как изворачиваться стану тем, что имею». И теперь, когда денег не хватает катастрофически, расточительный человек Фонвизин начинает задумываться о верном способе увеличить свой доход. В Париже русский путешественник сводит знакомство с книготорговцем и антикваром, «санктпетербургским первой гильдии купцом» Германом Иоганном Клостерманом, который впоследствии станет его преданным другом, верным помощником, деловым партнером и консультантом. Не без помощи Клостермана Фонвизин со временем «заведет свою коммерцию вещами, до художеств принадлежащих» — будет скупать за границей «художественные произведения» и отправлять их для продажи в Россию. Аристократ, женившийся на купеческой дочери и ставший близким другом купца, и сам со временем постарается стать коммерсантом и, повторим, тем подтвердит, что к числу русских приверженцев идей аббата Куайе принадлежит и сам переводчик его нашумевшего трактата «Торгующее дворянство».

Предприимчивый Клостерман составляет компанию своему будущему «покровителю и другу» в тот момент, когда уставшие «шататься в чужих краях» супруги Фонвизины оставили Францию и отправились в Россию (правда, петербургский купец утверждает, что сопровождал Фонвизиных уже во время их путешествия в южную Францию, однако, судя по всему, это заявление не соответствует действительности: дело в том, что над своими записками Клостерман работал в весьма преклонном возрасте и, естественно, описывая события далекого прошлого, мог допустить ошибку). Скорее всего, вместе с Клостерманом Фонвизины посещают Спа, где Екатерина Ивановна заканчивает лечение, оттуда перебираются в Ахен, где внимательнейшим образом рассматривают все тамошние достопримечательности, и расстаются со своим спутником в Брюсселе. Фонвизины принимают решение посмотреть Голландию и возвращаются домой через хорошо им знакомые Германию и Польшу.

Снова в России

Фонвизин чрезвычайно рад закончить свое многомесячное «кочевье» и вновь оказаться среди любимых людей:

родственников, друзей и милостивых благодетелей. Он наслаждается их обществом и, как предлагают биографы, с удовольствием рассказывает обо всем виденном и слышанном в дальних краях. Рассказчик же Фонвизин бесподобный; по словам его восхищенного почитателя Клостермана, он «отличался живою фантазиею, тонкою насмешливостью, уменьем быстро подметить смешную сторону и с поразительной верностью представить ее в лицах…». Трудно сказать, были ли в этот раз среди слушателей Фонвизина влиятельные особы, расположения которых он хотел бы добиться. Ведь всю свою жизнь с большим успехом, но, как правило, без особенной пользы для карьеры он демонстрирует свои таланты сильным мира сего. Если благодаря чтению «Бригадира» Фонвизин сделался, по словам одного не симпатизировавшего ему исследователя, «созданием» Никиты Панина, познакомился с наследником престола и стал известен (хотя и не слишком приятен) императрице, то его последующие опыты результата уже не дают. Член «панинского кружка» и сторонник великого князя Павла Петровича, он едва ли может рассчитывать на расположение императрицы или Потемкина. Однако лучший российский острослов веселит их своими «моноспектаклями» при первой же возможности и, судя по всему, делает это с большим искусством.

Еще до своей поездки во Францию он часто присутствует при утреннем туалете Потемкина и развлекает его забавными историями (по не подтвердившимся, но отмеченным П. А. Вяземским сведениям ядовитых клеветников и недоброжелателей, во время этих «представлений» Фонвизин пародирует своего патрона Никиту Панина, предлагает Потемкину способ избавиться от назойливых просителей и сам становится жертвой своего совета). Интерес всемогущего вельможи к рассказам бывшего однокашника вызвал недовольство самой императрицы, в одной из записок 1774 года пожаловавшейся своему неверному фавориту, что из-за Фонвизина, которого «принес черт», она не видела его, человека, ею горячо любимого, уже «сто лет», в то время как Фонвизин, с которым Потемкин готов встречаться каждый день, способен любить лишь одного себя. «Добро, душенька, он забавнее меня знатно. Однако я тебя люблю, а он, кроме себя, никого», — заканчивает императрица короткое, но весьма проникновенное послание своему «батиньке» и «голубчику».

По свидетельству современников, во время одной из неизвестно когда случившихся болезней Екатерины Никита Панин ищет способ прогнать монаршую скуку и предлагает ей послушать его секретаря, который «обладает редким даром

подражать всякому голосу». Вызванный Фонвизин разыгрывает уморительную сценку: первые вельможи государства спорят за партией в вист, а основатель воспитательного дома и Смольного института, директор Кадетского корпуса, президент Академии художеств, автор «Генерального учреждения о воспитании юношества обоего пола» и личный секретарь императрицы Иван Иванович Бецкой прерывает их своими бесконечными рассуждениями о воспитательном доме, ломбарде и Институте благородных девиц. Выступление Фонвизина, сумевшего необыкновенно точно воспроизвести голоса знаменитых государственных мужей Российской империи, произвело ожидаемое действие, Екатерина «развеселилась» и милостиво сообщила собрату по перу, что «остается довольна новым с ним знакомством».

Примечательно, что Фонвизин был не единственным пародистом, разыгрывавшим в присутствии Екатерины забавные «представления»: среди многочисленных «проделок» обер-шталмейстера Льва Нарышкина известна показанная им в 1783 году сценка «Княгиня Дашкова произносит речь при открытии Российской академии». Как и Фонвизин, Нарышкин обладал талантом подражать голосам и манерам самых разных людей, за свою склонность к паясничанью был назван императрицей арлекином и сам становился объектом насмешек императрицы. По ее наблюдению, оказавшись рядом, крайне не расположенные друг к другу Нарышкин и Дашкова отворачиваются друг от друга и составляют уморительную фигуру, напоминающую двуглавого российского орла, а в комедии-пословице «За мухой с обухом» эти не переносящие друг друга персонажи выведены под именами Постреловой и Дурындина. Искусством подражания владел и сам Потемкин: известно, что он развлекал императрицу, изображая ее не вполне правильный русский выговор. Правда, в отличие от прочих потешающих Екатерину «дразнителей», фаворит императрицы «играл» не кого-то из влиятельных вельмож, а ее саму, шутил с возлюбленной, а не почтительно развлекал всемилостивейшую повелительницу.

В своем первом, отправленном еще в 1763 году, петербургском письме юный Фонвизин обещает сестре Феодосии прислать ей книгу знаменитого автора «Перелицованного Вергилия» Поля Скаррона, «который почитается преславным шутом». Вероятно, называя блистательного французского поэта «шутом», Фонвизин имеет в виду лишь его необыкновенное остроумие, почитает его изрядным шутником; однако в других писаниях он употребляет это слово по отношению к достойным всяческого осуждения гаерам и балагурам, по предположению

Якова Грота, к тому же Льву Нарышкину. Не шутом ли, охотно лицедействующим перед «большими господами», выглядит потомственный дворянин Денис Иванович Фонвизин? Не потешает ли он почтенную публику? Ответить на этот вопрос не так-то просто. Ясно только, что «российская Минерва» Фонвизина не только недолюбливает, но и не воспринимает всерьез, для нее он не больше чем самовлюбленный панинский наперсник, пустой забавник, шутовским способом привлекающий к себе внимание «большого двора» императрицы и достойный всяческого осмеяния. По словам Вяземского, ознакомившись с «одним политическим сочинением», составленным по указанию Никиты Панина и предназначенным для великого князя Павла Петровича (надо понимать, речь идет о «Рассуждении о непременных государственных законах»), она, «шутя в кругу приближенных своих», произнесла: «Худо мне жить приходится: уж и господин Фон-Визин хочет учить меня царствовать».

Фонвизин же продолжает переводить наставления для монархов и по возвращении из Франции обращается к сочинениям восточных мудрецов. Своеобразным продолжением «Слова похвального Марку Аврелию» (1777) стала «Та-Гио, или Великая наука, заключающая в себе высокую китайскую философию» (1779), правда, переведенная им с того же французского. Источник фонвизинского перевода и короткая история его бытования в Европе XVIII века известны и детально изучены. В 1730 году эта книга, якобы созданная учениками самого Конфуция, была издана ориенталистом и исследователем истории Древней Руси петербургским академиком Готлибом Зигфридом Байером. Переведенная затем французским китаистом аббатом Пьером Марциалом Жибо, «Та-Гио» была включена в состав выходивших в Париже с 1776 года (незадолго до появления там самого Фонвизина) «Исследований, касающихся истории, наук, искусств, нравов, обычаев и т. д. китайцев» и в таком виде стала известна русскому автору. Взявшись за перевод «Та-Гио», Фонвизин работает с неизвестным ему, но хорошо знакомым европейскому научному сообществу материалом, перечисляет труднопроизносимые имена китайских правителей и неизвестные факты китайской истории. Но не история Древнего Китая интересует русского переводчика — мысли, обнаруженные в этом «памятнике древнего красноречия и мудролюбия», кажутся ему справедливыми и полезными для любого современного правителя. Вслед за древним китайским философом Фонвизин объявляет, что важнейшими качествами истинного монарха являются мудрость и добродетель и лишь благодаря им, а не богатству и изобилию государство достигает истинного

«великолепия»; что престол поддерживается «верностью, правотой и честностью», а сокрушается «гордыней, коварством и злобой»; что важнейшим «сокровищем государства» всегда было и будет правосудие; что для своего народа государь должен быть «как отец и мать» и что монарх, стремящийся «достичь совершенства премудрости и добродетели», должен научиться смотреть на мир глазами своих подданных.

Надо сказать, что во второй половине XVIII века китайско-японская тема вызывала у русского читателя самый живой интерес, и перевод Фонвизина пополнил число русских изданий, посвященных языку, нравам и истории далеких восточных соседей: в 1750-х — середине 1760-х годов в журнале «Ежемесячные сочинения» были опубликованы «Рассуждения о китайском языке из писем барона Гольберга» и «Переводы с китайского языка», во второй половине 1780-х годов комедиограф и переводчик Михаил Иванович Веревкин предложил вниманию любознательных, но не владеющих французским языком отечественных читателей четыре тома «Записок китайских», тех самых «Исследований, касающихся истории… китайцев», а незадолго до этого, в 1780 году, не с французского, а, по всей видимости, с маньчжурского языка это сочинение перевел отечественный синолог Алексей Леонтьев. В том же 1780 году Николай Иванович Новиков издал историю жизни Конфуция, а несколько ранее, в 1773 году, старинный знакомый Фонвизина И. Г. Рейхель выпустил книгу «Краткая история Японского государства», в которой, между прочим, отмечается, что японские мужчины невероятно ревнивы, что японский театр необыкновенно хорош и что японцы превзошли китайцев в книгопечатании, хотя и уступают им в искусстве стрельбы из пушек. В России военная мощь китайских мудрецов вызывала не меньшее беспокойство, чем в Японии — не случайно в 1787 году Екатерина II будто бы сказала Державину, что намеревается жить до тех пор, пока не «вышвырнет» турок из Европы, не «наладит торговлю» с Индией и не «собьет спесь» с Китая. Дальний Восток выглядел соседом загадочным, страшным и притягательным, а сходство взглядов писавшего на древнеримскую тему современного французского и древнего китайского философов казалось Фонвизину бесспорным и поразительным.

Опубликованный в майском 1779 года номере «Санкт-Петербургского вестника» перевод «Та-Гио» оказывается последним законченным произведением Фонвизина 1770-х годов, и 1780-е годы русский Мольер начинает с создания самого знаменитого своего творения — комедии «Недоросль». Если, конечно, к числу сочинений Фонвизина не относить

сохранившуюся расписку в получении им «пансиона»: «1780 года мая 15 дня получил я, подписавшейся, из комнаты Его Императорского Высочества следуемаго князю Ухтомскому на сию майскую треть пансиона шездесят рублев. Денис Фонвизин».

Бессмертный «Недоросль»

Судя по всему, после женитьбы писательская активность Фонвизина стремительно падает, а выполненные во второй половине 1770-х годов переводы секретаря главного российского фрондера Никиты Панина и верного сторонника Павла Петровича посвящены одной-единственной проблеме — воспитанию добродетельного монарха. Он много и смешно рассказывает, во Франции в нем видят крупного русского литератора, но список сочинений Фонвизина, еще в 1772 году приведенный Новиковым в «Опыте исторического словаря о российских писателях», остается практически неизменным. По возвращении на родину он в чине надворного советника продолжает служить в Коллегии иностранных дел, в 1779 году «пожалован канцелярии советником» при Секретной экспедиции (или «политическом департаменте»), в 1781 году занимает место статского советника, члена Публичной экспедиции для почтовых дел, а в 1782 году производится в статские советники. Подняться выше Денису Ивановичу Фонвизину было не суждено: в отставку он вышел в том же чине, что и отец, Иван Андреевич, и «уступив» младшему брату, действительному тайному советнику Павлу Ивановичу. Достигнув бригадирского звания, автор одноименной комедии создает окончательный вариант своего знаменитого «Недоросля», успех которого позволит современникам и потомкам назвать Фонвизина русским Мольером, а его учителя Хольберга — датским Фонвизиным, — как сказано в одном из номеров «Московского телеграфа» за 1830 год, «выставившим на позор» «датских Скотининых, Простаковых и Кутейкиных».

НЕДОРОСЛЬ,

КОМЕДІЯ

ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

Представлена въ первый разъ

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ

Сентября 24 дня 1782.

Продается у Клоссиермана, противъ адмиралтейства, въ домѣ мещанскаго клоба. No. 106.

Въ Санктпетербургѣ,

Печатана въ вольной типографіи у Шнора.

1783.

Титульный лист издания комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»

Европейские же (преимущественно датские) слависты полагают, что своего «Недоросля», как, впрочем, и «Бригадира», Фонвизин создавал с оглядкой на комедии Хольберга, и обнаруживают в нем следы никогда не переводившихся на русский язык «Эразмуса Монтануса, или Расмуса Берга» и «Якоба фон Стюбое, или Хвастливого солдата», а также «Короткого

девичества Перниллы» (пьесы, в переводе Алексея Шурлина получившей название «Обманутый жених» и изданной в Москве в 1768 году). В самом деле, госпожа Простакова, намеревающаяся выдать «взятую на руки» дальнюю родственницу Софью за своего брата Скотинина, а затем, узнав о большом наследстве находящейся в ее власти беззащитной девушки, пытающаяся спешно заменить единоутробного брата сыном Митрофаном, следует путем героя «Короткого девичества Перниллы» престарелого Иеранимуса (в русском варианте — Долгоносова). Правда, в комедии Хольберга герой, поначалу хлопочущий о браке своего пасынка Леандра с юной красавицей Леонорой, впоследствии в качестве жениха рассматривает не кого-либо из своих ближайших родственников, а самого себя и, естественно, терпит неудачу: плутоватым помощникам влюбленных героев удается обмануть глупого Иеранимуса, женить его на служанке Пернилле и сделать из некогда респектабельного датского господина посмешище. Трудно сказать, учитывал ли Фонвизин опыт Хольберга, и если учитывал, то в какой мере. Конечно, в знакомстве русского комедиографа с этими пьесами датского классика (разумеется, в немецком переводе) сомневаться не приходится, но является ли знакомство с творчеством старшего современника достаточным основанием для подобных утверждений?

Поиск совпадений в пьесах разных европейских авторов — процесс занимательный и не сложный. Без большого труда их можно обнаружить и у одного сочинителя, например в комедиях самого Фонвизина. Ведь и в «Недоросле», и в «Бригадире» лучший отечественный «комик» рассказывает о несостоявшемся браке сына поместного дворянина с не любимой им девушкой Софьей, чье сердце к тому же отдано добродетельному юноше, Добролюбову или Милону. Больше того, в обеих комедиях Фонвизина наиболее колоритным персонажем выглядит мать покорного воле родителей жениха: набитая дура Бригадирша или грубая тиранка Простакова. Но если некоторое сходство двух главных комедий Фонвизина объяснимо и неудивительно, то названные скандинавскими славистами совпадения между пьесами Хольберга и Фонвизина о непосредственном воздействии датского мастера на «родоначальника русской социальной сатиры» (как еще в 1882 году назвал Фонвизина автор датскоязычной работы по истории русской литературы К. В. Смит) говорить все-таки не позволяют и остаются любопытными и достойными дальнейшего изучения параллелями. Равно как и совпадения между «Недорослем» и многочисленными европейскими комедиями, посвященными проблеме воспитания,

«населенными» влюбленными в своих детей матерями, развращенными сыновьями, безвольными отцами, бездарными учителями и добродетельными резонерами.

Куда более аргументированными выглядят соображения отечественных и европейских исследователей относительно связи «Недоросля» с сочинениями французских авторов. Бесспорно, финал русской комедии схож с концовкой мольеровского «Тартюфа». Рассуждения госпожи Простаковой о науке географии («Ах, мой батюшка! А извозчики-то на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: „Повези меня туда“, — свезут куда изволишь») заимствованы из повести Вольтера «Жанно и Колен», где родители юного Жанно обсуждают с невежественным учителем, каким наукам необходимо обучать юного маркиза. В диалогах Стародума с Правдиным и Милоном встречаются едва ли не цитаты из «Характеров, или Нравов нынешнего века» переводчика Феофраста, воспитателя внука знаменитого вождя Фронды Луи Бурбона Конде, знаменитого писателя Жана де Лабрюйера (1645–1696) и «Умозрительного путешествия, или Важных и смешных забав» правнука короля Генриха IV, поэта и комедиографа Шарля Ривиера Дюфрени (1648–1724).

Среди бесспорных русских источников «Недоросля» специалисты называют комедию Екатерины II «О, время», которая, в свою очередь, создавалась под непосредственным влиянием пьесы немецкого писателя, автора духовных од, нравоучительных рассказов и басен, романа, пастушеской драмы и комедий Кристиана Фюрхтеготта Геллерта (1715–1769) «Богомолка» («Betschwester», 1745 год). В самом деле, главная героиня немецкой комедии — проводящая дни в молитвах недобрая вдова фрау Рихардинн мало чем отличается от госпожи Хонжахиной, ее добродетельная, но не получившая должного воспитания дочь Христианхен — от внучки Хонжахиной Христины, жених Христианхен Симон — от русского Молокососова, дальняя родственница хозяйки дома Лорхен — от служанки Хонжахиной Мавры, а друг Симона Фердинанд — от друга Молокососова Непустова. «Неизвестный» (на деле же очень хорошо известный всей отечественной читающей публике) автор русской пьесы, который, как сказано в издававшемся Н. И. Новиковым журнале «Живописец», первый сочинил «комедию точно в наших нравах» и чье «перо достойно равенства с Молиеровым», оказался не вполне самостоятельным, хотя и чрезвычайно скромным драматургом (о своем литературном таланте Екатерина рассуждает в письме Вольтеру от 6/17 октября 1772 года: «…у автора много недостатков, — признается императрица, — он не знает театра;

интриги его пьесы слабы. Нельзя того же сказать о характерах: они выдержаны и взяты из природы, которая у него перед глазами. Кроме того, у него есть комические выходки; он заставляет смеяться; мораль его чиста, и ему хорошо известен народ»). При самом поверхностном сопоставлении несомненно похожих комедий «О, время» и «Недоросль» (подчас фонвизинская госпожа Простакова едва ли не цитирует екатерининскую госпожу Хонжахину) становится понятно, что через десять лет после создания венценосной писательницей своей, несомненно, удачной пьесы у нее появился талантливый и грозный соперник: в отличие от комедии Екатерины Великой, сочинение остроумнейшего человека ее блестящей эпохи Дениса Ивановича Фонвизина стоит на уровне лучших образцов комедийного жанра, виденных им в Париже.

В начальных сценах «классического» «Недоросля» (кроме которого некоторые исследователи выделяют так называемый «ранний», датированный 1760-ми годами, и «рихтеровский», созданный вскоре после возвращения Фонвизина из Франции, вероятно, в 1779 году, и фрагментарно пересказанный его младшим современником И. Рихтером варианты) участвуют преимущественно отрицательные, а значит, уморительно смешные персонажи. И с первых же их реплик на зрителя неиссякаемым потоком обрушиваются шутки величайшего русского насмешника и непревзойденного мастера каламбура. Кафтан, сшитый для Митрофана, малого «деликатного сложения», к «дядину сговору», кажется его матери, неистовой ругательнице Простаковой, слишком узким, и она требует от крепостного портного Тришки разъяснений. Тот неожиданно решительно оправдывается, говорит, что заранее предупреждал о своем неумении шить кафтаны, и на резонный вопрос мучительницы, у кого, по его мнению, учился первый портной, не задумываясь, отвечает, что первый портной, скорее всего, шил хуже Тришки. Не вбеги в этот момент Митрофан, неизвестно, какие молнии обрушились бы на голову «перепревшего», но не убедившего свою хозяйку крепостного. Продолжая начатую тему и знакомя «смотрителей» с другими героями, Фонвизин выводит на сцену мужа «презлобной фурии» — господина Простакова. «При твоих глазах мои ничего не видят», — говорит хозяин дома, застигнутый врасплох вопросом грозной супруги, «каков кафтанец», и не сумевший сразу же представить правильный, то есть ожидаемый госпожой Простаковой, ответ. Обсуждение заканчивает брат хозяйки Тарас Скотинин, проявивший известную самостоятельность мышления и объявивший кафтан сшитым «изряднехонько» (свое здравомыслие он

продемонстрирует еще не раз, например, когда на заявление Простаковой, что исчезнувший из поля ее зрения, а потому наверняка умерший Стародум, «конечно, не воскресал», отвечает: «Сестра! Ну да коли он не умирал»).

Высказавшись относительно «обновки к дядину сговору», персонажи заводят беседу о состоянии здоровья объевшегося, неважно себя почувствовавшего и «протосковавшего» до утра племянника Митрофанушки. Выясняется, что давеча «маменькин сын» изволил поглотить невероятное количество пищи, и ночью ему лезла в голову «всякая дрянь», то матушка, то батюшка, и в этом прекрасном сне матушка так усердно колотила батюшку, что ребенок почувствовал жалость. Спохватившись, что сочувствие к избитому родителю может не понравиться ревнивой Простаковой, Митрофан незамедлительно поясняет, что жалко ему было уставшую драться матушку, а не поколоченного (и не на шутку испугавшегося этого рассказа) батюшку; за проявление сыновней любви плутоватый Митрофан (с греческого его имя переводится как «матерью явленный») объявляется Простаковой единственным материнским утешением. Боящийся раздражить супругу простак Простаков поражается уму своего малопривлекательного сына и признается, что не в силах поверить, будто такой забавник и затейник может быть его детищем. Митрофан же, отказавшись от услуг докторов, исчезает, бросив напоследок наполненную глубоким смыслом реплику: «Побегу-тка теперь на голубятню, так авось либо…»

В этой сцене не слишком многословным выглядит скотоподобный дворянин, посетивший Простаковых член этого благородного семейства — бывший гвардейский капрал, а ныне помещик и большой мастер выбивать из крепостных оброк — Тарас Скотинин. Чуть позже мы узнаем, что на брак с Софьей, дальней родственницей господина Простакова, после смерти матери взятой в его «деревеньку» и фактически лишенной своего «имения», над которым Простаковы «надзирают как над своим», Скотинин согласился не из-за любви к добродетельной девушке и даже не из-за ее небогатых деревенек, а исключительно благодаря свиньям, в этих деревеньках содержащимся. Свиньи же «в здешнем околотке» такие крупные, что встав на задние ноги, окажутся выше «каждого из нас» (то ли родственников Скотинина, то ли местных дворян) на целую голову. Митрофан, по признанию умиленного Простакова, сызмальства испытывал склонность к «свинкам» и при их виде начинал дрожать от радости. Вероятно, развивает мысль счастливый отец, племянник пошел в дядю. «Тут есть какое-то сходство», — соглашается дядя, но откуда же такая страсть к свиньям у него, Тараса Скотинина? Вероятно, «и тут

есть же какое-нибудь сходство», — отвечает неожиданно попавший в самую точку обычно очень недогадливый Простаков. Смысл брошенной им реплики Простаков не понимает, но понимает Фонвизин, а вслед за ним и весь зрительный зал. Действие толком еще не началось, а искрометных шуток уже хватило бы на целую комедию: Фонвизин вывел на сцену «зверское» семейство и высмеивает его без всякой жалости.

Примитивные и лишенные элементарного представления о нормах человеческих взаимоотношений, они, и в первую очередь их «вожак» Простакова, бранятся хуже героев «Бригадира», от грубого пренебрежения мгновенно переходят к низкому заискиванию, двигаясь к поставленной цели, не брезгуют самыми презренными средствами и в жестокости видят главное достоинство помещика. «Все сама управляюсь, батюшка, — жалуется Простакова нисколько ей не сочувствующему честному чиновнику Правдину, — с утра до вечера как за язык повешена, рук не покладаю: то бранюсь, то дерусь. Тем и дом держится, мой батюшка». Изысканные манеры появившегося в конце первого действия Правдина сильно отличают его от грубых и темпераментных собеседников, на его фоне выглядящих еще безобразнее. С Простаковой Правдин вежлив, со Скотининым холоден, хозяина дома и его сына он не удостаивает даже взглядом и не просто отказывается нарушать принятые в обществе приличия, но и объясняет, в чем эти приличия состоят — «я никогда не читаю писем без позволения тех, к кому они писаны», — отвечает он на предложение Простаковой прочитать вслух письмо Стародума, адресованное его племяннице Софье. Среди всех выведенных на сцену персонажей грамоте обучены лишь Софья и Правдин, Простакова и все ее присные читать не умеют и в безграмотности видят едва ли не высшую добродетель, уходящую вместе с прекрасной стариной. «Вот до чего дожили! К девушкам письма пишут! Девушки грамоте умеют», — возмущается Простакова и в своем негодовании уподобляется «старым московским кумушкам», высмеянным императрицей Екатериной в ее комедии «О, время».

Презирающая учение и старающаяся дать сыну образование лишь потому что «ныне век другой», Простакова выглядит полной противоположностью знакомых Фонвизину лейпцигских ученых педантов: если те, изучая высокие науки, «не смыслят ничего, что делается на земле», то русская дворянка изо всех сил старается связать науку с известной ей жизнью и, не найдя искомой связи, «бесполезные» науки отвергает. Прекрасный психолог, но никудышный математик Митрофан оказывается не в состоянии решить задачку, по условию которой он и его спутники,

домашние учителя Цифиркин и Кутейкин, должны поровну разделить найденные на дороге 300 рублей. «Врет он, друг мой сердечный! Нашед деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка», — предлагает свое решение практичная Простакова и тут же объявляет математику «дурацкой наукой». Узнав же от Стародума о назначении неизвестной ни ей, ни Митрофанушке «еоргафии», дикая помещица отзывается о ней как о науке «не дворянской». По мнению Простаковой, математика не нужна, потому что если «денег нет, что считать? Деньги есть — сочтем и без Пафнутьича хорошенько», а география не имеет смысла, потому что отправляющемуся в путь дворянину достаточно сказать: «Свези меня туда, — свезут куда изволишь».

Правда, смешные ответы невежественной Простаковой являются результатом вольной или невольной, но «провокации» со стороны ее собеседников. Ведь в каждой математической задачке Цифиркина непременно фигурируют деньги, и у плохо знакомой с предметом Простаковой не могло не сложиться впечатление, что математика — это наука о денежных расчетах; из разъяснений же Стародума, что география необходима «на случай» «ежели б случилось ехать, так знаешь куда едешь», Простакова поняла лишь, что география — наука о передвижении на извозчике. Глупейший ответ бесконечно невежественной хозяйки дома вызывает само упоминание просвещенными гостями науки истории. «То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник», — говорит Простакова, искренне полагая, что речь здесь идет об историях скотницы Хавроньи, и все члены семейства Простаковых-Скотининых столь же искренне разделяют это ее убеждение. Видно, что к этой «науке» госпожа Простакова относится весьма снисходительно. Митрофан же свое оригинальное представление о науках создает без всякой посторонней помощи: на совсем не наводящие вопросы Правдина о грамматике отвечает, что дверь, «приложенная к своему месту», будет «прилагательна», а дверь, не навешенная, «так та покамест существительна».

В самом начале второго действия Правдин получает достойного собеседника и союзника в борьбе с поместными «животными» — молодого офицера Милона, влюбленного в Софью и потерявшего ее из виду, ведущего в Москву военную команду и случайно оказавшегося в имении, где безраздельно господствует Простакова и томится его возлюбленная. Каждый из положительных героев рассказывает свою историю: Милон раскрывает приятелю «тайну сердца», а Правдин извещает его о своем намерении остановить творящееся в имении Простаковых беззаконие. Будучи членом здешнего наместничества, он по

поручению своего начальства объезжает окрестные имения и «из собственного подвига сердца» примечает всех «злонравных невежд, которые имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно». Выясняется, что наместник этого края со всем возможным «усердием исполняет» «человеколюбивые виды высшей власти» и полностью соответствует идеалу, описанному в «Учреждении для управления губерний» 1775 года: «Государев Наместник не есть Судья, но оберегатель Императорского Величества изданного узаконения, ходатай на пользу общую и Государеву, заступник утесненных и побудитель безгласных дел», призванный «пресекать всякого рода злоупотребления», в числе которых — «тиранство и жестокость».

В новосозданный кружок добродетельных персонажей вступает возлюбленная Милона Софья, и в ожидании прибытия своего идейного руководителя мудрого Стародума молодые люди беспощадно насмехаются над почтительными хозяевами. В самом деле, Простакова искренне признательна Милону за то, что его расположившиеся на постой солдаты не допустили никакой «наглости», просит простить за нерасторопного мужа, не сумевшего «угостить» благодетеля, и называет молодого офицера «мой батюшка». «Батюшка, друг мой сердечный» — обращается к Правдину явно расположенный к нему Скотинин. Добродетельные же герои, стремясь разрушить матримониальные планы Простаковой, а попутно продемонстрировать зрительному залу зверскую натуру здешних помещиков, вносят в благородное семейство раскол, целенаправленно ссорят дядю с племянником, а брата с сестрой. Не обращая внимания на не слишком любезное предложение Правдина следовать своей дорогой, случайно «подкравшийся» к разговаривающим приятелям Скотинин рассказывает ему о загадочно изменившихся планах Простаковой и о своих «свинских» проектах. В свою очередь, Правдин объясняет Скотинину истинные намерения Простаковой и доводит его до исступления, назвав имя соперника и разъяснив вконец запутавшемуся жениху, что им «играют, как мячиком». Провокация удается на славу, и после вызвавшего восхищение молодых героев «изрядного объяснения» дяди с племянником (Скотинин и Митрофан довольно продолжительное время смотрят друг на друга, не шевелясь и «выпуча глаза») Скотинин бросается на юного соперника с кулаками. «Господин Скотинин! Рукам воли не давай», — кричит Правдин, истинный организатор этой безобразной сцены. Начатая по милости честного чиновника ссора дяди с племянником имеет бурное продолжение, и в скором времени уже добродетельному Милону приходится удерживать расходившуюся и пытающуюся добраться до братцевой «рожи»

разъяренную Простакову. «У меня материно сердце. Слыхано ли, чтоб сука щенят своих выдавала?» — объясняет она свое откровенно звериное, на взгляд цивилизованных зрителей этой дикой сцены, поведение.

О приверженности же молодых членов кружка Стародума добродетели говорят сами их имена: мудрая Софья, правдолюбивый Правдин, милый Милон. Хотя имя последнего на его безусловное добронравие все-таки не указывает; больше того, в одной из эпиграмм Сумарокова, напечатанных им еще в 1756 году, Милоном назван обманутый муж, заставший жену на месте преступления и услышавший «рассудительный» совет: «Будь господин страстей и овладей собою; / Я телом только с ним, душа моя с тобою». Семейное счастье фонвизинского Милона также будет непостоянным. Впоследствии, в задуманном Фонвизиным продолжении «Недоросля», неверным супругом окажется сам Милон, но сейчас он персонаж сугубо положительный и достойный всяческих похвал.

Узнав в Москве о печальной судьбе племянницы и поспешив ей на выручку, Стародум с трудом сдерживает желание обрушиться на мучителей Софьи. Увидев же, с какими людьми предстоит ему иметь дело, он не может удержаться от смеха. «Я боялся рассердиться. Теперь смех меня берет», — признается Стародум, став свидетелем драки брата с сестрой. «Ба! Да ты весельчак», — изумляется Скотинин переменам, произошедшим с «почтенным старичком», по словам Простаковой, человеком несколько угрюмым. Как и Правдин, Стародум полагает, что истинному дворянину невозможно «осердиться» на Скотинина, всей душой любящего свиней и признающего их над собой превосходство, утверждающего, что его пращур создан немногим ранее первого человека Адама, а потому был не человеком, а скотом, со всей животной непосредственностью предлагающим «дворяночке» «Софьюшке» руку и сердце и не видящим сколько-нибудь веских причин для отказа. Примечательно, что перед разговором со Скотининым Стародум, уже имеющий представление о добродетелях Милона и рассматривающий его в качестве возможного Софьиного жениха, выслушивает рассуждения этого «честного и достойного человека» и своим выбором остается доволен. По сравнению с Милоном, которого Скотинин откровенно презирает, он, существо, принадлежащее к одному «помету» с Простаковой и «настоящий Скотинин», выглядит еще комичнее.

Кажется, добродетельный Стародум имеет много общего с отцом Фонвизина, каким он представлен в «Чистосердечном признании»: то же презрение к пороку, та же несложившаяся

карьера, тот же праведный образ жизни и стремление во всех поступках руководствоваться велениями совести и правилами чести, тот же недостаток образования, с избытком возмещенный здравым рассудком и жизненным опытом, та же вспыльчивость — примета людей честных и не способных мириться с несправедливостью, та же склонность к изложению моральных максим и преподаванию детям своим правил добродетельной жизни. С появлением на сцене Стародума забавные саморазоблачения отрицательных и язвительные шутки положительных героев начинают перемежаться широковещательными рассуждениями престарелого резонера, которые, по свидетельству Николая Михайловича Карамзина, вполне соответствовали вкусам публики того времени и были с восторгом ею приняты: «…сцены комические возбуждали в зрителях мимолетный смех, а серьезные обращали на себя внимание публики, которая в то время любила разглагольствования на сцене, особенно если они были наполнены колкими замечаниями на светские обычаи и слабости того времени». Отметим попутно, что некоторые соображения Стародума находят соответствия в поэтическом творчестве самого Карамзина, и не только его. Например, «друг честных людей» Стародум объясняет своей благодарной ученице Софье, что идеальная жена (каковой и предстоит стать его племяннице) должна испытывать к мужу дружбу, похожую на любовь, а не любовь, похожую на дружбу, и что лишь в этом случае через много лет супружества им удастся сохранить в своих сердцах «прежнюю друг к другу привязанность». Как и его старший коллега, Карамзин рассматривает эти чувства в их взаимосвязи и в стихотворении «Любовь и дружба» приходит к выводу, что

Любовь тогда лишь нам полезна,
Как с милой дружбою сходна,
А дружба лишь тогда любезна,
Когда с любовию равна.

В отличие от Фонвизина, Карамзин не задумывается о семейно-бытовой стороне вопроса и в этой связи не отдает предпочтение ни одному из невозможных «в чистом виде» и дополняющих друг друга «святых чувств». При этом, рассуждая о сходстве любви и дружбы, оба русских автора и не пытаются исследовать их в отдельности, в «беспримесном состоянии». Эту задачу решает современник Карамзина, один из наиболее колоритных представителей северного сентиментализма, чье влияние на русскую поэзию существенно и до конца не оценено,

датчанин Йенс Баггесен (1764–1826). В своем известном стихотворении «Дружба и любовь» он не только сопоставляет эти «небесные дары», но и размышляет о их индивидуальной специфике: если дружба — совершеннейшее из чувств, земных и понятных человеческому рассудку, то любовь, чувство небесное, в привычную рациональную систему не укладывается и для разума непостижима.

…O Venskab! Din Skate er mig meer,
End al Jorderigs glimrende Glæder;
Med dig i min Lykke jeg leer,
Og med dig i min Kummer jeg græder…

(…О Дружба! Твое сокровище для меня ценнее, / Чем все великолепные радости Земли; / С тобой я смеюсь в счастье / И с тобой я плачу в горе…)

O Elskov! Du fylder mit Bryst
Med de hoiere Himmelens Glæder.
Med dig er min Smerte mig Lyst,
Og med dig i min Vellyst jeg græder…

(…О Любовь! Ты наполняешь мою грудь / Высшими радостями Неба, / С тобой мое страдание становится моим наслаждением, / И с тобой я плачу в моем блаженстве…) — пишет датский знакомый «русского путешественника», ровесник Карамзина и младший современник Фонвизина Баггесен.

Фонвизин же, как следует из одного из его первых петербургских писем сестре, имел чувствительное и нуждающееся в любви или дружбе сердце, однако добросердечный герой его комедии от подобных рассуждений воздерживается и, касаясь темы *amitié amoureuse,* предпочитает не углубляться в детали. Знаменитого русского комедиографа интересуют несколько иные, нежели сентиментального поэта, проблемы: воспитание и образование молодого дворянина, долг благородного сословия перед отечеством и его прописанные специальным указом вольности, правильная организация семьи и женские добродетели, «истинная слава» государя и разумное социальное устройство, искоренение варварства, беззакония и несправедливости.

Исследователи творчества Фонвизина отмечали, что хорошо знакомый с обстоятельствами жизни автора «Недоросля» Стародум сообщает зрителям обо всех нанесенных его «творцу»

обидах и виденных им несправедливостях: медленном продвижении по службе честного и стремительном возвышении случайного человека, преимуществах детей знатных и богатых вельмож перед отпрысками бедных и честных родителей, отталкивающем любого добропорядочного человека придворном укладе. Некоторые же критические соображения, изложенные Стародумом, по всей видимости, формировались во время зарубежного вояжа Фонвизина и имели отношение не только к российской жизни. Заявления «друга честных людей», будто бы без души «просвещеннейшая умница жалкая тварь» и что «с великим просвещением можно быть великому скареду», повторяют фонвизинскую оценку французских философов, про которых, как замечено в последнем парижском письме Фонвизина Петру Панину, «можно по справедливости сказать, что весьма мало из них соединили свои знания с поведением». Несомненно, посмотревший Европу и хорошо знакомый с отечественными реалиями секретарь Никиты Панина, статский советник и витебский помещик Денис Иванович Фонвизин в своей комедии затрагивает проблемы, известные ему не понаслышке.

На своем веку без малого сорокалетний Фонвизин видел «людей почтенных» и «людей случайных», бедняков, имеющих душу и сердце, и «молодцев в золотых кафтанах да с свинцовой головой», неоднократно наблюдал творящееся вокруг «неправосудие», имел случай познакомиться с самыми разными «корыстолюбцами», «себялюбцами» и невежественными «старинными людьми». Устами мудрого и добродетельного Стародума он призывает почитать в людях достоинства души и сердца, презирать чины и бежать от соблазнов придворной жизни. И все-таки позиция автора самой известной русской комедии XVIII века до конца не ясна и уже несколько столетий вызывает непрекращающиеся споры. Не случайно исследователи творчества Фонвизина, предлагая собственную интерпретацию идейного содержания «Недоросля», сопровождают свои рассуждения ссылками на труды авторов, высказывавших диаметрально противоположную точку зрения («другого мнения придерживается, прежде всего, Гуковский», «другую интерпретацию см.» в книге Ч. Мозера «Denis Fonvizin» — говорится в одном из разделов книги И. Клейна «Пути культурного импорта: Труды по русской литературе XVIII века»), или предваряют их кратким пересказом работ предшественников и оппонентов (Луи Леже видит в комедии Фонвизина «безжалостную сатиру на невежество…», «дидактический аспект фонвизинского театра подчеркивает также Ф. де Лабриоль», «Макогоненко делает акцент на „пагубных последствиях рабства

для России“», но «на самом деле Фонвизина в „Недоросле“ волнует всего один вопрос: роль русского дворянства в судьбах нации», — завершает свой обзор автор первой французской биографии «Денис Фонвизин: Россия эпохи Просвещения» А. Стричек).

Было бы естественным, если ближайший помощник главного екатерининского фрондера Никиты Панина, человек, имеющий с ним, по замечанию Клостермана, «одно сердце и одну душу», начнет перечислять пороки нынешнего царствования. И действительно, из «Недоросля» отечественный читатель мог узнать, что лишь в Сибири возможно «достать деньги, не променивая их на совесть», что «исцелить» безнадежно больной императорский двор нет никакой надежды, что высочайшие указы приобретают смысл лишь в том случае, если их исполнение поручено честным и неподкупным Правдиным, а не многочисленным ворам и взяточникам, и что при сравнении эпох Петра I и Екатерины II идеальное время Петра Великого выглядит предпочтительнее. Если, по словам Стародума, «в тогдашнем веке придворные были воины, да воины не были придворные», то теперь, по собственному наблюдению юной Софьи, люди «завидуют тому, кто у двора ищет и значит»; тогда «всякий не считал себя за многих, зато нонче многие не стоют одного», — сравнивает две эпохи ее разумный и многое повидавший дядюшка. Но можно ли с уверенностью утверждать, что в своей комедии Фонвизин противопоставляет горячо любимое им петровское время только лишь «веку нынешнему», а «век нынешний» — не какому-либо другому «веку минувшему», каковых между временами Екатерины II и Петра I было множество?

Из текста комедии следует, что с несправедливостью Стародум впервые столкнулся тогда, когда по велению долга отправился на войну, а его приятель, молодой граф, «сын случайного отца», остался дома и, в отличие от исполнившего свой долг и страдающего от ран героя, был «неправосудно» «произведен чином». Перед зрителями Стародум предстает почтенным шестидесятилетним старцем, и, стало быть, в его поучительном рассказе речь идет о войне, которую Россия вела до вступления на престол Екатерины II. Можно предположить, что вскоре после «восшествия в военную службу» пылкий юноша отправился на русско-шведскую войну 1741–1743 годов (для участия в Русско-турецкой войне 1735–1739 годов Стародум кажется слишком молодым, подсчеты крайне ненадежны, но к моменту ее начала ему должно было исполниться не более пятнадцати лет, в то время как про бессовестного графа Стародум

говорит, что тот «был по службе меня моложе», — для участия же в Семилетней войне, пожалуй, слишком взрослым, явно далеко за 30), и в таком случае его придворная карьера началась и сразу же завершилась в эпоху правления Елизаветы Петровны. Хотя трудно сказать, углублялся ли Фонвизин в подобные расчеты, связывал ли факты биографии своего героя с конкретными событиями русской истории? Если «приятный» рассказ Бригадира, начавшего военную службу существенно раньше Стародума, о том, «как мы турков наповал положили, как я не жалел басурманской крови», позволяет судить о его боевой биографии и посвящен событиям той самой Русско-турецкой войны 1735–1739 годов, то Стародум не называет ни имен полководцев, ни дат или мест сражений, в которых он принимал участие. Можно предположить, что в «Недоросле» Фонвизин имеет в виду не конкретную, а самую общую ситуацию, любую войну после Северной и любой русский двор после Петра.

Простакова же хвалит время, когда ее отец, «старинный» человек, мыслящий категориями допетровской Руси, угрожал родительским проклятием тому из детей, «который что-нибудь переймет у басурманов», и прямо противопоставляет свой век веку нынешнему. Между тем «бабушка» Простакова, судя по всему, не старше автора комедии «Недоросль» и, следовательно, ее молодость приходится на эпоху правления все той же императрицы Елизаветы Петровны. Примерно таким же образом злобные «старушки» из комедии Екатерины «О, время» сравнивают современность с любезным их сердцу послепетровским временем и тоскуют о его окончании.

Фонвизин, использовавший в качестве одного из источников своей пьесы творение Екатерины, в «Недоросле» заявляет о себе как об усердном помощнике императрицы. Высмеивая, по образцу венценосной писательницы, косных «уродов», невозможных в «благоучрежденном государстве», Фонвизин время от времени открыто прославляет великую Екатерину. «Достойный престола государь стремится возвысить души своих подданных. Мы это видим своими глазами», — объявляет Стародум восхищенному его речами Правдину. Правдин же, честно исполняющий должность в наместничестве, на деле показывает, что в этой империи «злонравным невеждам» и скотоподобным тиранам места нет, и берет «дом и деревни» проявившего «крайнее слабомыслие» мужа «презлой фурии» Простаковой под государственную опеку. Благодаря человеколюбивым устремлениям нынешнего правительства «в деревне Простаковых» справедливость торжествует, порок получает надлежащий отпор, а добродетель — заслуженную награду. Четверка отрицательных

персонажей комедии потерпела сокрушительное поражение: всесильная некогда Простакова теряет власть и отвернувшегося от нее сына, испуганный Скотинин спасается бегством, «дурак безсчетный» Простаков остолбенел и не подает признаков жизни, а равнодушный ко всему, но не потерянный для отечества Митрофан отправляется служить (правда, неизвестно по какой линии, гражданской или военной).

После короткой и яростной схватки, в которой участвовали все положительные герои комедии, к покорности были приведены члены шайки, связанные между собой родственными узами. И действительно, все отрицательные персонажи комедии чувствуют себя единой семьей: «Ну, сестра, хорошу было шутку… Ба! Что это! Все наши на коленях!» — говорит Скотинин, став свидетелем разгрома заговора Простаковой. Но принадлежность к одной фамилии не уберегает их, однако, от постоянных внутренних раздоров, ожесточенных перебранок, едва не переходящих в драки. И не только персонажей «Недоросля»: точно так же Бригадир, неоднократно порывавшийся поколотить и сына Иванушку, и несчастную Бригадиршу, покидает дом Советника со словами: «Вон, все мои!»

Добродетельные же герои испытывают к поверженному неприятелю брезгливость, а то и жалость. «И преступление, и раскаяние в ней презрения достойны», — замечает Милон, увидев умоляющую о пощаде хозяйку дома; «Сударыня, — обращается великодушный Стародум к тоскующей Простаковой, — ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно». Добросердечные Стародум и Софья не желают погибели своему врагу и готовы проявить милосердие. Дарованное ей прощение Простакова с радостью принимает и тотчас же представляет неоспоримые доказательства своей неисправимости. Героям-победителям приходится признать, что суровое наказание Простаковой — мера, спасительная для общества, и всячески приветствовать совершающееся правосудие. Но и сейчас эти милосердные господа жалеют обессиленную Простакову и первые приходят на помощь оставленной всеми и лишившейся чувств «фурии». В прекрасно устроенном государстве, где имеющие душу и сердце дворяне честно исполняют свой общественный долг, где жены питают к своим разумным мужьям «сердечную дружбу», где крестьяне помнят об обязанности повиновения и усердно работают на своих господ, добродетельные герои не могут не быть счастливыми: теперь ничто не препятствует браку Софьи и Милона, в Москву их сопровождает убежденный в справедливости своих принципов Стародум, а Правдин с чувством честно выполненного долга остается распоряжаться на месте, очищенном

от злонравных чудовищ. Кажется, Фонвизин описывает не только петровскую, но и екатерининскую идиллию и противопоставляет ее совсем другим эпохам.

Насколько идейные установки комедии Фонвизина пришлись по вкусу Екатерине II, можно было бы определить по сценической истории «Недоросля». Однако узнать отношение императрицы к творению своего соперника и собрата по перу лишь на этом основании оказывается не так просто: хлопоча о постановке пьесы в старой и новой столицах, Фонвизин сталкивается с некоторыми сложностями, но о сознательном противодействии инсценировке «Недоросля» со стороны двора не известно ничего. Больше того, в первой половине 1780-х годов Екатерина категорически отказывается препятствовать постановкам или публикациям весьма «сомнительных» сочинений. Например, представленная в Москве в феврале 1785 года антитиранческая трагедия Николая Петровича Николева «Сорена и Замир» оппозиционерами старой столицы была принята с восторгом; по некоторым свидетельствам, присутствовавший на спектакле «персональный оскорбитель» императрицы Петр Панин не мог сдержать чувств и плакал вместе с прочими «смотрителями». Узнав о случившемся, главнокомандующий Москвы Яков Александрович Брюс поспешил принять срочные меры: своей властью исключил крамольную пьесу из репертуара театра и просил императрицу о полном ее запрещении. У Екатерины предложение Брюса поддержки не нашло, и в своем ответе она просит неистового генерал-аншефа отказаться от неоправданно суровых мер. «Удивляюсь, граф Яков Александрович, что вы остановили представление трагедии, как видно, принятой с удовольствием всею публикой. Смысл таких стихов, которые вы заметили, никакого не имеет отношения к вашей государыне. Автор восстает против самовластия тиранов, а Екатерину вы называете матерью», — замечает просвещенная и весьма либеральная монархиня. С другой стороны, очевидно, что появление новой комедии нелюбимого ею Фонвизина Екатерина не приветствовала, отсутствовала на первых спектаклях и познакомилась с сокращенным, лишенным некоторых нравоучительных рассуждений Стародума и, судя по всему, сильно огорчившим ее вариантом «Недоросля» лишь 1 сентября 1787 года. Эта постановка была приурочена ко дню именин двоюродного брата драматурга и фаворита императрицы Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова; после спектакля императрица планировала наградить виновника торжества орденом, но посмотрев пьесу, расстроилась настолько, что от своего первоначального намерения отказалась и даже объявила своему любимцу недельный бойкот.

В обеих столицах Фонвизин добивается скорейшей постановки своего главного литературного сочинения и энергично преодолевает возникшие препятствия. Изначально предполагалось, что премьера спектакля пройдет на сцене придворного театра в мае 1782 года, сразу после завершения работы над комедией, однако подготовка затянулась, и впервые «Недоросль» был представлен публике лишь 24 сентября 1782 года в театре Книппера в Петербурге. В спектакле были задействованы самые талантливые и известные столичные артисты: Иван Афанасьевич Дмитревский в роли Стародума, Яков Данилович Шумский в роли Еремеевны, выпускник Московского университета, актер, журналист и драматург Петр Алексеевич Плавильщиков в роли Правдина, и во многом благодаря их превосходной игре комедия имела грандиозный успех. Получившие «несравненное удовольствие» зрители устроили актерам овацию и бросали на сцену совсем не пустые кошельки.

О причинах майской неудачи, реакции петербургской публики на это происшествие, действиях Фонвизина в конце весны 1782 года и об отношении к творчеству гениального русского «комика» просвещенных столичных зрителей француз Пикар, гувернер двоюродного племянника братьев Паниных, аристократа, воспитывавшегося вместе с наследником Павлом Петровичем, и хорошего знакомого Фонвизина князя Александра Борисовича Куракина, писал своему пребывающему за границей ученику в конце мая 1782 года: «Мы не увидим здесь новую комедию г-на Фонвизина под названием „Недоросль“, на что мы прежде надеялись, потому что актеры не знают своих ролей и не в состоянии сыграть ее в назначенное время. Автор уезжает через несколько дней в Москву и, говорят, поставит свою комедию на московском театре. При настоящем недостатке в удовольствиях и театрах это действительно лишение для публики, которая уже давно отдает должную справедливость превосходному таланту г-на Фонвизина; несколько просвещенных особ, прослушавшие чтение этой комедии, уверяют, что это лучшая из русских театральных пиес в комическом роде; действие ведено умно и искусно, и развязка весьма удачная. Г-н Фонвизин особенно отличается своим слогом и обладает как богатым воображением, так и большим знанием сердца и природы, и картины его всегда разнообразны, живы и поучительны».

В Москве, куда, как и говорил Пикар, Фонвизин отправляется после первой петербургской неудачи, драматургу предстояло сломить упорное сопротивление театрального цензора — профессора Московского университета, одного из преподавателей Плавильщикова и бывшего соученика самого Фонвизина по

университетской гимназии — Харитона Андреевича Чеботарева. Сопротивление же это оказывается настолько упорным, что раздосадованному Фонвизину не остается ничего иного, как признать свое поражение и вернуться в новую столицу. Однако от намерения представить свою новую комедию москвичам Фонвизин не отказывается и лишь ждет своего часа. В составленном в сентябре 1782 года письме «содержателю театра в Москве» «любезному Медоксу» Фонвизин доводит до сведения антрепренера, что в Петербурге «Недоросль» был поставлен силами «придворных актеров ея Императорского Величества» «по письменному дозволению от правительства», и предлагает «уверить господина цензора, что во всей моей пьесе, а, следовательно, и в местах, которые его так напугали, не изменено ни одного слова». Узнав, что автор столь не понравившейся ему пьесы нашел поддержку у правительства, Чеботарев сдается и постановку «Недоросля» разрешает: московская премьера знаменитой комедии Фонвизина состоялась 14 мая 1783 года, более чем через полгода после петербургского триумфа. Как и в Петербурге, в Москве «Недоросль» был принят с восторгом, хотя и не всеми. 28 мая 1783 года новоявленный москвич князь Д. П. Горчаков пишет письмо Д. И. Хвостову, в котором, между прочим, отмечает:

«Теперь должен я тебе, любезный друг, объявить о здешних новостях.

Из ваших петербургских стран
Приехал к нам Денис-тиран,
Однако же не сиракузский,
А чисто наш мучитель русский.

Он здесь многое бранит, его многие не слушают; и так, все разошлися по своим. Здесь был игран „Недоросль“ и принят, как должно недорослю. Может быть, оттого, что здесь народ простой и всякую вещь принимает по ее имени, не в состоянии будучи догадаться, что она хороша».

«Представлению» комедии на сцене предшествовало ее авторское чтение в кругу друзей, в «частных обществах» Петербурга и Москвы. Один из таких «сеансов» проходил в доме московского почт-директора Бориса Владимировича Пестеля (которого Фонвизин и Дмитревский посетили во время пребывания в Москве) и был описан его сыном Иваном Борисовичем Пестелем, отцом декабриста Павла Ивановича Пестеля: «Большое общество съехалось к обеду; любопытство гостей было так велико, что хозяин упросил автора, который сам

был прекрасный актер, прочитать хоть одну сцену безотлагательно; он исполнил общее желание, но когда остановился после объяснения Простаковой с портным Тришкой об укороченном кафтане Митрофана, присутствовавшие так были заинтересованы, что просили продолжить чтение; несколько раз приносили и уносили кушанья со стола, и не прежде сели за стол, как комедия была прочитана до конца, а после обеда Дмитревской, по общему требованию, должен был опять читать ее сначала». Как следует из того же письма Фонвизина Медоксу, для драматурга чрезвычайно важно, чтобы до поры имя автора комедии оставалось неизвестным, и просит английского корреспондента «сохранить» его «аноним». За десять лет, которые разделяют две комедии Фонвизина, его характер сильно изменился: если начинающий и нуждающийся в поддержке сильных мира сего комедиограф был готов читать своего «Бригадира» хоть каждый день и в любом обществе, то став маститым литератором без малого сорокалетний автор «давать публичности» своему «Недорослю» уже не торопится, читает его лишь избранным и с нетерпением ждет постановки на столичной сцене.

Конец служебной карьеры

В 1782 году Фонвизин пишет очередное сочинение на тему государственного строительства и идеального правления — «Рассуждение о непременных государственных законах», где его пропанинское отношение к существующему положению дел в стране выражено более чем ясно. В этот раз переводчик «Слова похвального Марку Аврелию» и «Та-Гио» не намеревается знакомить со своим трудом ни императрицу, ни широкую публику и высказывается в высшей степени откровенно: «Теперь представим себе… государство, дающее чужим землям царей и которого собственный престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буян, охраняющих безопасность царской особы… государство, движимое вседневными и часто друг другу противоречащими указами, но не имеющее никакого твердого законоположения… государство… где знатность, сия единственная цель благородныя души, сие достойное возмездие заслуг, от рода в род оказываемых отечеству, затмевается фавером, поглотившим всю пищу истиннаго любочестия», где всякий «чин», всякий «знак почести», всякое «место государственное» «изгажено скаредным прикосновением пристрастного покровительства».

О зле фаворитизма автор говорит много и горячо, в нем

видит основной и требующий немедленного искоренения государственный порок: «…тут подданные порабощены Государю, а Государь обыкновенно своему недостойному любимцу. Я назвал его недостойным, потому что название любимца не приписывается никогда достойному мужу, оказавшему отечеству истинные заслуги, и принадлежит обыкновенно человеку, достигшему высоких степеней по удачной своей хитрости нравиться Государю»; «…в таком развращенном положении злоупотребление самовластия восходит до невероятности и уже престает всякое различие между Государственным и Государевым, между Государевым и Любимцовым. Собственность и безопасность каждого колеблется, души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен. Пороки Любимца не только входят в обычай, но бывают почти единым средством к возвышению. Если дух его объят буйством, и дурное воспитание приучило его к подлому образу поведения, то во время его знати поведение благородное бывает уже довольно к заграждению пути к щастию».

Картина, нарисованная разгневанным Фонвизиным, выглядит беспросветно мрачной и не имеет ничего общего с восторженными описаниями царствования Екатерины Великой и деяний ее героев. В государстве, где самовлюбленный и корыстный фаворит наделен неограниченной властью, царствуют произвол и беззаконие, общепринятые представления о справедливости, порядке и нравственности разрушаются, и страна стремительно погружается в хаос: «Посвятя жизнь свою военной службе, лестно ли дослужиться до полководца, когда вчерашний капрал, неизвестно кто и сказать стыдно за что, становится сегодня полководцем и принимает начальство над заслуженным и ранами покрытым офицером? Лестно ли быть судьею, когда правосудным быть не позволяется? Тут алчное корыстолюбие довершает общее развращение. Головы занимаются одним промышлением средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет».

Уже в который раз Фонвизин объявляет читателю (в данном случае — наследнику престола Павлу Петровичу, призванному исправить все нынешние российские «несообразности и неустройства»), что государь — подобие могущественного и всеблагого Бога, что «верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных», что «все сияния престола есть пустой блеск, когда добродетель не сидит на нем вместе с государем», что главными достоинствами истинной власти являются ее правота и кротость, что идеальный правитель не дает «послабление пороку», но не бывает слишком суровым к

«слабостям людским», «исправляет», «утверждает» и своими трудами вызывает всеобщую любовь подданных. Государственную деятельность екатерининский преемник должен начать с принятия «фундаментальных» и «непреложных законов», призванных регулировать «взаимные добровольные обязательства всех» членов общества, «душой» которого является государь.

Несомненно, «Рассуждение» выдает истинное отношение автора «Недоросля» к «российской Минерве» и ее творению — новой Российской империи, стиль же трактата сближает его с «разговорами» Стародума: те же бесконечно длинные размышления, те же двучастные конструкции, состоящие из затейливых комбинаций одинаковых пар элементов: «…в тогдашнем веке *придворные* были *воины,* да *воины* не были *придворные»;* «Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб *всякий* считал себя за *многих.* Зато нонче *многие* не стоят *одного*»; «Не имей ты к мужу своему *любви,* которая на *дружбу* походила бы. Имей к нему *дружбу,* которая на *любовь* бы походила», — поучает своих собеседников Стародум. «Слаба *душа,* если не умеет управлять прихотливыми стремлениями *тела.* Несчастно *тело,* над коим властвует *душа* безрассудная», — вторит ему автор «Рассуждения». В «Недоросле» милосердный Стародум объясняет Простаковой, что, лишившись возможности творить зло, она почувствует большое облегчение. Эту же мысль Фонвизин проводит в «Рассуждении», но уже применительно к правосудному государю: «…для его же собственного блага должен он уклоняться от власти делать зло». Или: «…невозможность делать зло может ли быть досадна государю?» Размышляя о крайней уязвимости могущественной внешне Российской империи, Фонвизин, как и в «Недоросле», обращается к своей любимой «скотской» теме: вспоминая восстание Пугачева, он утверждает, что эту обширную державу «мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели».

Отметим попутно, что об иллюзорном могуществе России писали иностранцы-современники Фонвизина («Российская власть вознесла колоссальное тело, ростом подобное Риму, но лишенное римских мускулов», — отмечал в 1790 году, сразу после окончания русско-шведской войны густавианский стихотворец Е. Д. Эльф), а в эпоху, от Фонвизина далекую, в 1730-е годы, о скотоподобии русского мужика рассказывала своим единоземцам супруга английского посланника в России леди Рондо. Из ее записок следует, что российский «народ весьма учтив, но так угнетен бедностью, что едва виден в нем образ

человеческий». Однако если леди Рондо отмечает не вполне человеческий облик наделенных вполне человеческими достоинствами простолюдинов, то Фонвизин, по своему обыкновению, имеет в виду моральные качества своих современников, подлых и благородных, Емельяна Пугачева и Тараса Скотинина, по большому счету, в равной степени опасных для многострадального отечества. Некоторые фонвизинские игры со словами выглядят остроумными настолько, что могли бы стать украшением фонвизинской же комедии: почему монарха, «порабощенного одному или нескольким рабам своим», называют самодержцем? — задает вопрос чрезвычайно серьезный на этот раз автор «Рассуждения» и тут же отвечает: «Разве потому, что самого держат в кабале недостойные люди»; или разве не возмутительно, что в этой стране «никто не намерен заслуживать, всякой ищет выслуживать». Итак, человек Панина находит идеальную форму для провозглашения своих и «своего милостивого графа» идей и создает сочинение, призванное стать своеобразным введением к незаконченному политическому манифесту братьев Паниных.

О возможной судьбе этого трактата известно из записок племянника автора, героя войны 1812 года и декабриста Михаила Александровича Фонвизина (по мнению исследователей, не вполне достоверных, но важных и ценных). По его словам, «список с конституционного акта хранился у родного брата его редактора (Д. И. Фонвизина. — *М. Л.),* П. И. Фонвизина. Когда в первую французскую революцию известный масон и содержатель типографии Новиков и московские масонские ложи были подозреваемы в революционных замыслах, генерал-губернатор князь Прозоровский, преследуя масонов, считал сообщниками и единомышленниками их всех, служивших в то время в Московском университете, а П. И. Фонвизин был тогда его директором. Пред самым прибытием полиции для взятия его бумаг ему удалось истребить конституционный акт, который брат его ему вверил. Отец мой, случившийся в то время у него, успел спасти введение или Considérant». По словам Михаила Александровича, этот документ долгое время хранился у него, но был похищен неким книгопродавцем, а снятая заранее копия — конфискована во время следствия по делу декабристов.

Независимо от этого «Рассуждение» приобрело огромную популярность и после смерти Фонвизина ходило в многочисленных списках, правда, под самыми разными названиями: «Мысли покойного Дениса Ивановича Фонвизина о необходимой нужде в непременном законоположении для Российской Империи» или «О праве Государственном. Сочинение

покойного Дениса Ивановича Фон Визина». В то же время к моменту завершения работы над «Рассуждением» дела министра Никиты Ивановича Панина, не одно десятилетие руководившего внешней политикой империи, обстояли очень неважно.

Граф Панин, по мнению императрицы, неизменно препятствовавший осуществлению всех ее замыслов, вызывал крайнее неудовольствие Екатерины, и его положение при дворе становилось все более шатким. Начавшиеся в ноябре 1780 года переговоры с Австрией, союз с которой активно приветствовал Потемкин, знаменовали близкий конец выпестованной Паниным Северной системы и окончательный отказ от пропрусской ориентации российской внешней политики. Разочарованный министр, потерпевший поражение в схватке со светлейшим князем и в марте 1781 года лишенный расположения императрицы, в конце апреля 1781 года отправился в отпуск и по возвращении в столицу в сентябре того же года был окончательно отставлен от дел. Теперь его функции выполнял решительный сторонник «греческого проекта», будущий канцлер — Александр Андреевич Безбородко, но опальный министр продолжал борьбу. Как следует из депеши английского посланника Джеймса Харриса, датированной октябрем 1781 года, неожиданную поддержку Панин находит у не желавшего его окончательной погибели Потемкина и при участии верного Фонвизина поддерживает с ним тайные контакты.

Однако судьба Панина была решена: по настоянию императрицы в сентябре 1781 года великий князь с супругой отправляются в европейское путешествие, и уже в день отъезда графа Северного (под таким раздражившим шведского короля Густава III именем Павел Петрович осуществлял свой вояж) Екатерина, по словам того же Харриса, «явно выразила» своему бывшему сотруднику «презрение, что необыкновенно смутило спокойную и неподвижную физиономию Панина». Если в начале 1770-х годов Панину, к восторгу его секретаря Фонвизина, удалось выстоять, то поражение, которое могущественный некогда вельможа потерпел в начале 1780-х годов, стало для него роковым. От пережитых треволнений здоровье бывшего президента Коллегии иностранных дел и воспитателя наследника престола пошатнулось, и 31 марта 1783 года он умер от апоплексического удара.

Вернувшийся из заграничного путешествия в ноябре 1782 года великий князь Павел Петрович посетил своего наставника дважды: сразу после прибытия в отечество и в день его смерти. Фонвизин же, находившийся вблизи своего патрона весь страшный год, продемонстрировал поистине рыцарскую

преданность «сюзерену»: опасаясь обыска в доме Панина, он спрятал все компрометирующие опального начальника бумаги. В письме будущему императору Павлу Петровичу брат покойного рассказывает, что «начатое им», Никитой Паниным, «Рассуждение о непременных государственных законах» «сохранилось от преследования в самой час смерти всех бумаг скончавшегося вернейшим к нему приверженцем Денисом Ивановичем фон Визином, к которому брат мой имел полную доверенность». Обыск в самом деле состоялся, и о нем Фонвизин, по своему обыкновению, ядовито и насмешливо рассказывает Петру Панину: «Граф Иван Андреевич (вице-канцлер Остерман. — *М. Л.)* усомнился, не находятся ли государственные дела в шкапе, принадлежащем к гардеробу, и требовал, чтобы оный отворили. Тут нашлись старые сапоги, и великая душа его успокоилась».

Фонвизин присутствовал при кончине своего «милостивого графа» и рассказал о ней в своем созданном сразу после трагедии «Житии графа Никиты Ивановича Панина»: «…здоровье его хотя было так слабо, что оно совокупно с его положением отвлекло его совсем от дел в последний год; но за несколько месяцев пред смертию приходил он в состояние, несравненно пред прежним лучшее. Накануне горестного сего происшествия был он здоровее и веселее обыкновенного; но поутру в четыре часа, ложась в постелю, вдруг лишился он языка и памяти поражением апоплексическим. Вся возможная помощь в присутствии Их Императорских Высочеств была тщетно подаваема. Чрез несколько часов скончался он в глазах возлюбленного питомца своего, для которого он жил и к которому привязанность его была нежнейшая и беспредельная».

Фонвизинское сочинение представляет собой попытку восхищенного свидетеля беспорочного «жития» Никиты Панина восстановить попранную справедливость и, как совершенно обоснованно полагает один из исследователей, внушить читателю почтение к одному из величайших и незаслуженно изгнанных героев последних царствований. Рассказывая о жизни прославленного и много претерпевшего вельможи, Фонвизин учитывает многочисленные, древние и новые, образцы: «сравнительные жизнеописания» Плутарха и сочинения современных авторов, созданные по их примеру, издававшиеся в России жизнеописания европейских полководцев, и, вне всякого сомнения, жития святых. Воспитанному в патриархальной московской семье Фонвизину сочинения этого жанра были хорошо знакомы и понятны; кажется, некоторые фрагменты панинского «некролога» так или иначе соотносятся с памятниками древнерусской агиографии. Если в житии

содержатся сведения о благочестивых и праведных родителях святого, то Фонвизин перечисляет достоинства и заслуги благородного отца братьев Паниных; если в житии историю «боголюбивого мужа» может рассказывать не названный по имени «самовидец», то в одной ненапечатанной при жизни Фонвизина рукописи жизнеописания упоминается некий приближенный к Панину человек, который «был неотлучно при своем благодетеле до последней минуты его жизни и, сохраняя к нему непоколебимую преданность и верность, удостоен был всегда полной его во всем доверенности», иначе говоря, сам Фонвизин.

Наконец, само название этого сочинения отсылает читателя к популярнейшему жанру литературы Древней Руси. Правда, по господствовавшему долгое время мнению, свой панегирик Фонвизин опубликовал и сочинил на французском языке, в качестве места издания указав Лондон и сохранив анонимность. Слово «житие» встречается в названии русского перевода, напечатанного в 1786 году в журнале «Зеркало света» и, как уверяет П. А. Вяземский, выполненного не имеющим представления о том, кто является автором этой французской брошюры, Иваном Ивановичем Дмитриевым, — «Сокращенное житие графа Никиты Ивановича Панина». Русский поэт и переводчик сразу уловил, к какому жанру относится переведенное им французское сочинение, и счел уместным обратить на это внимание читателей.

Если сведения хорошо осведомленного Вяземского верны, то, несмотря на очевидную связь этого произведения с древнерусской литературной традицией, сам автор выдает его за сочинение иностранца и, таким образом, вводит свой текст в ряд многочисленных европейских биографий знаменитых россиян: Петра Великого, Екатерины I, Елизаветы Петровны, Меншикова или фельдмаршала Миниха. По словам того же Вяземского, Фонвизин читал свой французский текст некоему приятелю, который, обнаружив «неверность в какой-то подробности», незамедлительно объявил об этом автору. Тот ошибку признал, но объяснил, что сделал ее сознательно, поскольку намеревался убедить отечественного читателя, будто бы автором «Жития графа Никиты Ивановича Панина» является не слишком информированный европейский поклонник великого гражданина России. Ведь, как следует из сочинения Фонвизина, «всеобщее сожаление сограждан и чужестранных ясно доказало, что кончина Графа Никиты Ивановича Панина есть потеря не токмо для России, но и для самого человечества». Выходит, Фонвизин создает панегирик, сильно напоминающий житие нового российского святого, и выдает себя за некоего иностранца.

Но можно ли с уверенностью утверждать, что Фонвизин выступает здесь в роли мистификатора? Действительно ли он намеревался похвалить великого Панина от лица его восторженного европейского поклонника? Существует точка зрения, согласно которой биографию графа Панина Фонвизин составил все-таки на русском языке, и именно этот вариант был напечатан в собрании сочинений писателя, изданном в 1830 году двоюродным братом Дмитриева Платоном Бекетовым. Племянник Панина и хороший знакомый Фонвизина Александр Борисович Куракин перевел этот текст на французский, а Дмитриев, не знакомый с фонвизинским оригиналом, — снова на русский. Если эта теория верна, нам остается признать, что Вяземский допустил ошибку, исходный «житийный» текст был русским, а французский — всего лишь его переводом. Правда, как бы ни складывалась история этого текста, принадлежность его первоначального, русского или французского, варианта перу Фонвизина сомнений не вызывала и не вызывает.

Под началом великого человека Никиты Ивановича Панина Фонвизин имел счастье служить более десяти лет и, лишившись «командира», с которым был «одним сердцем и одной душой», служить далее не мог и не хотел. Принимая свое решение, Фонвизин, возможно, руководствовался стародумовским принципом, в соответствии с которым дворянин имеет право «взять отставку» лишь в том случае, «когда он внутренно удостоверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит». Формально именно эта причина была названа основной, вынудившей Фонвизина пойти на столь решительный шаг. В датированном мартом 1782 года прошении на имя императрицы Фонвизин, между прочим, пишет: «Жестокая головная болезнь которою стражду я с самых детских лет, так возросла с моими летами, что составляет теперь нещастие жизни моей. Оно тем для меня тягостнее, что отьемлет у меня силы продолжать усерднейшую службу мою Вашему Императорскому Величеству. В сей крайности состояния моего принужденным нахожусь, припадая к освященным стопам Вашего Императорского Величества, всеподданнейше просить моего от службы увольнения». Просьба Фонвизина была милостиво удовлетворена, и в отставку он вышел в чине статского советника с ежегодным пенсионом в три тысячи рублей из доходов почтового ведомства (с которым Фонвизин был связан по службе и деятельности которого планировал посвятить отдельную работу под характерным названием «О почтах»). За полгода до петербургской премьеры «Недоросля» в сентябре 1782 года 37-летний Денис Иванович Фонвизин, счастливый в браке витебский

помещик, петербургский домовладелец, пенсионер и антиквар, не сделавший служебной карьеры, но приобретший славу талантливого драматурга, навсегда расстается с Коллегией иностранных дел и посвящает себя исключительно литературной деятельности. Вскоре находится и журнал, на страницах которого досужий автор получает возможность печатать свои самые разнообразные работы.

Глава четвертая
РОССИЙСКИЙ ПЕНСИОНЕР (1783–1785)

Сотрудник «Собеседника любителей российского слова»

С мая 1783 года в России начинает выходить концептуально новый, принципиально отличающийся от всех издававшихся на рубеже 1760–1770-х годов русских журналов «Собеседник любителей российского слова», содержащий «разные сочинения в стихах и прозе некоторых Российских писателей». Задуманный Екатериной Великой и переданный в формальное управление Екатерине Малой, княгине Дашковой, журнал, по наблюдению современной исследовательницы, был призван не высмеивать пороки, как предлагалось в первом екатерининском проекте — журнале «Всякая всячина», но, организуясь по принципу «сборной солянки», консолидировать все лучшие интеллектуальные и литературные силы России вокруг императорского двора и самой императрицы. В «Собеседнике» были напечатаны «Записки касательно российской истории» и «Были и небылицы» Екатерины II, многочисленные оды Державина, статьи и стихотворения Богдановича, Хераскова, Княжнина, Муравьева, Кострова и семь отнюдь не драматических сочинений знаменитого комедиографа Фонвизина. О его репутации остроумного и ядовитого сатирика говорит хотя бы напечатанная в 3-й части «Собеседника» анонимная эпиграмма «На некоторую зрительницу комедии „Бригадир“»:

Весьма веселую вчера играли Драму,
Хотя смеялись все, но я приметил Даму,
Котора смехом тем была раздражена;
В советнице себя увидела она.

Имя автора комедии неизвестный стихотворец не называет, но в этом, по всей видимости, нет необходимости: Фонвизина-драматурга знают все без исключения читатели нового журнала.

В 1-й, а также в 4-й и 10-й частях «Собеседника» Фонвизин публикует новую для себя работу — «Опыт российского сословника», краткий словарь русских синонимов (термин «сослово» Фонвизин вводит как аналог французского «synonyme»), а в 3-й части — «Примечание на критику,

напечатанную на 113 и 114 страницах II части „Собеседника“, касающуюся до „Опыта российского сословника“». Правда, как свидетельствует письмо Якову Булгакову из Монпелье от 25 января / 5 февраля 1778 года, за подобную работу он уже принимался, но без большого успеха. «A propos, — пишет он своему университетскому приятелю. — Я вижу, что и лексикон наш умирает при самом своем рождении. Повивальная бабка, то есть Даниловский (вероятно, другой университетский товарищ Фонвизина, переводчик с французского — Николай Иванович Даниловский. — *М. Л.),* плохо его принимает. Я считал его за половину, а он еще около первых литер шатается. Уведомьте меня искренно, не спала ли у него охота. Я купил уже и le Grand Vocabulaire. В мае он его верно получит; но если молодец ленится, то пожалуйста, по привозе le Grand Vocabulaire продайте скорее и деньги ко мне переведите, а я за здоровье Данилевского раздам их нищим, между которыми много будет за него богомольцев и из кавалеров Св. Людовика». Мы не знаем, о каком словаре идет здесь речь, «спала ли» у Данилевского «охота» заниматься этой работой и получил ли Фонвизин деньги для нищих кавалеров; известно лишь, что в конце 1770-х фонвизинский лексикон закончен не был. Что касается «свойств» русского языка, то они интересовали Фонвизина с детства, и о них он рассказывал во Франции на заседании общества «Свидание литераторов» в том же 1778 году.

«Французский след» просматривается и в «Опыте российского сословника»: по наблюдению исследователей, в основу этого фонвизинского сочинения положена многократно переиздававшаяся в XVIII веке внушительных размеров книга французского лингвиста Габриэля Жирара «Французские синонимы: их различные значения и правильное употребление». У аббата Жирара Фонвизин заимствует значительную часть материала, вслед за аббатом Жираром же утверждает, что по своему значению синонимы отнюдь не тождественны, «что одно слово не объемлет никогда всего пространства и всей силы знаменования другого слова и что все сходство между ними состоит только в главной идее».

Как бы ни интересовался Фонвизин «российским языком», как бы умело им ни пользовался, его первые публикации в «Собеседнике» выдают в нем не столько квалифицированного лексиколога, сколько хорошего переводчика с французского. Правда, приведенные и подробно рассмотренные в «Опыте российского сословника» примеры со всей определенностью показывают, что его составителем является автор сатирических статей новиковских журналов, творец «Бригадира» и «Недоросля»,

человек, интересующийся отечественной литературой и имеющий представление о работах французских философов. О близости «Опыта российского сословника» к новиковской традиции говорит, например, приведенная в статье «Ум, разум, разумение…» «история известного Глупона», который имел в три года *«смысл* годовалого младенца», затем последовательно и с большим успехом доказал отсутствие у него *понятия, разумения, воображения* и *дарования.* По окончании учебы Глупон показал окружающим, что не может подчинять страсти *рассудку,* а став начальником, вызвал общий смех подчиненных своим *рассуждением;* слова, «наполненные *разума»,* «в устах Глупона казались величайшим дурачеством»; став же по воле «слепого случая» «знатным господином», он наглядно продемонстрировал, «что в нем *толку* мало, *ума* не бывало». Ясно, что Глупон — родной брат Глупомысла, Скудоума, Безрассуда, Несмысла и прочих недалеких персонажей новиковского «Трутня». В «Собеседнике» этот персонаж встречается еще однажды, правда, в помещенной в 11-й части журнала анонимной эпиграмме «На Глупонова» он обозначает бездарного поэта, а не глупого начальника:

Вопрос.
В один Глупонов год
Наделал с триста од;
Однако ж ни одной он в свет не выпускает.
Скажи, умно ли он иль глупо поступает?
Ответ.
Глупонов написал и прозу и стихи,
Чтоб всякому читать за тяжкие грехи.
Хоть грешников и есть на свете очень много,
Но их наказывать не должно слишком строго.

На связь «Опыта российского сословника» с комедиями Фонвизина указывает сделанная им подборка синонимических рядов: кроме статьи «Ум, разум, разумение», автор включает группы «Сумасброд, шаль, невежда, глупец, дурак» и «Животное, скот». Отныне, читая «Бригадира», должно иметь в виду, что «глупец тот, которого ум весьма ограничен. Дурак, который ума вовсе не имеет», а «смотритель» «Недоросля» не должен забывать, что «все то создание, которое имеет душу живу, называется *животным.* Следственно человек и *скот* под сие название подходят. Но если человек называется в добром смысле *животным,* то *скотом* иначе не именуется, как в дурном смысле, то есть когда рассудок управляет им не больше как скотом».

Среди слов, давших героям «Недоросля» говорящие имена, в «Опыте российского сословника» описаны не только вышеназванный «скот», но и «старый» («старый человек обыкновенно любит вспоминать давныя происшествия и рассказывать о старинных обычаях», чем на протяжении всей комедии и занимается Стародум), и «милый» («мил кто любим», и единственным «любовником» в «Недоросли» оказывается жених Софьи Милон). Естественно, среди перечисленных в разделе «Звание, чин, сан» военных чинов наряду с прапорщиком и майором назван бригадир.

Несколько необычным для Фонвизина может показаться предложенный им краткий экскурс в историю русской литературы (в разделе «Писец, писатель, сочинитель, творец» он объявляет, что «у нас в древности писцов было мало; из них отличился Нестор, писатель Российской Истории. Между сочинениями нынешнего века славен Ломоносов, творец лучших од на российском языке»); однако, учитывая интерес императрицы к древней истории управляемого ею государства, упоминание Фонвизиным Нестора-летописца странным не кажется. В том же, что истинной «славой россов» был, остается и будет всегда лично знакомый Фонвизину «бессмертный Ломоносов», в России сомневались очень немногие. Зато указание на французских авторов в работе, созданной переводчиком с французского по образцу французского же исследования, выглядит вполне ожидаемым: Фонвизин напоминает российскому читателю, что «Волтеровы письма наполнены остротою», и, опровергая непатриотические заявления русских галломанов о превосходстве французского языка над русским, цитирует Клода Адриана Гельвеция, утверждавшего в своем трактате «Об уме», что сами французы не могут однозначно ответить на вопрос, что такое «esprit».

В «Опыте российского сословника» Фонвизин выглядит автором ученым, степенным и в высшей степени лояльным по отношению к властям: например, синонимы «основать, учредить, установить, устроить» он употребляет в предложении, звучащем в высшей степени верноподданнически: «В России Екатерина II основала общество благородных девиц, учредила наместничества, установила совестный суд и устроила благочиние». Ядовитым и дерзким критиком существующих порядков Фонвизин выступает в другой своей работе — в «Вопросах сочинителю „Былей и небылиц“». Издатели «Собеседника» просят пишущую братию готовить критические материалы и направлять их издателям же или самой княгине Дашковой; Фонвизин незамедлительно составляет свои «неудобные» (а подчас и не всегда уместные)

вопросы и пересылает их «дежурившему» в эту неделю издателю, автору «Былей и небылиц». Согласно преданию, Екатерина Романовна Дашкова и старый знакомый Фонвизина, недавно вернувшийся в екатерининскую Россию Иван Иванович Шувалов уговаривали фрондирующего писателя отказаться от мысли опубликовать в «Собеседнике» свои, по наблюдению современной исследовательницы В. Проскуриной, абсолютно не соответствующие концепции издания претензии; однако Фонвизин проявил твердость, и его «Вопросы» увидели свет в 3-й части журнала. Поступок Фонвизина явно противоречит характеристике, данной ему Вяземским, который, ссылаясь на свидетельство Петра Васильевича Мятлева, отмечал, что «при самом скором и беглом уме он никогда и никого умышленно не огорчал, кроме тех, кои сами вызывали его на поприще битвы на словах»; императрицу же он огорчил и огорчил пресильно.

Прочитав творение неизвестного автора, Екатерина была крайне раздражена, особенно возмутительными ей показались 14-е вопросы (в авторской версии их сразу два): «14. Имея Монархиню честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом: удостаиваться ея милостей одними честными делами, а не отваживаться проискивать их обманом и коварством? 14. Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а нынче имеют и весьма большие?» По ее мнению, на такую беспримерно дерзкую выходку мог осмелиться лишь Шувалов, незадолго до этого осмеянный императрицей в «Былях и небылицах» и, следовательно, имеющий все основания чувствовать себя оскорбленным (в ее зарисовке он представлен нерешительным и двоедушным «соседом»: «…когда я гляжу на него, тогда он, утупя глаза в пол, передо мною важничает, труся, однако мне мысленно» и «лишь ропщет противу меня заочно, а в глазах мне льстит»). Раздосадованная Екатерина назвала сочинение не решившегося открыть свое имя автора дерзостью и сатирой, но, не желая отказываться от данных ею обещаний и даже на время отходить от выбранного ею шутливого тона своих рассказов (приверженность которому императрица демонстрирует в первых же строках сочинения: «Великое благополучие! Открывается поле для меня и моих товарищей, зараженных болячкою бумагу марать пером, обмакнутым в чернила. Печатается „Собеседник“ — лишь пиши да пошли, напечатано будет…»), сопроводила публикацию «прямодушных» вопросов «чистосердечными» ответами. Надо сказать, что российская императрица была мастером подобной полемики: через пять лет после описываемых событий, в 1788 году, начнется последняя в XVIII столетии русско-шведская война, и

«Семирамида Севера» вступит в литературную схватку со шведским королем Густавом III; его многочисленные обвинения и претензии будут опубликованы в русском переводе и в сопровождении насмешливых ответов августейшей кузины и новой «мудрой княгини Ольги» Екатерины II. Сейчас же открытию «военных действий» предшествует своеобразное «объявление войны». По словам очевидцев, ознакомившись с вопросами Фонвизина, разгневанная Екатерина вскричала: «Мы отомстим ему!» и, отвечая неизвестному огорчителю, с удивительным изяществом (что отмечали до- и пост-, но только не советские исследователи) «переиграла» своего оппонента, заставила его публично капитулировать и обратиться к издателю с просьбой о публикации «добровольной исповеди». «Признаюсь, что благоразумные ваши ответы убедили меня внутренне, что я самого доброго намерения исполнить не умел и что не мог я дать моим вопросам приличного оборота… видя, что вы, государь мой, в числе издателей „Собеседника“, покорно прошу поместить в него сие письмо», — просит Фонвизин в своем покаянном обращении «к господину сочинителю „Былей и небылиц“» от сочинителя «Вопросов».

Наиболее эмоциональным, похожим скорее на отповедь выглядит ответ императрицы на второй процитированный 14-й вопрос: «…NB. Сей вопрос родился от *свободоязычия,* которого предки наши не имели; буде же бы имели, то нашли бы на нынешнего одного (шута, шпыня и балагура. — *М. Л.)* десять прежде бывших». Как и в комедии «О, время» Екатерина противопоставляет здесь прекрасное настоящее страшному прошлому и, нанося «несправедливому» критику повторный «удар», передает слово выведенному в «Былях и небылицах» некоему разговорчивому дедушке. «Молокососы, — говорит видавший виды ворчливый защитник екатерининского царствования. — Не знаете вы, что я знаю! В наши времена никто не любил вопросов, ибо с оными и мысленно соединены были неприятные обстоятельства; нам подобные обороты кажутся неуместны, шуточные ответы на подобные вопросы не суть нашего века; тогда каждый, поджав хвост, от оных бегал». В екатерининское же царствование, как следует из опубликованной в том же «Собеседнике» оды Державина «Фелица», «…свадеб шутовских не парят, / В ледовых банях их не жарят, / Не щелкают в усы вельмож, / Князья наседками не клохчут, / Любимцы въявь им не хохочут / И сажей не марают рож»; теперь о самой монархине не запрещается «и быль и небыль говорить», и каждый желающий может безнаказанно задать ей любой, даже самый дерзкий вопрос.

Если Екатерина, отвечая на вопросы смелого автора, охотно сопоставляет прекрасные новые порядки со старыми безобразиями, то Фонвизин, по наблюдению автора первой французской биографии драматурга, нередко сравнивает любезное отечество с нелюбимой им заграницей и интересуется у всезнающего сочинителя «Былей и небылиц», почему «у нас» так, когда «у них» все совсем иначе: «Отчего у нас спорят сильно в таких истинах, кои нигде уже не встречают ни малейшего сомнения?»; «Отчего многие приезжие из чужих краев, почитавшиеся тамо умными людьми, у нас почитаются дураками; и наоборот: отчего здешние умницы в чужих краях часто дураки?»; «Отчего в Европе весьма ограниченный человек в состоянии написать письмо вразумительное и отчего у нас часто преострые люди пишут так бестолково?»; «Как истребить два сопротивные и оба вреднейшие предрассудка: первый, будто у нас все дурно, а в чужих краях все хорошо; второй, будто в чужих краях все дурно, а у нас все хорошо?» Последний фонвизинский вопрос: «В чем состоит наш национальный характер?» — выглядит естественным завершением этой череды обращений и сопровождается весьма полным и хорошо продуманным ответом императрицы: «В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от Творца человеку данных». Это «похвальное слово» русскому национальному характеру «господин сочинитель „Былей и небылиц“» произносит с подачи оппонента, в данном случае выступающего в качестве доброжелательного партнера, а не беспощадного критика. Правда, как следует из «извинительного» письма в редакцию, автор злополучных вопросов императрице о критике существующих порядков даже не помышлял и спрашивал лишь о «злонравных и невоспитанных членах» общества, правильное устройство которого не вызывает у него ни малейшего сомнения. Ведь «в душевном чувствовании всех неисчетных благ, которые в течение слишком двадцати лет изливаются на благородное общество», он не уступает ни своему почтенному адресату, ни любому из своих «сограждан», и осуждает всех, с этой мыслью не согласных: «…надобно быть извергу, чтоб не признавать, какое ободрение душам подается».

В своей «добровольной исповеди» «непонятый» и по этой причине крайне огорченный Фонвизин спешит принести искреннее (или, скорее, не вполне искреннее) покаяние, объясниться и заявить о своей лояльности: «…легко станется, что я не умел положить его („вопрос о нечувственности к достоинству благородного звания“. — *М. Л.)* на бумагу, как думал, но я думал честно и имею сердце, пронзенное благодарностью и

благоговением к великим деяниям всеобщей нашей Благотворительницы». Пытаясь умилостивить победительницу, Фонвизин принимает правила изящной игры, из задающего вопросы превращается в выдающего ответы, причем ответы, заимствованные у его венценосной собеседницы («Вы, может быть, спросите меня: для чего же вопроса моего не умел я так написать, как теперь говорю? На сие буду отвечать Вашим же ответом на мой вопрос, хотя совсем другого рода: „для того, что везде, во всякой земле и во всякое время род человеческий совершенным не родится“»), признается, что убежденный доводами оппонента, решает «заготовленные еще вопросы отменить», причем «не столько для того, чтоб невинным образом не быть обвиняему в *свободоязычии,* ибо у меня совесть спокойна, сколько для того, чтоб не подать повода другим к дерзкому *свободоязычию,* которого всего душою ненавижу», и пишет о надежде удовлетворить адресата своим покаянным объяснением. Довольная христианским смирением автора вопросов императрица следует установленному ею порядку, отказывается от роли грозного судьи и заявляет, что «в сем случае разрешение зависит от многоголовой публики», а не от нее, поскольку ее «дело тут постороннее». Кажется, каждый из участников спектакля блестяще справился со своей ролью осознавшего свои ошибки читателя и разумного издателя.

В своих опубликованных в «Собеседнике» научно-политических материалах Фонвизин императрицу не только хвалит или атакует, но и ищет у нее защиты. В 4-й части журнала за подписью «Иван Нельстецов» он печатает небольшую «Челобитную российской Минерве от российских писателей». Кажется, само название этого эпистолярного сочинения должно вызывать ассоциации с «Эпистолой от российской поэзии к Аполлину» Тредиаковского: в обоих случаях российская поэзия или ее представители обращаются к всемогущему божеству, Аполлону или Афине, «кланяются до земли» и излагают свою просьбу. Однако это сходство распространяется лишь на названия: в отличие от своего старшего и беспощадно высмеиваемого современника, Фонвизин стилизует свое сочинение под деловой документ и, следуя по возможности существующим правилам написания подобных бумаг, по пунктам излагает свое прошение. Оказывается, обиду «именованным» российским писателям нанесли «знаменитые невежды», по милости императрицы достигшие высших «степеней», забывшие, что их умы «жалованные, а не родовые», и убедившиеся на собственном опыте, «что к отправлению дел ни в каких знаниях нужды нет». Эти-то люди вопреки высочайшей воле императрицы

постановили «1. Всех упражняющихся в словесных науках к делам не употреблять. 2. Всех таковых при делах уже находящихся от дел отрешать». В заключение «российских муз служитель Иван Нельстецов» смиренно просит «Божественное Величество» это «беззаконное и век наш ругающее определение отменить», писателей же, «яко грамотных людей, повелеть по способностям к делам употреблять» и позволить российским сочинителям «главное жизни нашей время посвятить на дело для службы вашего величества».

В устах Фонвизина, лишь за год до этого объявившего, что непрекращающиеся головные боли не позволяют ему «усердно служить» своей императрице, и по этой причине вышедшего в отставку, просьба об определении к службе российских писателей выглядит странно. Возможно, заскучавший пенсионер Фонвизин начинает подумывать о возвращении к государственной деятельности, а может быть, пытается защитить свою корпорацию от известного свой ненавистью к «служителям российских муз» яростного гонителя Державина генерал-прокурора Сената Александра Алексеевича Вяземского. Рассказывая в своих «Записках» о конфликте с Вяземским и его ненависти к «Современнику», Дашкова отмечает: «Я вызвала его враждебное отношение к себе еще другим обстоятельством. В Академии издавался новый журнал, в котором сотрудничали императрица и я. Советник Козодавлев (редактор журнала, автор первого русского перевода Гете. — *М. Л.)* и другие лица, служившие под моим начальством, поместили в нем несколько статей в прозе и стихах; Вяземский принял на свой счет и на счет своей супруги сатирические произведения, в особенности когда он узнал, что в журнале сотрудничает Державин. Он одно время преследовал Державина и лишил его места вице-губернатора и потому думал, что тот отомстит ему, изображая его в своих стихах, которые читались всеми с жадностью, так как Державин был известный и талантливый поэт». Надо понимать, Фонвизин был одним из тех «лиц», чьи сатирические труды вызвали ненависть «знаменитого невежды», выведенного в сказке Екатерины «О царевиче Хлоре» под именем Брюзги (по словам Державина, названного так, потому что «часто брюзжал, когда у него как управляющего казной денег требовали»).

В 7-й части «Собеседника» Фонвизин публикует свое «Поучение, говоренное иереем Василием в Духов день». В отличие от прочих его материалов, здесь ни слова не говорится ни о мудрости императрицы, ни о невежестве ее вельмож. Если понравившийся добродушному барину пастырь и рассуждает о должности, то не дворянской, а крестьянской. По отцу Василию,

проповедь которого автор якобы услышал по дороге в свою деревню, неумеренно пьющий мужик рискует «отстать от всякого крестьянского дела, не платить подати государю, оброка помещику и жив прежде зажиточным домом, пустить наконец по миру себя с женою и с детьми». Круг обязанностей добропорядочного крестьянина очерчен помещиком Фонвизиным более чем определенно: естественно, нарушить раз навсегда заведенный порядок и не платить подати и оброк может только мужик, допившийся до последней крайности, «пустившийся в скоты». Похоже, о чем бы Фонвизин ни заводил разговор, он непременно вспоминает оскотинившихся людей, как «благородных» Скотининых, так и подлых, мужиков села П. «Я вам не запрещаю вовсе пить пиво и вино, — вразумляет добрый священник свою непутевую паству. — Не в том дело, пил ли ты, да в том, сколько ты пил. Буде столько, что остался человек, в том и вины нет; буде же столько, что с ног долой, то сделал грех пред Богом… для того, что он сделал тебя человеком, а ты сам сделался скотиной…»

К деревенской жизни имеет отношение и последняя опубликованная в «Собеседнике» работа Фонвизина — «Повествование мнимого глухого и немого». Рассказчик, очень молодой человек, по настоянию терпящего непрестанные обиды от соседей и желающего подготовить сына к встрече с суровой реальностью помещика-отца, изображает из себя глухонемого и таким образом получает возможность «познавать людей и познать человека». При встрече с недужным юношей малосимпатичные душевладельцы не боятся вести себя естественно и предстают перед ним в своем натуральном, непривлекательном обличье. «Отставной майор из солдатских детей Пимен Прохоров сын Щелчков» не имеет другой забавы, как ставить на колени своих и соседских мужиков и со страшной силой щелкать их по лбу; его «свойственник и нелицемерный друг» с такой же «рукоприкладной» фамилией, Оплеушин, служил «дворцовым истопником» и в своей профессии достиг столь высокой степени совершенства, что был пожалован высоким чином; титулярный советник Варух Язвин, купивший место воеводы, довольно быстро и умело разоряет вверенную его попечениям Кинешму.

Все соседи мнимого глухого и немого люди низкородные, принадлежащие к разряду тех, «которых отцы и предки во весь свой век чинов не имели и родились служить, а не господствовать» (как за 15 лет до появления «Повествования» тот же Фонвизин выразился по отношению к своему заклятому врагу Владимиру Игнатьевичу Лукину). Придворные истопники, солдатские дети, представители «знаменитого подьяческого

рода», — все они, несмотря на свою дикость и вороватость, стали богатыми и влиятельными господами, непрестанно оскорбляющими бедного и честного дворянина. Вопреки ожиданиям, описанные в «Повествовании» персонажи не называются ни скотами, ни уродами, любимыми фонвизинскими «ругательными» словами, зато при описании этих душевладельцев становится заметно их несомненное сходство с отрицательными героями «Бригадира» и «Недоросля». В комедиях Фонвизина грубоватые люди военного звания определяются чаще всего, как «мужики»: так в «Бригадире» Советник называет Бригадира, а Бригадир — обманываемого женой знакомого секунд-майора. «Мужик не дурак и на взгляд детина добр», — отзывается он о своем однополчанине; «мужик пресильный и человек преглупый», — описывает мнимый глухонемой отставного майора Щелчкова, после смерти друга взявшего его фамилию и ставшего Пименом Прохоровым, сыном Щелчковым-Оплеушиным. Если для Бригадира, как и для Советника, назвавшего его «мужиком разумным», мужик может обладать недюжинным умом, то для проницательного путешественника — только грубой силой и, таким образом, является не вполне человеком. В «Недоросле» же Стародум рассказывает о «себялюбивых» и «суетящихся» лишь «об одном настоящем часе» придворных, «которым во все случаи их жизни ни разу на мысль не приходили ни предки, ни потомки». Точно так же «без предков и потомков» скончался герой «Повествования» — придворный истопник Касьян Оплеушин. Человек (как правило, имеющий прямое отношение к придворной жизни), не думающий о своей фамилии, ни об отцах, ни о детях, кажется прекрасному семьянину-Фонвизину достойным всякого осуждения «негодницей».

По прибытии в Москву молчаливый путешественник встречается с многочисленными родственниками, в том числе и со странным заикой, во время пожара исполняющим дикую песню (записанную «мнимым глухим и немым» вместе с нотами): «Проклятые черти, баня-то горит, / Заливай скорее, я вас всех прибью, / Плуты, воры окаянные, до / Смерти разсеку, до смерти разсеку». Недужный (в отличие от рассказчика, недужный по-настоящему) погорелец не видит иного способа быть понятым окружающими, как петь свои угрозы, и сама эта картина выглядит чудно и жутковато-комически.

Единственным добродетельным персонажем, представшим перед готовящимся к большой жизни юношей, оказывается некая гостеприимная госпожа А. Не желая, чтобы ее единственный сын «слыл шалуном или тунеядцем или, чего боже избави, трусом»,

добрая и честная старушка со спокойным сердцем отправляет его на военную службу и первым делом спрашивает, где служит ее симулирующий гость. Вопрос ее справедлив и вызывает у путешественников некоторую неловкость. При сравнении с ней остальные персонажи выглядят исключительно отталкивающими, и, вероятно, поэтому первая часть «Повествования» публикуется под названием «Записки моего первого путешествия по 1762 год». Описание того, что происходило до восшествия на престол императрицы Екатерины, не может рассматриваться как критика нынешнего царствования и, следовательно, вызвать неудовольствие российской Минервы.

Тематический диапазон произведений Фонвизина, опубликованных в «Собеседнике», весьма широк, однако главным из них, как представляется, является лексикологический труд «Опыт российского сословника»: его он публикует в трех номерах журнала, над ним он продолжает работать в начале следующего, 1784 года; и, что, несомненно, указывает на сферу нынешних интересов Фонвизина, «Опыт российского сословника» — не единственный создававшийся в начале 1780-х годов словарь, в составлении которого ученый-писатель принимает самое активное участие.

Член Академии Российской

Осенью 1783 года в Петербурге открывается Академия Российская, которую с Российской академией наук сближает лишь имя президента — родственницы братьев Паниных и по этой причине чрезвычайно расположенной к Фонвизину княгини Екатерины Романовны Дашковой. Новоучрежденная академия была призвана вслед за Вольным российским собранием, созданным старым московским знакомым Фонвизина Иваном Ивановичем Мелиссино, содействовать развитию отечественного языка: заниматься составлением словарей и грамматик, а также изданием трудов лучших российских авторов. Со своими задачами члены академии справлялись, и вскоре их стараниями были изданы собрание сочинений Михаила Васильевича Ломоносова, работы натуралиста и путешественника Ивана Ивановича Лепехина, участника 2-й Камчатской экспедиции, переводчика «Истории об Александре Великом» Квинта Курция, упомянутого в новиковском «Опыте исторического словаря о российских писателях» Императорской Санкт-Петербургской академии наук профессора Степана Петровича Крашенинникова, а на рубеже 1780–1790-х годов увидел свет шеститомный толковый словарь.

По настоянию Дашковой Фонвизин становится одним из наиболее деятельных участников главного академического проекта: разрабатывает принципы отбора материала и составления словарных статей, на заседании специальной комиссии зачитывает свое «Начертание для составления словаря славяно-российского языка», в письме советнику академии Осипу Петровичу Козодавлеву полемизирует с «примечаниями» члена академии, известного историка и археографа Ивана Никитича Болтина, собирает и объясняет слова на буквы «к» и «л» и записывает за известным любителем псовой охоты Петром Паниным «охотничьи термины». «На сих днях нашел я его сиятельство графа Петра Ивановича в расположении удовлетворить желанию вашему, милостивая государыня, о сообщении в Академию охотничьих терминов», — докладывает Фонвизин Дашковой 22 января 1784 года. Вероятно, лучшего знатока охотничьего дела в России найти было невозможно: не случайно в комментариях к своей знаменитой оде «Фелица» (изданной в том же «Собеседнике» в 1783 году) Державин замечает, что строчка «И забавляюсь лаем псов» «относится к Петру Ивановичу Панину, который любил псовую охоту». Не только родственник Дашковой граф Панин, но и прочие вельможи Российской империи откликаются на просьбу президента Российской академии и выражают готовность внести свою лепту в создание нового словаря. Один из образованнейших и умнейших людей екатерининской эпохи Адам Васильевич Олсуфьев, который, по словам секретаря французского посольства Фавьера, «кроме немецкого и английского…. говорит очень хорошо на всех языках севера, где он долго был на службе по дипломатической части, и даже на французском и итальянском языках, хотя он никогда не был ни в Италии, ни во Франции», «обещал сообщить Академии разные коренные слова, с иностранных языков происходящие». Правда, в отличие от Панина, 21 сентября 1783 года Олсуфьев «был провозглашен» членом новосозданной академии, намеревался активно участвовать в ее работе и в посредничестве Фонвизина нуждался едва ли.

Как выяснилось уже в самом начале нового 1784 года, сосредоточиться на работе над словарем для Фонвизина оказывается не так просто. В письмах Дашковой и Козодавлеву он признается, что приехав в Москву, не одну неделю мучается ужасной головной болью и не может ни «окончить моих литер», ни вовремя ответить корреспонденту. Кроме того, в Москве Фонвизин оказывается втянутым в судебный процесс с некой пожилой дамой, в просительном письме от 4 февраля 1784 года к белорусскому генерал-губернатору Петру Богдановичу Пассеку

названной им графиней Г-ковой, и уже в третий раз собирается совершить поездку за границу. Правда, сама по себе работа со словарем кажется ему весьма увлекательной: к составлению «Начертания» Фонвизин относится чрезвычайно ответственно, а в заочной полемике с Болтиным выглядит заинтересованным и по обыкновению насмешливым. Например, замечает ироничный корреспондент Осипа Козодавлева, в словарь планируется включить «из собственных имен только самые употребительные», но что значит употребительное имя? «Всякий за свое имя вступится. В вашем доме *Осип,* в моем *Денис* весьма употребительны, и мне кажется, что всякое имя нарекается христианину при святом крещении точно для того, чтоб оно было употребительно». Аргументы Фонвизина выдают в нем не ученого педанта, но вполне здравомыслящего и понимающего предмет человека. Даже если поместить в словарь самые распространенные имена, — продолжает непримиримый и неизменно язвительный полемист, — «то они с своими *уменьшительными, приветственными, уничижительными* и проч. составят в словаре нашем одних *Петрушек, Ванюшек, Анюток, Марфуток* по крайней мере не меньше тридцати тысяч душ». Понятно, что Петрушками, Ваньками и Сеньками могут быть только крепостные, исчисляемые количеством душ и своим множеством способные составить счастье бедного российского дворянина. «Тридцать тысяч душ иметь хорошо, но не в лексиконе», — заканчивает свою мысль предавшийся несбыточным мечтам остроумный писатель и средней руки белорусский помещик Денис Иванович Фонвизин. Кузен Фонвизина по материнской линии и сказочно богатый фаворит императрицы Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов чуть позже будет владеть двадцатью семью тысячами душ в одном лишь Нижегородском наместничестве, но обыкновенному пенсионеру и отнюдь не любимцу императрицы таким богатством не обладать никогда… Третий том словаря Академии Российской, включающий слова на литеры «к» и «л», выйдет довольно скоро, но ко времени его издания Фонвизина уже не будет на свете.

Путешествие в Италию

Сейчас же, весной 1784 года, чета Фонвизиных тщательно готовится к рассчитанному примерно на год заграничному путешествию. По сведениям имеющего к этим приготовлениям самое непосредственное отношение Германа Ивановича Клостермана, Фонвизин «заклинает» его, своего надежного друга и компаньона, взять на себя труд управлять всем движимым и

недвижимым имуществом путешествующего семейства. Желая оградить близкого человека и компаньона от возможных неприятностей, супруги Фонвизины отмечают в своих завещаниях, что в случае их смерти любой из родственников, осмелившийся усомниться в правильности распоряжений Клостермана и попытавшийся вчинить ему иск, будет незамедлительно лишен наследства. Перед отъездом Фонвизин при участии того же Клостермана продает часть собранных им книг, картин и гравюр (оцененных по описи не менее чем в 52 тысячи рублей), сдает в аренду белорусское поместье и отправляется в путь, по сведениям Клостермана, имея при себе тысячу червонцев, десять тысяч голландских гульденов и векселя «от здешнего торгового дома братьев Ливио» (торгового предприятия родственников — итальянцев, основанного в Петербурге во второй половине XVIII века и располагавшегося на Невском проспекте). В Европе писатель-коммерсант планирует приобрести большую партию произведений европейского искусства и, что не менее важно, ни в чем себе не отказывая, «в прекрасном климате» поправить пошатнувшееся здоровье, свое и жены. Весьма вероятно, что, готовясь к этой поездке, Фонвизин составляет список «дорожных» предметов, необходимых путешествующему франту («материй летних на фрак и на кафтан», трость, свой силуэт, дюжину карт, воланы и вторую часть «Иосифа»), автору дорожных заметок («переплетенные книги для записок», по дюжине черных и красных карандашей) и просто вояжеру («кофию» и «сахару к чаю», «рецепт травам для кристиру», венгерской водки и «красного уксусу для нюхания»).

Судя по всему, итальянский вояж Фонвизиных требовал значительных расходов, и последовавший затем отказ арендатора барона Медема выслать Фонвизину причитающиеся ему деньги станет для считающего себя предприимчивым дельца и страстного коллекционера произведений живописи тяжелым ударом. Но пока Фонвизин располагает средствами, он скупает за границей «вещи, до художества принадлежащие», и ящиками отправляет их для продажи тому же оставшемуся в России Клостерману. «Вечером был у Фонвизина, который очень оправился и продолжает покупать», — отмечает путешествующий по Италии петербургский знакомый Фонвизина, один из известнейших отечественных интеллектуалов Василий Николаевич Зиновьев в письме от 28 февраля 1785 года своему другу, полномочному министру в Венеции Семену Романовичу Воронцову (в свою очередь в письме из Рима от 7/18 декабря 1784 года Фонвизин пишет о несчастье Воронцова, сообщает сестре, что тот «смертию своей жены так поражен, что уже три месяца

никого к себе не пускает и всякий день плачет неутешно»).

Метод работы имеющего некоторый опыт подобной деятельности российского коммерсанта и знатока искусств (по сведениям того же Клостермана, во Франции Фонвизин пополнял коллекции великого князя Павла Петровича и Никиты Панина) описан его римским приятелем, представителем династии известных немецких художников Тишбейнов — Вильгельмом. В книге «Из моей жизни» этот собеседник Гёте (и автор картины «Гёте в Кампанье») рассказывает, что зашедший к нему в поисках знакомого единоземца, некоего художника Дмитрия, неизвестный ему статский советник Фонвизин залюбовался недавно законченной и еще не снятой с подрамника картиной Тишбейна «Конрадин Швабский и Фридрих Баденский в ожидании приговора» и, не раздумывая ни минуты, принялся уговаривать живописца уступить восхитившее его полотно за любые деньги. К несчастью для Фонвизина, работа предназначалась для герцога Готского, выгодное предложение не могло быть принято, и «богатому русскому» пришлось довольствоваться уменьшенной копией «Конрадина».

Пользуясь случаем, Фонвизин приобретает множество самых разнообразных и не слишком дорогих (по три дуката за лист) листов работы Тишбейна и по окончании удачной торговой операции приглашает своего нового знакомого в гости, представляет его Екатерине Ивановне, как и в случае с Клостерманом, становится его другом и, по выражению того же Тишбейна, «благодетелем». Заметив однажды, что новый приятель недостаточно весел, отзывчивый человек Фонвизин объявляет, что если причиной печали Тишбейна являются его долги, то он готов взять на себя их оплату. Получив отрицательный ответ, но выяснив при этом, что бедный немецкий художник нуждается в средствах, русский любитель изящных искусств незамедлительно берет на себя обязательство перечислять мастеру 100 дукатов ежегодно, правда, оказывается в состоянии соблюдать эту договоренность в течение лишь первого года. Последнее обстоятельство Тишбейн отмечает, но обманутым себя не чувствует, оправдывает Фонвизина, очень к нему расположен и называет его веселым и ученым господином. Кажется, друзьями Фонвизина становятся люди, знающие толк в изобразительном искусстве и расположенные беседовать с ним об этой материи. Еще в 1781 году М. Н. Муравьев, рассказывая своей сестре Феоне о недавнем визите к Фонвизиным, отмечал, что хозяин говорил об эстампах.

Фонвизин же, по свидетельству его русских собеседников, продолжает следовать линии Петра Панина и с удивительной

«нескромностью» публично ругает российские власти. Из письма князя Семена Романовича Воронцова (тоже не всегда лояльного по отношению к правительству и со временем даже попавшего в немилость к императрице) брату Александру Романовичу, в это время президенту Коммерц-коллегии, следует, что бывший секретарь покойного Никиты Панина без всякой меры критикует нынешний внешнеполитический курс России, не одобряет намерение Екатерины II поддержать императора Иосифа II и уклоняться от союза с Пруссией и Францией, неумеренно хвалит шведскою короля Густава III и открыто провозглашает, что «со смертью его покровителя Россия более не блещет на европейском небосклоне».

Правда, обрушивается Фонвизин не только на «нынешнее министерство», но и почти на все увиденное им за границей. После путешествия во Францию он приобрел изрядный опыт описания европейских неустройств и, рассказывая об Италии, активно использует весь арсенал своих ругательных средств. Несомненно, самым любимым бранным словечком путешествующего ворчуна было и остается «скотина» и его многочисленные производные (в то время как Фонвизин награждал этим «термином» встречных и поперечных, его недавний оппонент Иван Никитич Болтин связывал слово «скот» со шведским *skatt* — «сокровище», «клад»). Описывая в одном из писем из Монпелье «французские обычаи», Фонвизин отмечает, что «народ здешний с природы весьма скотиноват», да «и господа изрядные есть скотики», а через семь лет выясняет, что по этой части итальянцы своих соседей значительно превзошли: в Италии люди видятся ему «мерзкими», их образ жизни — «свинским», города, по его наблюдению, «не провонялые, а прокисшие», в лучшей же гостинице Сиены «такая грязь и мерзость, какой, конечно, у моего Скотинина в хлевах никогда не бывает». По мнению русского путешественника, Италия не идет ни в какое сравнение не только с Россией, но и с прочей Европой. «Ради мы, что Италию увидели, — пишет он сестре Феодосии из Рима 7/18 декабря 1784 года, — но можно искренно признаться, что если б мы дома могли так ее вообразить, как нашли, то конечно бы не поехали. Одни художества стоят внимания, прочее все на Европу не походит».

Для Фонвизина немецкая земля, где жить дешево, а чистота кажется аффектацией, выглядит куда предпочтительнее Италии, а немцы и даже нелюбимые им французы в своей массе «ведут себя гораздо честнее» итальянцев. Если в находящихся неподалеку от Пизы «теплых банях» Фонвизин находит «чистоту и порядок неожиданный», то только потому, что тамошним государем

является природный немец. Хотя, конечно, и в Германии «во всем генерально хуже нашего… у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы», — отмечает неизменно патриотически настроенный русский путешественник. С другими известными Фонвизину европейскими народами итальянцев он не сравнивает, но очевидно, что прямое с ними сравнение было бы не в пользу итальянцев. Посетив Польшу, русский путешественник отмечает, что «дуэли здесь всечасные. За всякое слово выходят молодцы на пистолетах»; посетив Италию — что «итальянцы все злы безмерно и трусы подлейшие. На дуэль никогда не вызывают, а отмщают обыкновенно бездельническим образом». Этот «бездельнический» способ, которым особенно активно пользуются «вероломные болонезцы», лишь начавший свое знакомство с новой страной Фонвизин описывает сестре в письме от 5/16 октября 1784 года: «Мщение их состоит не в дуэлях, но в убийстве самом мерзостнейшем. Обыкновенно убийца становится за дверью с ножом и сзади злодейски умерщвляет. Самый смирный человек не безопасен от несчастия. Часто случается, что ошибкою вместо одного умерщвляют другого». Бретеров Фонвизин не любит, помнит мнение Ивана Андреевича Фонвизина, что «стыдно, имея таковых священных защитников, каковы законы, разбираться самим на кулаках, ибо шпаги и кулаки суть одно», но избегающих честного поединка подлых убийц ненавидит всей душой.

Жизнь среди итальянцев кажется ему невыносимой: они шумны и чрезмерно смешливы, умных собеседников среди них нет, о французской литературе в Италии не имеют ни малейшего понятия, по-французски не говорят (и Фонвизиным приходится выучиться «болтать кое-как по-итальянски»), в любимые им карты почти не играют (если и играют, «то по гривне в ломбер»), а гостей угощают так, что Фонвизину приходится «краснеться» за хозяина. В отличие от Франции, где Фонвизину довелось увидеть «мудрых века сего», в Италии, где «Вольтер, наш любимый Руссо и почти все умные авторы запрещены», он «живет» преимущественно «с картинами и статуями» и, проводя время таким образом, боится «самому превратиться в бюст». Кроме Вильгельма Тишбейна, здесь он сводит знакомство с художником Арманом Шарлем Караффом, автором знаменитого фонвизинского портрета, и чрезвычайно расположенным к русскому литератору известным поэтом, кардиналом и графом Лионским, французским послом в Риме Франсуа де Берни (по словам Вяземского, за вычурный стиль своих творений прозванным прусским королем Фридрихом Великим «цветочницей Бабетой»). Прочие известные ему люди искусства и науки (не обязательно итальянцы) вызывают у насмешливого

Фонвизина мало почтения. Над ними он смеется в течение всей поездки и смеется безжалостно. Рассказывая о встрече в Нюрнберге со своим старым знакомым, профессором Клодиусом, он ядовито отмечает, что пока ученый человек занимался «корректурою своих премудрых сочинений», Фонвизины проводили время в обществе его жены, «здешней знаменитой сочинительницы», чьи «сочинения суть не что иное, как любовные письма к своему супругу, в которого, не взирая на его полную, красную и глупую рожу, она влюблена смертельно».

Естественно, рассказывая о своем путешествии за границу, прославленный русский комедиограф не может обойти вниманием тамошние театры и ругает их, по своему обыкновению, не жалея слов: оказывается, он в жизни ничего «не видывал» «мерзче» немецкого театра в Мемеле и «гаже» комедиантов французского театра в Пизе. А после посещения итальянской комедии в Боцене сообщает сестре Феодосии, что местный «театр адский» и что «растерзанный» комарами, он «выбежал из него, как бешеный». Жалуется Фонвизин и на итальянскую публику, особенно на ее женскую часть: великолепные флорентийские театры плохо освещены, а все потому, что «дамы не любят, чтоб их проказы видны были. Всякая сидит с своим чичисбеем и не хочет, чтоб свет мешал их амуру», в пизанской же опере «во время представления такой шум и крик, как на площади. Дамы пикируются не слушать музыки. C'est du bon ton, чтоб из ложи в ложу перекликаться и мешать другим слушать». Правда, рассказывая о многочисленных (касающихся отнюдь не только итальянского театра) безобразиях, Фонвизин не оригинален и, по наблюдению исследователей, в своих письмах активно использует едва ли не целые фрагменты из изданного и хорошо ему известного дневника безымянного немецкого путешественника, в 1781 году посетившего Тоскану, Пизу и Ливорно.

Как и раньше, Фонвизину чрезвычайно льстит внимание к его персоне со стороны владетельных особ: в 1763 году он удостоился расположения герцогини Мекленбург-Шверинской, а в 1784 году — разговора с родной сестрой королевы Франции Марии Антуанетты и императора Священной Римской империи Иосифа II, эрцгерцогиней Елисаветой. Сорокалетний муж, Фонвизин тщеславен не меньше, чем восемнадцатилетний юноша. Не меньше радует его любовь и столь презираемых им итальянских простолюдинов. «Рим оставили мы с огорчением, — сообщает он Феодосии из Милана 10/21 мая 1785 года. — Я и жена моя были любимы там не только лучшими людьми, но и самим народом. В день нашего отъезда улица сперлась от

множества людей». «Один из лучших художников» Рима, посещавший Фонвизиных каждый день и бывший в числе их «провожателей», разумеется, Тишбейн, отправляет своему русскому другу письмо, в котором сообщает, что собравшийся народ кричал вслед отъезжающей чете. Не ограничиваясь кратким пересказом письма Тишбейна, чрезвычайно довольный собой Фонвизин переправляет его Феодосии, которая «по-немецки мастерица» и потому в состоянии прочитать оригинал столь приятного для ее брата послания.

Кажется, непосредственность и, если угодно, ребячливость были присущи Фонвизину всегда (в свое время Петра Панина удивляли не вполне взрослые привычки его тридцатилетнего «дорогого приятеля»), и во время итальянского путешествия эти его качества проявляются едва ли не чаще, чем раньше. Так, известный щеголь Фонвизин везет с собой в Италию «шелковый новенький и прекрасный кафтанец, но в Риге за ужином у Броуна (наместника Рижского и Ревельского. — *М. Л.)* немецкая разиня, обнося кушанье, вылила на меня блюдо прежирной яствы» — обстоятельство пренеприятное, и досада путешественника не знает границ. В немецких трактирах гурман Фонвизин страдает от голода и ужасной, на его взгляд, тамошней кухни (в письме сестре из Нюрнберга от 29 августа / 9 сентября 1784 года он жалуется, что в местечке Ауме супруги были вынуждены довольствоваться «двумя не изжаренными, а сожженными цыпленками», а в городе Кронах «обедали или лучше сказать голодали»), но в том же Нюрнберге его мучения оказываются вознаграждены. «Я нигде не видал деликатнее стола, как в нашем трактире. Какое пирожное! Какой десерт! О пирожном говорю я не для того только, что я до него охотник, но для того, что Ниренберг пирожным славен в Европе», — рассказывает он в письме из Боцена от 11/22 сентября, и его восторг кажется безмерным. Весьма сильное впечатление на русского путешественника производят «отменно хорошо» устроенные лейпцигские бани: в том же письме из Нюрнберга он с нескрываемым удовольствием рассказывает, что в них каждый посетитель получает в свое распоряжение отдельную «комнатку с ванною», что около стены «подле ванны» находятся два специальных винта и что «повернув один, пустишь воду теплую; повернув другой, холодную; так что сидящий в ванне наполняет ее столько и такою водою, как сам захочет». С таким же детским изумлением Фонвизин рассказывает и о замеченных им немецких курьезах: «Я в жизнь мою нигде столько не видывал горбунов и горбуш, сколько в Лейпциге. На публичном гулянье, посидев на лавке с полчаса, считал я, сколько проходит горбунов мимо меня,

и насчитал их девять. Не подумайте, чтоб я считал сутулину за горб. Нет! Это были такие горбы, которые если не перещеголяют, то верно не уступят Шкеданову». Всю свою жизнь Фонвизин чрезвычайно искренне и одинаково открыто сердится, удивляется и восхищается. Даже свою горячность он проявляет по-мальчишески: правых и виноватых объявляет «скотами», а провинившегося перед ним почтальона не застрелил лишь потому, что Екатерина Ивановна «на тот час его собой связала».

Чужие беды чувствительный Фонвизин принимает близко к сердцу, но быстро о них забывает и вновь переключается на себя. В Болонье с ним произошла пренеприятная и сильно огорчившая его история: еще в Риме камердинер Фонвизина Иоганн стал свидетелем отвратительной семейной сцены, во время которой хозяин гостиницы и его жена, «по римскому обыкновению выдернув ножи, бросились друг на друга». Робкий Иоганн был потрясен настолько, что сошел с ума и начал подозревать свою невесту в намерении его зарезать (накануне происшествия камердинер сделал предложение следовавшей с Фонвизиными служанке, и это обстоятельство, как полагает огорченный путешественник, также «повернуло ему голову»). Утвердившись в этой идее, несчастный Иоганн стал избегать с ней встреч, просить господина поскорее отпустить его прочь и лишь после продолжительных переговоров (в которых участвовали не только Фонвизины, но и одна их «старая знакомка» с мужем) согласился продолжать путешествие. Однако уже следующей ночью Иоганну «помечталось», что зарезать его намеревается не бывшая возлюбленная, а слуга Фонвизина Семка (к слову сказать, через несколько лет, во время нового путешествия, также изъявивший желание покинуть своего господина), и перепуганный донельзя бедняга прибежал в комнату к невесте, где «плакал и выбросился было из окошка». По вполне понятным причинам на предложение пустить ему кровь Иоганн долго не соглашалея, а получив врачебную помощь и приехав вместе с Фонвизиными в Реджио, выскочил на многолюдную площадь и начал кричать, что зарезать его собирается собственный господин. Фонвизин подчеркивает, что «для сего несчастного» в Реджио они провели целый день, «призывали доктора» и «давали лекарство, которое действовало», однако вернувшись с прогулки, «не нашли уже его в трактире. Он ушел Бог ведает куда». Фонвизин пишет сестре из Милана 10/21 мая 1785 года, что они с женой «очень тронуты сим несчастным приключением», тем более что Иоганн не имеет средств к существованию, сделали все возможное, чтобы отыскать больного, а исчерпав все мыслимые возможности, поручили банкиру «на случай, если он сыщется или сам придет, его на мой

кошт лечить и отправить морем в Россию». Закончив свой печальный рассказ «эпилогом» — «на одной почте сказывали нам, что Иоганн ее прошел или, лучше сказать, пробежал, спрашивая, где границы императорские, и будто повернул на мантуанскую дорогу», Фонвизин больше к нему не возвращается и о дальнейших поисках камердинера не помышляет. «В Парму приехали мы к обеду. После обеда видели все, примечания достойное в городе: многие церкви, академию, старинный театр и проч.», — продолжает уже не кажущийся подавленным Фонвизин свое повествование. Судьба бедного Иоганна больше его не интересует.

И все-таки теперь, в 1784–1785 годах, он становится другим, немолодым, многое пережившим и уже не вполне здоровым человеком. Оговариваясь в письмах родным (написанных во Флоренции в октябре 1784 года и в Риме в феврале 1785 года), что их скорая встреча состоится в том случае, «если Бог даст здоровья» и что «если здоровы будем, то увидим все величество римской церкви», он не столько употребляет подходящую случаю эпистолярную формулу, сколько выражает свое душевное состояние. Кажется, Фонвизин не предчувствует беды, он энергичен и бодр, стойко переносит все неудобства длительного путешествия, осматривая памятники прекрасной старины, целые дни проводит на ногах, но на свои недомогания жалуется так часто, что поразивший его в начале 1785 года первый апоплексический удар не выглядит неожиданным. На протяжении всего путешествия Фонвизин рассказывает родным о непрекращающихся, то несильных, то невыносимых приступах мигрени. По его мнению, причиной подавляющего большинства (если не всех) пароксизмов является доводящая раздражительного путешественника до исступления «скотская грубость» иноземных почтальонов. Уже в начале поездки он берет за правило «никогда на скотов не сердиться и не рваться на то, чего нельзя переделать», но соблюдать его не может и уже в «папских областях» чуть не становится убийцей бросившего его распряженный экипаж посреди дороги ночью и надерзившего, появившись утром, почтальона. Говоря о другом своем недуге, желудочных болях, Фонвизин выглядит куда как менее серьезным: по его словам, по пути в Италию Екатерина Ивановна снабжает своих новых знакомых «магнезиею, ревенем и многими рецептами, коими запаслась она ради несварения моей грешной утробы», и «я в Болоньи объелся фруктов и ночью, когда от ненастья и стужи мы замучились, пришла на меня такая колика, какая с человеком редко от роду случается. Словом, я думал, что сею ночью сподоблюся принять мученический венец…».

Повествуя о столь низкой материи в 1784 году, Фонвизин еще может себе позволить оставаться ироничным, но уже через несколько лет в дневнике последнего заграничного путешествия, разбитый параличом, он станет писать о своих телесных недугах без малейшей насмешки.

В Италии русские путешественники страдают не только от грязи и комаров, но и от не вполне подходящего для северянина «нездорового климата»: в результате — за считаные недели до первого удара, 7/18 декабря 1784 года, Фонвизин признается сестре, что чувствует себя совершенно измученным («не только бедная жена моя, но и я чувствую в нервах слабость, какой никогда не чувствовал. Сырость, мрачность, вседневные жестокие громы, дожди и град — вот каков здесь декабрь»). Ядовитые замечания Фонвизина об Италии и итальянцах некоторые исследователи склонны объяснять его «старческой ипохондрией». Для относительно молодого и, по свидетельству Тишбейна и Клостермана, веселого человека этот диагноз кажется, мягко говоря, не вполне справедливым, хотя очевидно, что в свою третью заграничную поездку Фонвизин отправляется в довольно мрачном расположении духа. Он надеется, что прекрасная Италия возвратит ему вкус к жизни, но в начале путешествия, вновь «дотащившись до ворот Европы», замечает, что места, виденные им ранее, в этот раз производят тягостное впечатление, тот же Кёнигсберг, которым он «и никогда не прельщался», «в нынешний приезд показался… еще мрачнее».

Первый приступ паралича, по всей вероятности, тяжелым не был. Изрядно испуганный, Фонвизин бодрится, по его собственным заверениям, быстро поправляется, внушает себе и домочадцам, что скоро вернется к прежней жизни, и намеревается закончить вояж не ранее, как «осмотрев Италию».

О потрясшем его происшествии он старается не вспоминать и единственным остаточным явлением называет пренеприятную слабость. Только из-за нее он вынужден передвигаться по Риму в карете, но «по комнате уже прохаживается» и очень надеется на искусство своего доктора, который уверяет русского пациента, что скоро он будет «здоровее прежнего». После приступа Фонвизин отказывается видеть в себе бессильного инвалида и, размышляя о скором возвращении домой, упоминает шпаги и пистолеты, которыми на случай нападения разбойников планирует вооружить своих людей и вооружиться самому.

Кажется, процесс восстановления и в самом деле идет довольно быстро. «Состояние здоровья моего отчасу лучше становится», — пишет он сестре в марте 1785 года. «Состояние здоровья моего так поправилось, что я мог в страстную и святую

недели не пропускать ни одной функции», — сообщает он Петру Панину в апреле. Заканчивая свой неудачный вояж, путешественник благодарит Бога за спасение жизни и сохранение здоровья, свое и супруги. Уже в апреле 1785 года, описывая Петру Панину виденные им в Риме церковные церемонии, он, как и раньше, во Франции или в Италии, отмечает, что был принужден провести целый день на ногах, и даже пытается иронизировать: «Потом папа из среднего окна, или ложи святого Петра, показался стоящему на площади народу; сперва произнес он проклятие нам, грешным, то есть всем, не признающим его веру за правую, а потом дал народу благословение». Надо сказать, Фонвизину очень не нравится «дух папского любоначалия», и «папская служба» вызывает у него самые причудливые ассоциации: «папа, носимый в креслах на плечах людских, чрезвычайно походит на оперу „Китайский идол“. Мирное целование, которое дает он первому кардиналу, сей другому, а другой третьему и наконец, проходит через все духовенство, похоже на электризацию, которая от папы до последнего попа доходит уже весьма слабо». Снова посетив католическую страну, Фонвизин, как и во время путешествия по Франции, с интересом наблюдает тамошнее богослужение и вновь находит его странным, подчас забавным и не вызывающим благоговения. Правда, если обедню, увиденную им в Монпелье в конце 1777 года, он называет комедией и на всем ее протяжении «покатывается со смеху», то в начале 1785 года знаменитый русский острослов шутит крайне редко, не столько смеется, сколько осуждает.

Совершенно здоровым Фонвизин себя не ощущает и, следуя советам доктора, живет «очень воздержно», вплоть до того, что, по его собственному признанию, отказывается от кофе с молоком, не говоря уже о попытке «залезть» на «разгорающийся» Везувий. Супруги Фонвизины торопятся домой, намереваются посетить Лоретто, Парму, Милан и Венецию, в мае 1785 года прибыть в Вену и, осмотрев в столице империи всё, заслуживающее внимания, поспешить, «не останавливаясь, в Москву через Краков, Гродно и Смоленск». Однако в Вену Фонвизин приезжает совершенно разбитым, «чувство болезни» не оставляет его «ни на час», «слабость нервов и онемение левой руки и ноги» принуждают обратиться за помощью к «славному венскому медику Столю» и по его совету отправиться на воды в Баден. Фонвизин не сомневается, что дома, среди близких людей, в подходящем климате, ведя привычный образ жизни, он победит недуг, но баденские «теплые бани» очень полезны, с их помощью можно «развести» «оставшиеся обструкции», и потому небольшая задержка видится ему вполне оправданной, хотя и досадной.

Жизнь больного человека в Бадене кажется Фонвизину невыносимо скучной. «Вот, мой сердечный друг, — пишет он сестре Феодосии, — как я провожу всякий день: поутру, выпив кофе, перед которым за полчаса принимаю лекарство, надеваю свою длинную рубашку и в бане купаюсь два часа; потом отдыхаю, потом прогуливаюсь по аллее. После обеда хожу к своим товарищам, с которыми принимаю бани, а в шесть часов ввечеру все ходим гулять; буде же время дурно, то в немецкую комедию». «Время» же в тех местах преимущественно «дурно», из-за «стужи, дождя и вихрей» «всю забаву» скучающего Фонвизина «составляют» привезенные из Вены книги, а единственным его «утешением» является «дружба» верной супруги. Мало того, доктор Столь и Екатерина Ивановна лишают его главных радостей: много писать, есть мясо и пить вино; его последней гастрономической «отрадой» остаются две ежедневные чашки кофе, которые, по мнению жены, он «у доктора выкланял». Худшего времяпрепровождения, чем в Бадене, Фонвизин не мог себе представить; в той же Вене было куда веселее: он был принят российским послом Дмитрием Михайловичем Голицыным и на ассамблее с большим успехом играл в ломбер с дамами («Бог благословил мое праведное оружие, и я обыграл их, как лучше нельзя»). Летом 1785 года Фонвизин стремится как можно скорее покинуть воды и «приехать в Москву хотя несколько здоровее, нежели доехал до Вены». Сдержать данное родным слово и вернуться домой в июле 1785 года Фонвизин не сумел. В датированном 3 августа 1785 года письме директора Московского университета Павла Ивановича Фонвизина к куратору Ивану Ивановичу Мелиссино сказано, что «в нынешнюю ночь приехал из чужих краев сюда брат мой Денис Иванович» и что «родство и дружба, меня с ним связывающие, требуют, чтоб я нынешний день пожертвовал ему; ибо с лишком год, как я не имел удовольствия его видеть».

Иными причинами объясняет спешное возвращение Фонвизиных на родину информированный, но нередко ошибающийся Клостерман. По его сведениям, из-за отказа арендатора барона Медема выполнить свои финансовые обязательства еще недавно «богатый русский» Фонвизин начал испытывать столь острую нужду в деньгах, что его верный друг и компаньон Клостерман был вынужден обратиться в банк и занять для своего «благодетеля» 10 тысяч рублей под залог 500 душ и под 5 процентов годовых. Пересылая Фонвизину деньги, неосмотрительно согласившийся вести дела путешествующего семейства и по этой причине оказавшийся «в неприятном положении» Клостерман «убедительнейше просил» его

«поторопиться возвращением в отечество», и тот, вняв голосу разума, спешно покинул Италию и отправился в Россию. Из записок Клостермана следует, что путь Фонвизина лежал через Вену, Ольмюц, Краков и Варшаву. После Варшавы он заехал в Полоцк, где имел свидание с Медемом, не только отказавшимся выплатить причитающуюся Фонвизину сумму, но и потребовавшим «значительной неустойки». Через Смоленск разочарованный и раздосадованный Фонвизин возвращается в Москву и тем заканчивает свое очередное заграничное путешествие.

Глава пятая
ГОДЫ СТРАДАНИЙ (1785–1792)

Бедный Каллисфен

Дома, куда так спешил Фонвизин, его ожидали новые беды, и главная из них — второй приступ болезни. По словам Клостермана, в Москве «с ним сделался удар столь сильный, что он не мог пошевелиться ни одним членом, а ум его, прежде столь ясный и светлый, на некоторое время помрачился совершенно». Надежды на быстрое исцеление в знакомой обстановке, в любимой Москве, в кругу родных оказались тщетными; болезнь, убившая Никиту Панина, теперь поразила его верного секретаря, стала причиной невыносимых страданий Фонвизина и в конечном итоге — смерти. «В начале декабря 1785 года, — пишет в своих мемуарах свидетель этих событий, все тот же искренне привязанный к Фонвизину Клостерман, — я отправился в Москву прижать к сердцу моего друга, может быть, в последний раз в жизни, и нашел его в плачевном состоянии. Он страдал расслаблением всех членов и едва владел языком. В тусклых глазах его засветился луч радости, когда я подошел к его постели; он хотел, но не мог обнять меня, силился приветствовать меня словами, но язык не слушался и произносил невнятные звуки. Наконец удалось ему подать мне левую руку, которую я прижал к груди своей… Большую часть времени просиживал я у одра больного моего друга. Правая рука у него совсем отнялась, так что он и двигать ею не мог и пытался писать левой, но выводил по бумаге какие-то знаки, по которым с трудом можно было догадываться, что ему хотелось выразить. Душевные способности также очень ослабели; но кушал он отлично и, невзирая на запрещение врача, требовал то того, то другого из любимых своих снедей. В случае отказа вследствие неудобоваримости он вел себя как малый ребенок, и нужно бывало пускать в ход даже строгости, чтобы он успокоился».

Обрушившиеся на него несчастья — угроза крайнего разорения и два последовавших друг за другом апоплексических удара — не могли не отразиться на интенсивности работы Фонвизина — оригинального автора и переводчика. Правда, писательская активность Фонвизина снижается уже накануне печального происшествия; можно допустить, что причиной тому — отсутствие необходимых для работы условий как перед отъездом за границу, так и во время путешествия, дорожные

хлопоты и постоянные переезды. Однако раньше подобные жизненные обстоятельства для Фонвизина-писателя и переводчика помехой не были: сетуя на каторжную жизнь и полное отсутствие досуга, он находил время для творчества. Больше того, в Италии проводящий дни в поисках живописных шедевров путешественник-коммерсант жалуется на скуку, то есть свободным временем все-таки располагает, но о своих новых творениях не говорит ни слова.

Возможно, с увлечением Фонвизина «вещами, до художеств принадлежащими», связано появление так называемого «отрывка из „Биографического словаря живописцев и скульпторов“», однако точное время создания этого перевода автором не указано и остается неизвестным. Кажется, наиболее подходящим местом для работы над такого рода сочинением была бы Италия, где Фонвизин с восхищением рассматривал «драгоценные картины и антики», но исследователей смущает тот факт, что среди упомянутых в этом фрагменте европейских мастеров нет ни одного итальянца. Итальянцев среди них действительно нет, однако про первого же представленного публике живописца «Аарсенса или Аэрсена» сказано, что *Pietro Longo* он именуется именно по-итальянски. Как бы то ни было, по небольшому отрывку, представляющему собой краткие описания жизни и творчества семи художников, чьи имена начинаются на букву «А», трудно судить о составе всего неизвестного нам оригинала, и середина 80-х годов кажется самой вероятной датой появления этого перевода. Это предположение представляется тем более обоснованным, что Фонвизин не только рассказывает о творениях того или иного живописца или скульптора, не только оценивает художественные достоинства произведений искусства, но и обращает внимание на их высокую стоимость: *«Аэльст* (Эверард Ван), живописец, родился в Дельфте в 1602 г., умер в 1658 г. Он с успехом писал неодушевленные вещи, а особенно мертвых птиц, латы, шишаки и разные военные орудия. Работа его докончена всегда рачительно, малейшие подробности изображал с великою истиною, почему картины его, хотя не весьма привлекательны, редки и дороги». Для знатока европейского искусства и коммерсанта — информация не только любопытная, но и полезная.

Фрагмент «Биографического словаря» — не единственный пример перевода лишь самого начала попавшей в руки Фонвизина книги: точно так же русский автор ограничивается переложением начала «Смерти Авелевой» Соломона Геснера и первых стихов шестой песни «Илиады». Трудно сказать, почему Фонвизин бросал едва начатую работу: не имел возможности

довести перевод прославленных поэм до конца или уже изначально планировал не выходить за рамки небольшого отрывка? Заманчиво предположить, что работа над «Биографическим словарем» оборвалась вопреки намерениям переводчика и что закончить свой, вероятно, объемный труд Фонвизину помешала болезнь, однако аргументами, подтверждающими эту гипотезу, мы не располагаем.

А. Стричек утверждает, что еще до болезни, во время путешествия по Германии, Фонвизин переводит с немецкого «Рассуждение о национальном любочестии», главу большой книги швейцарского врача Иоганна Георга Циммермана (в фонвизинском варианте — «из сочинений г. Циммермана»). Однако, как и в случае с отрывком из «Биографического словаря», определить точно, когда и где был выполнен этот изданный в роковом для Фонвизина 1785 году перевод, не представляется возможным. Среди причин, побудивших русского путешественника обратиться к творчеству знаменитого писателя и корреспондента императрицы Екатерины Великой, исследователи называют естественную для Фонвизина потребность, оказавшись в Германии, вновь заняться немецким языком и обыкновенным для него интересом к затронутой Циммерманом теме. В самом деле, швейцарский мыслитель цитирует горячо почитаемого Фонвизиным «мужа великого разума» аббата Антуана Леонара Тома и тем самым связывает «Рассуждение о национальном любочестии» со «Словом похвальным Марку Аврелию». Теперь, в середине 1780-х годов отечественного философа Дениса Ивановича Фонвизина занимают проблема национальной гордости и связанные с ней «преимущества и вредности». Вслед за мудрецом Циммерманом он полагает, что лишь человек, верящий в свои таланты и свою удачу, способен совершить «великие деяния»; «лишенный же сего упования», «почитающий себя меньше прямой своей цены» становится не годным ни к чему великому «рабом другого». Из пространных и, в версии Фонвизина, чрезвычайно туманных (по наблюдению того же Стричека) размышлений Циммермана следует, что не только отдельный индивид, но и вся нация должны испытывать к себе «благородное почтение», воодушевляться пламенной любовью к отечеству и помышлять исключительно об общем благе. Свои рассуждения известный всем европейским монархам доктор-эрудит сопровождает многочисленными примерами из древней истории, ссылается на Лоренса Стерна, любимого Фонвизиным Соломона Геснера (чьи «поэмы, исполненные благородныя и бессмертный натуры, производят в юношестве удивительное действие»), упомянутого

Тома и выглядит весьма убедительным. Судя по всему, во время очередного своего вояжа по Европе российский писатель-коммерсант был занят не только поисками и приобретением сокровищ европейского искусства, но и размышлениями на столь близкие ему морально-этические темы, размышлениями и переводами трудов известнейших европейских философов.

Из многочисленных фонвизинских текстов следует, что главной добродетелью и государственного мужа, и частного лица он считает прямоту и честность; не случайно описанный им идеальный гражданин является непременно «честным человеком» (как сказано в одном изданном в тот же год, что и фонвизинский «Бригадир», шведском рассуждении некоего скрывающегося за инициалами P. B. северного философа, «честным человеком называют лишь такого, которого ни лестью, ни посулами, ни угрозами невозможно заставить сойти с истинного пути»): честные люди, проникнутые «национальным любочестием», упоминаются в переводе книги Циммермана, в «Вопросах сочинителю „Былей и небылиц“» *«честным человеком»* называется российская монархиня, из жизнеописания графа Панина следует, что «титло честного человека дано ему было гласом целой нации», о себе в тревожном для Панина и его сторонников 1773 году Фонвизин говорит, что он «на Бога положился во всей своей жизни, а наблюдает того только, чтоб жить и умереть честным человеком», печальная история добродетельного советника Александра Македонского, «честного человека» Каллисфена рассказывается Фонвизиным в его одноименной повести, по всей видимости, созданной во время болезни автора и изданной в 1786 году в петербургском журнале «Новые ежемесячные сочинения».

Несмотря на все приложенные современными исследователями усилия, обнаружить в этом произведении следы французского или немецкого влияния не удается, и фонвизинский «Каллисфен» единодушно признается оригинальной попыткой русского писателя создать новое жизнеописание загадочного современника Александра Великого.

Об историческом Каллисфене известно, что он был внучатым племянником Аристотеля, в качестве историографа участвовал в Персидском походе Александра, за отказ пасть перед царем ниц был казнен и (информация, не заинтересовавшая Фонвизина) ошибочно признавался автором популярного во всем мире (в том числе и в Древней Руси) романа об Александре Македонском, знаменитой «Александрии». В известных каждому образованному россиянину «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха о Каллисфене сказано, что Александр всегда «недолюбливал его за

строгость и суровость», что многочисленные «софисты и льстецы» ненавидели философа из-за его популярности и манер («ибо Каллисфен большей частью отклонял приглашения к царскому столу, а если и приходил, то своей суровостью и молчанием показывал, что он не одобряет происходящего»), что «своим поведением Каллисфен очень озлобил» царя Македонии, охотно поверившего наговорам клеветников и в конце концов подвергшего дерзкого выскочку суровому наказанию. По сведениям Плутарха, «некоторые сообщают, что Александр повесил Каллисфена, а другие — что Каллисфен умер в тюрьме от болезни»; возможно, «Каллисфена семь месяцев держали в оковах, под стражей, чтобы позднее судить его еще в большом собрании, в присутствии Аристотеля, но как раз в те самые дни, когда Александр был ранен в Индии, Каллисфен умер от ожирения и вшивой болезни».

Каллисфен, каким он представлен в повести Фонвизина, — истинный философ, достойный ученик Аристотеля, отправленный наставником ко двору добродетельного Александра и призванный, находясь рядом с великим завоевателем вселенной, «покорить мир законам мудрости». Поначалу афинскому мудрецу сопутствует успех: Александр, по его собственным словам, опасающийся, чтоб «яд лести не проник в душу его и не отравил добрых его склонностей», а потому просивший Аристотеля прислать к нему нелицемерного советника, несказанно рад прибытию греческого посланца Каллисфена, готов во всем следовать его разумным указаниям и выслушивать самые горькие истины. Справедливость суждений добродетельного мужа поражает македонского царя, и он, внимая гласу своего разумного друга и вопреки мнению большинства вельмож, отказывается казнить семью побежденного Дария и истребить жителей покоренной недавно «Козрозецкой области». Добродетельный и человеколюбивый монарх, прислушивающийся к советам истинного философа и избегающий льстивых заверений порочных царедворцев, — вот идеал правителя, каким его видел Аристотель и которому хотел соответствовать великий Александр. Однако, о чем Фонвизин объявлял уже в «Недоросли», честным людям придворная жизнь категорически противопоказана, оказавшись там, они не могут не рассердиться или не рассердить окружающих, и вскоре беспорочный Каллисфен становится жертвой придворных интриганов. Царский любимец Леонад решает погубить благородного соперника и, пустив в ход клевету и насмешку, обычное оружие бесчестных негодяев, настраивает нестойкого Александра против беззащитного философа.

Кажется, повествуя о несчастной судьбе Каллисфена, Фонвизин вспоминает покойного шефа Никиту Ивановича Панина, в свое время изрядно пострадавшего от вельможных недоброжелателей, Орловых, Чернышева, Потемкина, и кончившего свои дни в опале. Память о Панине он хранит свято: создает «житие» своего покойного покровителя, находясь в Италии, рассуждает о его величии и посещает Лукку «не для того, чтоб было в ней чего смотреть, но для того, что Лукка была родина предков моего благодетеля, графа Никиты Ивановича Панина». Вполне возможно, что повесть о «почтенном муже» древности была задумана Фонвизиным как новый памятник его «бедному графу».

Лишенный права лицезреть государя, рассердивший Александра Каллисфен оказывается в обозе, где встречает отвратительного персонажа по имени Скотаз. Как и его русский «родственник» Скотинин, эта «низкая и глупая» «придворная тварь» недолюбливает людей и обожает животных, правда, не свиней, а верблюдов, лошадей и, естественно, ослов. Презирая попавшего в его руки «неудачника», Скотаз ведет себя крайне заносчиво, берется поучать «достойнейшего из учеников» Аристотеля и мучает его без всякого милосердия. Иначе говоря, подобно близкородственному персонажу «Недоросля» (которому Правдин объявляет, что он «прямой Скотинин»), полностью оправдывает свое имя и обходится с Каллисфеном «так невежливо, как от Скотаза ожидать токмо можно».

Точно так же имя Леонада — главного врага добродетельного Каллисфена, «имевшего бесчеловечие немилосердно мучить сего почтенного старца», свирепого и безмерно почитаемого презренным Скотазом — без сомнения, происходит от названия хищного зверя. Звероподобными существами выглядят и ближайшие советники Александра Македонского, например некий Аргион, «вельможа пренизкой души и презнатной породы, имевший зверское сердце и скотский разум». В отличие от этих получеловеков, Леонад представлен мужем разумным и даже обладающим острым разумом, однако, как утверждал Стародум, «прямую цену уму дает благонравие», которого Леонад не имеет и без которого оказывается настоящим «чудовищем».

Кажется, история, рассказанная в «Каллисфене», призвана стать иллюстрацией многочисленных рассуждений Стародума, посвященных обязанностям истинного государя и правилам поведения благородного вельможи: чтобы следовать путем добродетели и никогда с нее не сходить, государь должен иметь великую душу, — объясняет почтенный резонер своему ученику Правдину; «толпа скаредных льстецов» пытается сделать его

игрушкой в своих руках и с помощью покорного ее воле правителя достигать гнусные цели. «Льстец — есть тварь, которая не только о других, ниже о себе хорошего мнения не имеет. Все его стремление к тому, чтоб сперва ослепить ум у человека, а потом делать из него, что ему надобно», — поучает он своего ученика. «Я хотел бы, например, — переключается Стародум на „особ высшего состояния“, — чтоб при воспитании сына знатного господина наставник его всякий раз разогнул ему историю и указал ему в ней два места: в одном, как великие люди способствовали благу своего отечества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну презрения и поношения». Рассказ о бедном Каллисфене представляет собой одну из таких нравоучительных историй, служащих, как это принято у Фонвизина, целям воспитания справедливого монарха и разумных подданных.

К тому моменту, когда обоз «дотащился» до места назначения и Каллисфен вновь встречается с Александром Великим, «яд лести проник в душу» юного завоевателя и уже «отравил добрые его склонности». Теперь к порочным царским любимцам присоединяются «жрецы» храма Юпитера, «подлой лестью» они окончательно «помрачили рассудок государя», тот объявляет себя богом и начинает «проповедовать странные басни о своем происхождении». Окружающие Александра воины и придворные (в отличие от нарисованной Стародумом счастливой эпохи Петра Великого, когда все «придворные были воины», во время Александра преобладали полководцы, «которые гораздо лучше знали хитрости придворные, а не военные») охотно поддерживают царя в его заблуждении и почитают его как небожителя. Лишь пылкий Каллисфен исполняет свой долг философа, без колебаний обрушивается на смущенного, краснеющего и запинающегося Александра и вопреки новым придворным правилам «уклоняется от приношения жертвы ученику друга своего Аристотеля». Мудрый Каллисфен понимает, что призвавший его «сильный монарх» уже не «сохраняет добродетель», и, рискуя вызвать гнев переменившегося правителя, готовится «употребить против него всю строгость, каковою философия на исправление смертных ополчается».

В последнем акте представленной Фонвизиным исторической драмы Каллисфен «страдает за истину», называет «спившегося с кругу» «земного бога» недостойным имени человека чудовищем и в ожидании мучительной смерти на плахе умирает в темнице. Премудрый Аристотель, судя по всему, своему венценосному ученику Александру в полной мере не доверяет, на вопрос

отправленного на смерть Каллисфена, «может ли истина свободно изъясняться» «при дворе царя, коего самовластие ничем не ограничено», отвечает вопросом «неужели гонения страшишься?» и не оспаривает его благородного намерения «вкусить смерть за истину». К произошедшему с Каллисфеном он относится философски и, нисколько не сокрушаясь о гибели погубленного им друга, сопровождает его предсмертное письмо характерной «отметкой»: «При государе, которого склонности не вовсе развращены, вот что честный человек в два дня сделать может». Эту точку зрения Фонвизин разделяет в полной мере и, по всей вероятности, сам мечтает о роли защитника истины, философа, подобного Каллисфену, бичующего порок и прославляющего добродетель.

Примечательно, что свои гневные эскапады собеседник Александра Великого произносит тем же тоном, что и его «творец» Фонвизин в пропанинском «Рассуждении о непременных государственных законах»: оба выражаются прямо, резко и эмоционально. Другое дело, что, в отличие от Каллисфена, Фонвизину роль царского советника при дворе не предлагали никогда, и «сатиры смелому властелину» приходится довольствоваться шутливо-почтительной полемикой с российской Минервой в ее журнале «Собеседник любителей российского слова».

В 1786 году Фонвизину уже не до публичных диспутов с императрицей: здоровье его расстроено до крайности, врачи настоятельно рекомендуют предпринять новое путешествие за границу и продолжить лечение на водах, Фонвизины к их мнению прислушиваются и вновь собираются в дорогу. Всезнающий Клостерман вспоминает, что «в марте 1786 года приехала к нам в Петербург супруга Фонвизина для предварительных распоряжений относительно заграничной поездки. Я постарался елико возможно привести дела в порядок, достал все нужное и в мае поехал с нею вместе в Москву, где и оставался до их выезда». В промежутке между этими событиями ожидающему возвращения жены Фонвизину становится известно, что Екатерина Ивановна, по сведениям П. А. Вяземского, имеющая некоторые основания «быть им недовольною», жалуется на мужа всем петербургским знакомым и даже намеревается просить императрицу о разводе. Огорченный до крайности, Фонвизин пишет неизвестному нам «одному приятелю своему» (так его называет Вяземский), что «вчера узнав о сем, я почти совсем стал без языка». Однако из ответного письма, на которое ссылается тот же Вяземский, Фонвизин узнает, что слухи эти безосновательны, Екатерина Ивановна ему по-прежнему верна, уже купила дорожную карету и

собирается обратно в Москву. Обстоятельства этого происшествия известны мало: были ли толки о намерении Екатерины Ивановны совершенно беспочвенными, не всегда осведомленный биограф Фонвизина не уточняет.

Перед самой поездкой, 3 июня 1786 года, Фонвизин составляет завещание, в котором объявляет, что «находится» «теперь в жестокой параличной болезни», но «сохраняет — Богу благодарение — прежний смысл и память» и в присутствии «благодетеля душеприказчика» Петра Ивановича Панина, а также пяти свидетелей, среди которых фигурируют его старые знакомые — вице-канцлер князь А. М. Голицын и дипломат А. М. Обресков, «завещевает, утверждает и просит» «привести… ко указному и твердому во всем исполнению» перечисленные в духовной «пункты». В соответствии с этим документом единственной наследницей всего движимого и недвижимого имущества Фонвизина становилась Екатерина Ивановна, по утверждению завещателя, на протяжении всех двенадцати лет законного супружества сохранявшая к нему «совершенно-искреннюю любовь и доверенность» и тем самым «обязавшая» его «вечною к себе благодарностию и признанием». В распоряжении Екатерины Ивановны оставалась «заведенная» Фонвизиным и «отправляемая ныне» «доказавшим свою честность, рачение и разумение» Клостерманом «коммерция вещами, до художеств принадлежащими»; брату же Павлу Ивановичу были отписаны лишь находящиеся в библиотеке Фонвизина книги на немецком языке. Правда, несмотря на все старания супруга, богатой наследницей Екатерина Ивановна стать не могла: от причитающегося после смерти отца наследства Фонвизин отказался, тяжба с арендатором бароном Медемом обещала затянуться (и в самом деле затянулась) на долгие годы, деньги, составлявшие женино приданое, были практически истрачены, адом на Галерной — заложен. Даже «прибыток» от «коммерции» должен стать собственностью вдовы Фонвизина лишь после того, как будут заплачены все долги (а что «Фонвизин за границей и живучи больной в Москве наделал новых долгов», Клостерман отмечает особо). Суммы же эти могли оказаться столь крупными, что в завещании была предусмотрена возможность отказа от наследства: в специальном дополнении к духовной об этом говорится: «Буде по смерти моей останется на мне столько долгов, что жена моя лучше захочет отказаться от наследства, нежели иметь хлопоты с моими кредиторами, то в таком случае сим завещаваю платить ей из доходов моих по тысяче по осьмисот рублей на год, т. е. указные проценты с 30 000 р., кои могут быть почитаемы в остатке от ее движимого имущества. Для

лучшей верности оставляю я у душеприказчика моего на сию сумму вексель, который по ее требованию должен быть заплачен, хотя с продажею потребной части из деревень моих». Итак, попытавшись обеспечить будущее супруги, Фонвизин отправляется в новое заграничное путешествие, на этот раз в Вену и Карлсбад. «В июне, — продолжает свой рассказ Клостерман, — больной с супругою уехали с прислугою, состоявшею из девушки итальянки Теодоры, которую госпожа Фонвизина приняла в Риме, из немца-камердинера и русского крепостного слуги. Они направились в Вену на Смоленск, Вильну, Краков и т. д., а я уехал в Петербург».

Путешествие в Австрию

О последних путешествиях Фонвизина мы узнаем не только из его писем, которых, к слову сказать, сохранилось не так много, но и из нескольких дневников, содержащих подробное, почти поденное, описание невеселых событий. Во второй половине 1780-х годов Фонвизин то впадает в крайнее отчаяние и рассуждает о своей скорой смерти, то одушевляется надеждой и заговаривает о возможности полного выздоровления. Он по-прежнему очень чувствителен к человеческой глупости, особенно когда «дураки» и «дуры» берутся распространяться о его болезни, внешнем виде и перспективах выздоровления. В таких случаях он становится ядовито насмешливым и, ведя беседы с сердобольными невежами, старается побольнее их уколоть. Выехав из ставшей теперь ненавистной Москвы, Фонвизин останавливается в Калуге и имеет удовольствие пообщаться с тамошними «дурами», одна из которых, по словам писателя, «устремя на меня свои буркалы, говорила мне жалким тоном: „Ты не жилец, батюшка!“… „Вот на! — отвечал я ей, — я еще тебя переживу“». А уже через несколько дней после разговора с калужской прорицательницей описывает встречу с неким «имеющим на глазу шишку с кулак» купцом Маслениковым, который, как рассказывает Фонвизин, «…увидя меня без руки, без ноги и почти без языка, сожалел… что я имею болезнь, которая делает меня столь безобразным… „Правда, — отвечал я, — однако я моим состоянием не променяюсь на ваше. Мне кажется, что на глазу болона, которую вы носите, гораздо безобразнее хромоты и прочих моих несчастий“». Если же неумные доброжелатели не задевают и не расстраивают Фонвизина (после прорицаний «калужской дуры» он едва окончательно не лишился дара речи), то и Фонвизин смеется над их глупостью беззлобно и не в лицо. В той же Калуге супружеская чета останавливается «в

доме двух девушек, во днях своих заматеревших», и одна из них, «великая богомолка», в своих молитвах просит спасти больного путника «от скорби, печали и западной смерти». По Фонвизину, замена вполне уместной для такой молитвы «внезапной» на бессмысленную «западную» смерть выглядит смешной и совершенно не обидной. На своем веку Фонвизин видел разных «дур», теперь увидел и такую: истовую, но не понимающую, чего «врет», молельщицу.

Правда, разговоры о смерти производят на Фонвизиных тяжелое впечатление, пугают их и не сулят ничего доброго. Не случайно в деревне Брянхове, где путешественники оказались в тот же день, сразу по выезде из Калуги, Фонвизину стало худо настолько, что, по его словам, «чуть было не пришла ко мне и вправду не западная, но внезапная смерть». О смерти и погребении Фонвизин рассуждал и раньше: в письме сестре, датированном апрелем 1766 года, упоминал похороны бывшего елизаветинского канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина и говорил о его «судьбине», а в письме от 17/28 мая 1785 года сестре же отмечал, что в «печальной» Венеции старинные здания и гондолы выкрашены в черный цвет, а потому «разъезжая по Венеции, представляешь погребение, тем наипаче, что сии гондолы на гроб походят, и итальянцы ездят в них лежа». Но никогда прежде Фонвизин не писал о своей собственной смерти, никогда прежде подобные «погребальные» размышления и ассоциации не имели отношения к нему самому, веселому, жизнерадостному и любимому всеми Денису Фонвизину.

В Украине, где Фонвизины оказались примерно через неделю, они встречают своих старинных знакомых и знакомятся с людьми новыми. Первые, преимущественно высокородные дамы, племянница Потемкина графиня Екатерина Васильевна Скавронская и сестра бывшего фаворита императрицы Ивана Николаевича Римского-Корсакова Анна Николаевна Энгельгардт, увидев, в каком «жестоком состоянии» Фонвизин пребывает, сочувствуют ему, плачут с ним, дают дружеское «наставление во всем, что нам знать было надобно в рассуждении Карлсбада», и, естественно, удостаиваются искренней благодарности. Вторые же, как правило хозяева домов, где Фонвизины останавливаются, и тоже в основном женщины, ведут себя дружелюбно и почтительно, гнев раздражительного постояльца не вызывают, но описываются насмешливо, а иногда и привычно-язвительно. Про киевскую перевозчицу Турчанинову Фонвизин говорит, что она «старуха предобрая», и зачем-то добавляет — «но личико измятое», а про глуховских Ивана Федоровича и Марфу Григорьевну Гум… — что они «суть подлинные Простаковы из

комедии моей Недоросль»: «накормили нас изрядно», но червонцы, которые щедрый путешественник раздавал и хозяевам, и слугам, эта «госпожа Простакова тотчас вымучила у бедных людей своих».

В Киеве Фонвизин осматривает тамошние монастыри и храмы и сравнивает их с виденными в Европе, отмечает, что «соборная церковь Печерского монастыря… прекрасна, но весьма далеко отстала от римской церкви святого Петра», а в Софийском монастыре «находит» «несколько мозаичной работы». Между тем в Киеве Фонвизин — не только любознательный путешественник, каким он был во Франции, Германии или Италии, но и православный паломник, в сопровождении Екатерины Ивановны присутствующий на молебне в Михайловском монастыре. Наконец после недельного пребывания в «матери городов русских» Фонвизин покидает пределы Российской империи, и, надеясь на скорое освобождение от гнетущей его болезни, «возблагодарил внутренне Бога, что он вынес меня из той земли, где я страдал только душевно и телесно». Еще никогда Фонвизин не отправлялся в путешествие в таком скверном расположении духа, и чувство, которое он испытывает к любезному прежде отечеству, оказывается новым и для «из прерусских русского» несколько необычным.

В Вене Фонвизин «жил помаленьку» до весны и о своем пребывании в имперской столице рассказывает в письмах сестре Феодосии. В начале 1787 года он с нескрываемым удовольствием сообщает, что «великую имеет надежду на выздоровление», что «руке, ноге и языку гораздо лучше», что сам он «стал толще» и что надеется, получив вскоре деньги, поехать из надоевшей ему Вены *«долечиваться»* в Карлсбад. В следующем, датированном февралем 1787 года и куда менее восторженном письме Фонвизин отмечает, что все окружающие уверены в его выздоровлении, сам он, как ему *кажется*, «становится гораздо лучше», а на карлсбадские воды лишь «полагает надежду». Судя по всему, в конце зимы от его прежней уверенности не осталось и следа. Известно, что в Вене он встречается со своим верным Клостерманом, нашедшим для своего «друга и благодетеля» квартиру и развлекающим его своими разговорами. По сведениям Клостермана, их беседы «прерывали знатные лица, приезжающие навестить Фонвизина»: среди них — посланник в Турине Николай Борисович Юсупов, граф Андрей Кириллович Разумовский, советник посольства в Вене Григорий Иванович Полетика, переводчик при посольстве Афанасий Кудрявский, майор Цагель и «многие другие любопытные лица», в том числе полюбившаяся Екатерине Ивановне «венгерская графиня Кордесси, большая

музыкантша, игравшая на многих инструментах, а всего лучше на виолончели». И все-таки в Вене Фонвизин чувствует непреодолимую скуку и спешит скорее отправиться в путь.

События весны — лета 1787 года Фонвизин фиксирует в так называемом «Журнале по выезде моем из Вены в Карлсбад» и старается не упустить ни одного, даже самого мелкого происшествия. Например, в городе Знаиме он встречает желающего вернуться в отечество, но не имеющего «80 гульденов на выкуп» русского дворянина Бартенева, дарит ему «червонной, ибо больше денег не было», а на следующий день «посылает» своего нового приятеля «к городничему с жалобой» на трактирщика, который вопреки предварительным договоренностям пожелал получить вместо четырех гульденов целых восемь. Кажется, Фонвизины окружены плутами и мошенниками: кроме трактирщика, которому по совету городничего пришлось «заткнуть глотку шестью» гульденами, русского путешественника обманывает его извозчик, на взгляд Фонвизина, типичный богемец, человек «дурной» и «не имеющий правды». Определенно, количество нелюбимых Фонвизиным народов продолжает увеличиваться, и теперь, кроме французов и итальянцев, к ним прибавились чехи и польские евреи.

Несмотря на все свое раздражение и недоверчивость (например, хозяин пражского трактира кажется «добрым человеком», но поверить в это видавшему виды путешественнику очень сложно, он ждет подвоха и, не дождавшись, удивляется и специально сообщает о своей радости), Фонвизин способен на душевные порывы. Бедная девушка, страдающая тем же недугом, что и он, вызывает у супружеской пары сочувствие и жалость. По словам Фонвизина, «мы подали ей сколько могли милостину, и я был бы рад везти ее с собою в Карл-Сбад, если бы имел надежду к ея излечению». Правда, на фоне безнадежно больной юной особы верящий в свое скорое исцеление Фонвизин выглядит не так ужасно, и остается лишь предполагать, какие чувства, кроме жалости, вызвала у него несчастная больная.

В Карлсбаде, где Фонвизин рассчитывает быстро выздороветь, люди кажутся ему весьма привлекательными: своего врача Груббера он называет «знающим доктором и весьма добрым человеком», квартирную хозяйку — «старушкой очень честной», которая «лишнее взять за грех почитает», а с семейством своего нового знакомого силезца майора Массова прощается «со слезами, ибо люди весьма добрые». Даже игрой новой пражской труппы, представлявшей в Карлсбаде комедию «Разум и легкомыслие», Фонвизин остается доволен. И не только ею: в тот же день, 23 мая / 3 июня 1787 года, знаменитый русский

драматург «имел удовольствие слышать дочь фельдмаршальши Гартенберг, читающую очень хорошо моего „Недоросля“» (естественно, в немецком переводе). Себе же, как и в юности, Фонвизин кажется человеком чрезвычайно тонким и чувствительным: рассуждая о неизбежной разлуке с «нажитыми» в дороге друзьями, такими как «добрый приятель» и «честный человек» майор Массов, он замечает, что «всякое таковое разставание весьма прискорбно для чувствительнова сердца», а чуть позже, в июле 1787 года в Тренчине, будет «до слез тронут» сценой «нежного» прощания своих новых друзей.

Судя по всему, жизнь в Карлсбаде видится Фонвизину однообразной, но сносной. В своем дневнике он рассказывает о количестве выпитой им «эгерской воды», об увиденных похоронах, походах в комедию и неудачном падении со сломанного стула; он никого не ругает и ни на кого не жалуется, разве что на своего человека Семку, который в свое время испугал безумного Иоганна, а теперь, накануне отъезда из города, по словам рассерженного Фонвизина, «наделал мне грубостей и насилу согласился ехать». И тут же еще недавно донельзя раздраженный путешественник язвительно добавляет: «Он сделал нам ту милость, что не остался в Карлсбаде ходить по миру».

Совершенно о других, куда более серьезных проблемах Фонвизин рассказывает сестре Феодосии. Из его писем следует, что уже в начале мая путешествующая чета в который уже раз ощущает острую нехватку денег, «…истинно чем жить не имею», — сетует Фонвизин 3/14 мая; дело дошло до того, что добросердечная служанка «Теодора ссудила» своего несчастного хозяина «чем заплатить эскулапам». Без денег «избавиться» от Карлсбада он не может, а «писал ли граф Петр Иванович (Панин. — *М. Л.)* к наместнику белорусскому (Петру Богдановичу Пассеку. — *М. Л.)* и заняты ли деньги в Петербурге», не знает. Теперь все свои надежды Фонвизин возлагает на любимую сестру и просит ее в срочном порядке «как-нибудь достать» «тысячи три рублев» и «прислать как наискорее». В следующем письме, датированном 27 мая / 7 июня, карлсбадский пленник сообщает, что до сих пор не получил ответа ни от Панина (относительно перспектив скорейшего окончания тяжбы с недобросовестным арендатором бароном Медемом), ни от сестры (относительно занятых для него денег) и не знает, как ему «отсюда выехать». «Чтоб самому себе не упрекать, пропустя случай возвратить руку, ногу и язык, без чего истинно жизнь моя мне в тягость», Фонвизин намеревается после Карлсбада пробыть «три или много четыре» недели в Тренчине, оттуда проехать в Россию и в августе встретиться с милыми родственниками, однако «сие без помощи

денег есть дело невозможное». Наконец 30 мая / 10 июня Фонвизин получает из Праги «банковых ассигнаций 1518» и днем отъезда из Карлсбада, куда теперь съехалось «людей превеликое множество» и где, по его признанию, «если б я здоров был, то было бы мне очень весело», назначает 2/13 июня 1787 года. В Вене, куда Фонвизин прибывает 9/20 июня, он встречается со своими знакомыми, Полетикой, Кудрявским и Цагелем, посещает графиню Малаховскую, которую описывает в тех же выражениях, что и киевскую перевозчицу: «старушка добрая, но личико измятое», и отправляет письма «к брату, к сестре, к графу через Клостерманова отца» (который, к слову сказать, в отсутствие сына вел все дела Фонвизиных, в частности, занимался распространением в России издания «Недоросля» в немецком переводе).

15/26 июня Фонвизины приезжают в Тренчин, где «бани, называемые Теплиц», по уверению знающих людей, значительно «действительнее баденских», заводят новые и возобновляют старые знакомства, принимают приглашения и «время проводят с приятностию». Фонвизин пребывает в прекрасном расположении духа, регулярно получает письма от друзей и близких и из них узнает обо всех семейных новостях, например «о пожаловании брата Александра Матвеевича (Дмитриева-Мамонова, кузена Фонвизина и фаворита императрицы. — *М. Л.)* гвардии майором». Судя по некоторым дневниковым записям, в Тренчине ему снова кажется, что исцеление возможно: 28 июня / 9 июля «после обеда почувствовал я, что хожу лучше», 30 июня / 11 июля «познакомился я с одною венскою девушкою, которая была точно в моем состоянии, но от здешних вод выздоровела», а 23 июля / 3 августа — знакомый «бодмейстер уверял меня, что я недели через 3 буду рукою владеть», и даже заключил на этот счет с русским путешественником пари. Наконец 24 июля / 4 августа, пройдя полный курс лечения, Фонвизин оставляет полюбившийся ему город и, совершенно растроганный, отправляется в обратный путь. «Выехал из Теплица со слезами, ибо все присутствующие принимали великое участие в моем состоянии», — отмечает он в своем дорожном журнале. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, болезнь отступила лишь на время, и уже 28 июля / 8 августа, после случившейся накануне ссоры с неким «осмотрщиком», Фонвизин пережил «ужасную тоску», а 4/15 августа хоть и не ужасно, но снова «занемог». К несчастью, ожидаемого облегчения пребывание в Карлсбаде и Тренчине так и не принесло.

Как и во все время путешествия, по дороге домой ничего примечательного с Фонвизиными не происходит: «в местечке

княгини маршалковой Любомирской» они останавливаются в комнате, «где недавно ночевал король Польской», Станислав Август Понятовский, очень давно, в середине 1750-х годов, влюбленный в будущую, а сейчас, в 1787 году, спешащий встретить нынешнюю российскую императрицу Екатерину II. В Бердичеве знакомятся с музыкантом и посещают ярмарку, в мытницкой корчме наблюдают драку хозяина с постояльцами, на российской таможне им «показывают» «всякое снисхождение и учтивость» — ничего любопытного, такого, что могло бы заинтересовать наблюдательного и насмешливого путешественника.

Как кажется, внимание возвращающегося домой Фонвизина привлекли лишь два происшествия: встреча с умирающим графом Скавронским, вероятно, Антоном Карловичем, родственником императрицы Анны Иоанновны и ее дочери Елизаветы Петровны, жалкое состояние которого произвело впечатление на самого Фонвизина, и сцена у дверей киевского трактира. 18/29 августа Фонвизины узнают о существовании в Киеве хорошей гостиницы и, приехав в город, намереваются ее разыскать. Неизвестный мальчик вызывается проводить семейную чету, и уже около самых ворот путешественников настигает давно их преследовавшая туча. «Молния блистала всеминутно, дождь ливмя лил, — рассказывает Фонвизин об этом неприятном приключении, — мы стучались у ворот тщетно, никто отпереть не хотел, и мы, стояв больше часа под дождем, приходили в отчаяние; наконец вышел на крыльцо хозяин и кричал: „Кто стучится?“ На сей вопрос провождавший нас мальчик кричал: „Отворяй! Родня Потемкина“. Лишь только произнес сию ложь, в ту минуту ворота отворили, и мы въехали благополучно. Тут почувствовали мы, что возвратилися в Россию». По Фонвизину, на своем опыте убедившемуся в магической силе самого имени Потемкина, лишь в этой стране родство с его однокашником способно заставить трактирщика проявить милосердие и пустить на ночлег страдающих от непогоды путешественников. Потемкина же находчивый мальчишка-провожатый упоминает не столько из-за общероссийской славы прославленного временщика, сколько из-за хорошего с ним знакомства киевлян. В начале 1787 года, когда Екатерина предпринимает свое известное путешествие в Крым, Григорий Александрович Потемкин ожидает ее в Киеве, а затем в течение без малого трех месяцев (во все время пребывания императрицы в Киеве) живет в Киево-Печерской лавре. В апреле 1787 года Потемкин оставил город, а в августе, как понял переменчивый хозяин постоялого двора, в него приехал кто-то из его родни. Может ли киевский трактирщик оставить без крова

таких влиятельных гостей?

В Киеве Фонвизин раздает визиты важным персонам, губернатору и митрополиту, в сопровождении жены вновь посещает монастыри и присутствует на обеднях, занимает у знакомых 200, а потом, уже в Полоцке, 50 рублей: вернувшимся в отечество супругам вновь остро не хватает денег. В Чернигове же, где путешественники оказываются через несколько дней, они отмечают печальную дату, вторую годовщину со дня начала болезни Фонвизина, в конечном счете ставшей причиной этого путешествия: 28 августа / 8 сентября, записывает он в своем журнале, «жена ходила к обедни и пела молебен завтрашнему дню усекновения, ибо в этот день тому два года убил меня паралич в Москве». С тех пор, несмотря на все уверения Фонвизина, здоровье его нисколько не поправилось, и возвращающийся с вод путешественник выглядит настолько плохо, что некий купец Крамер, с которым он встречается в Нарве 16/27 сентября, не может скрыть своего испуга. Наконец 20 сентября / 1 октября супруги приезжают в столицу, и о дальнейших событиях своей жизни Фонвизин планирует рассказывать в так называемом «Журнале пребывания моего в Петербурге». Однако, по сравнению с наполненным событиями заграничным путешествием и даже с малоинтересным возвращением в отечество, дома с Фонвизиным не происходит ничего достойного хоть какого-нибудь внимания. В России его жизнь становится пустой и бесцветной, день ничем не отличается от другого: те же немногочисленные посетители, те же бесполезные лекарства, те же болезни… Уже 14 ноября 1787 года изнемогающий от скуки Фонвизин делает примечательную запись: «Поутру были у меня Пузыревский (петербургский губернский прокурор и приятель Фонвизина Александр Николаевич Пузыревский. — *М.Л.)* и Петр Семенович Роговиков (родственник Екатерины Ивановны, петербургский купец и член губернского магистрата. — *М. Л.).* От сего дня по нижеписанное число вел я жизнь так единообразную, что записывать было нечего», а чуть ниже, после записи, датированной последним днем ноября, отмечает: «Весь декабрь не значил ничего и не стоил записывания». В таком печальном положении Фонвизин завершает год, на который еще недавно возлагал все свои надежды; в январе 1788 года он предпримет попытку продолжить свой дневник, но вскоре окончательно откажется от этой затеи.

Новые книги — старые темы

В своих журналах 1787 года пораженный болезнью

путешественник, а затем петербургский затворник рассказывает о посещениях театра, крайне редко — о чтении книг и ни разу о собственном творчестве. Кажется, в 1787 году Фонвизин заканчивает свою писательскую карьеру и прекращает печататься. Между тем в изданном его старым приятелем Н. И. Новиковым в том же 1787 году сборнике «Распускающийся цветок, или Собрание разных сочинений и переводов, издаваемых питомцами учрежденного при Императорском Московском университете Вольного благородного общества» увидела свет фонвизинская басня «Лисица-казнодей». Это короткое и изящное сочинение представлено издателями как образцовая басня, начинает ряд помещенных в журнале стихотворений басенного жанра и сопровождается характерным комментарием: «Издатели „Распускающегося цветка“ изъявляют сим признательность свою к славному Стихотворцу, известному свету многими своими громкими сочинениями, который доставил им сию басню для поощрения их к дальнейшему получению вкуса в свободных науках». В 1761 году юный «студент» Московского университета Денис Фонвизин дебютирует со своим переводом басен известного всей Европе Хольберга, а через 26 лет получивший европейскую признательность знаменитый русский писатель и, к слову сказать, родной брат директора университета Павла Ивановича Фонвизина Денис Иванович Фонвизин любезно соглашается преподать новому поколению университетских «питомцев» урок правильного баснеписания. В самом деле, в 1780-е годы Фонвизин известен всем любителям отечественной литературы, а личное с ним знакомство становится мечтой любого молодого литератора: еще в 1780 году 22-летний Михаил Никитич Муравьев, знаменитый в будущем поэт и переводчик, назвал разговор с Фонвизиным в Музыкальном клубе «удовольствием для моего тщеславия». Правда, в 1787 году опытный поэт Фонвизин не в первый уже раз скрывает свое имя, равно как и то обстоятельство, что его стихотворение является переводом одноименной прозаической басни современного ему немецкого поэта Кристиана Шубарта.

Делая, как это принято у баснописцев, героями своего сочинения диких и домашних животных, повествуя о печальном происшествии, случившемся в отдаленном ливийском лесу и вызвавшем у его обитателей самую разную, но непременно бурную реакцию, Фонвизин в какой уже раз обращается к своей любимой и давно им разрабатываемой «скотской» теме. В вышеупомянутом «большом лесу» умер «лев, звериный царь», и «со всех сторон» на его пышные похороны «стекаются скоты». Придворная проповедница лисица забирается на кафедру и

громким голосом прославляет добродетели покойного владыки, восхищается его кротостью, мудростью, приверженностью идеям гуманизма и справедливости, а также бесконечным «скотолюбием». Многочисленная аудитория молча внимает вопящему оратору, и лишь незаметный крот с негодованием, но тихим шепотом объявляет собаке, что все сказанное лисицей — есть «лесть подлейшая». Он «знал льва коротко» и может рассказать о «похвальном правлении» «мудрого царя»: оказывается, покойник «был пресущим скотом», злым и глупым тираном, окружившим себя несправедливыми «любимцами и вельможами». Лисица утверждает, что лев был «своим рабам отец» и опорой его трона являлось беспримерное «скотолюбие», однако всем известно, что «трон кроткого царя, достойна алтарей, был сплочен из костей растерзанных зверей», что «благоразумный слон» почел за лучшее оставить лес и «сокрыться» в степи, «домостроитель бобр» лес не покинул и в наказание за свое легкомыслие «от пошлин разорился», а придворный художник, честный и трудолюбивый «пифик слабоум» (слабоумная обезьяна), «с тоски и голоду третьего дня издох». Возможно ли, зная все это, прославлять тирана и «столь явно и нахально» «сплетать ложь»? — заканчивает свое пространное выступление недоумевающий крот. Собаке же, живущей «меж людей», поступок лисицы странным не кажется; для мира, который она изучила, совершенно естественно, «что низка тварь корысть всему предпочитает» и «что знатному скоту льстят подлые скоты». Люди, какими их знает мизантроп Фонвизин, часто бывают б*о*льшими зверями, чем сами звери.

На вопрос же, почему лисица-казнодей прославляет мертвого и неопасного, а не живого и всесильного льва, исследователи творчества Фонвизина единственно верного ответа не имеют, полагают, что своим появлением басня обязана смерти кого-то из российских монархов, и уже не одно столетие пытаются понять, о чьем погребении здесь идет речь. Высказывались как аргументированные предположения, что басня «Лисица-казнодей» была создана в начале 1760-х годов и посвящена кончине Елизаветы Петровны или даже Петра III, так и совершенно абсурдное — что в 1787 году Фонвизин называет мертвым львом умершего в 1791 году Потемкина. Однако наиболее убедительными кажутся аргументы ученых, полагающих, что эта басня была написана незадолго до публикации и к смерти того или иного российского монарха не имеет ни малейшего отношения. Не содержит она намеков и на здравствующую ныне императрицу: из напечатанного на обороте титульного листа издания «Одобрения» следует, что «Красноречия Профессор и

Цензор печатаемых в Университетской Типографии книг» Антон Алексеевич Барсов не увидел в сборнике, включающем фонвизинскую басню, «ничего противного наставлению», данного ему «о рассматривании печатаемых в Университетской Типографии книг», и счел возможным допустить его к печати.

Иначе сложилась судьба другого творения Фонвизина, журнала «Друг честных людей, или Стародум». После бессмысленной и скучной осени 1787 года энергичному автору удается найти занятие, способное удовлетворить его потребность «упражняться в писании», и в самом начале 1788 года Фонвизин официально объявляет о намерении приступить к изданию нового «периодического сочинения, посвященного истине». По его собственному признанию, тяжелая болезнь не позволяет «сочинителю „Недоросля“» сконцентрироваться на создании большого, требующего «непрерывного внимания и рассуждения» «театрального сочинения», и наиболее приемлемым для него «родом сочинений» он называет состоящее из «разных материй» «периодическое творение». Развивая успех «Недоросля», Фонвизин намеревается ограничиться публикацией переписки хорошо известных отечественному читателю персонажей знаменитой комедии: Стародума, чьи сценические разговоры «публика и доныне с удовольствием слушает», Софьи, продолжающей получать советы от своего добродетельного дядюшки, и Скотинина, который «от роду ничего не читывал», но, как выясняется, письма составляет с большим мастерством. Из названия журнала и первого, датированного январем 1788 года письма «сочинителя „Недоросля“» следует, что центральной фигурой задуманного издания станет Стародум, «особе» которого автор «одолжен» «за успех комедии» и чьи напечатанные в журнале мысли «своею важностью и нравоучением, без сомнения, российским читателям будут нравиться».

По всей видимости, за последние пять лет в жизни этого почтенного и материально обеспеченного человека ничего достойного внимания публики не произошло; известно только, что после событий, описанных в пьесе, он поселился в Москве, где и предался своему любимому занятию — провозглашению «полезных истин». Зато судьба его племянницы Софьи изменилась самым решительным образом: из ее письма Стародуму следует, что выйдя «сколько по склонности, столько и следуя его воле» за Милона и проведя «несколько времени» «жизнь преблагополучную», она перебралась в Петербург и тотчас же «узнала прямое несчастье». Обожаемый ею муж встретил «презрительную женщину, каковые наполняют здешние вольные маскарады», и угодил в ее «сети». Подобно безжалостной Медее,

Софья Милонова мечтает о мести, но будучи женщиной просвещенной и европейски образованной, просит у добродетельного дядюшки мудрого совета, как ей поступить в создавшейся ситуации. Горе иного сорта постигло бывшего и незадачливого претендента на руку Софьи — Тараса Скотинина. В письме сестре, госпоже Простаковой, известный свинолюб и мизантроп рассказывает, с каким достоинством принимала смерть его любимая свинья Аксинья и как это скорбное событие переменило его собственный «нрав». Потеряв интерес к свиньям, среди которых не осталось ни одной, способной сравниться с его покойной любимицей, Скотинин пожелал найти себе новое занятие и, недолго думая, решил «прилепиться к нравоучению, то есть исправлять нравы крепостных людей и крестьян». Правда, оставаясь настоящим Скотининым, не видя проку в словах и чувствуя «всегдашнюю склонность» «к строгости», он намеревается исправлять нравы «своим манером», то есть березой, и, как и в начале комедии, любезно предлагает свои услуги так и не утратившей власти над крепостными крестьянами сестре. Оба эти послания стали известны широкой читательской аудитории (приступая к изданию журнала, Фонвизин рассчитывал на 750 подписчиков и в конце концов своего добился) благодаря стараниям Стародума, обещавшего снабжать «сочинителя „Недоросля“» письмами со своими ответами. Несмотря на разъяснение Стародума, что он отправляет *полученные им* письма, не очень понятно, каким образом этот почтенный человек сделался обладателем адресованного вовсе не ему письма Скотинина, и вправе ли был Стародум предавать огласке обстоятельства частной жизни своей племянницы (и того же Скотинина). Разумеется, нарушая «тайну переписки» своих героев, Фонвизин лишь использует распространенный в литературе прием, но в данном случае поступок добродетельного Стародума идет вразрез с правилами поведения воспитанного российского дворянина, каким его видит «сочинитель „Недоросля“». Ведь в первом же действии знаменитой комедии «Недоросль» благородный Правдин отказывается выполнить просьбу Простаковой прочитать вслух письмо Стародума Софье. «Извините меня, сударыня! Я никогда не читаю писем без позволения тех, к кому они писаны», — вежливо, но твердо объявляет он грубой и невоспитанной хозяйке дома. В «Друге честных людей» подобная щепетильность лучших представителей благородного сословия оказывается неуместной и только мешает создателю нового журнала реализовать свои творческие планы.

Кроме переписки Стародума с хорошо знакомыми публике героями «Недоросля», на страницах «Друга честных людей»

должны были появиться эпистолярные творения нового персонажа, соседа Стародума дединовского помещика Дурыкина. Этот отец семейства, по обыкновению с говорящей фамилией, просит умного и имеющего связи московского знакомого «сделать милость посмотреть из университетских студентов» учителя для его детей. Свою просьбу почтительный, но твердый Дурыкин сопровождает перечнем требований к возможным кандидатам: «1. Учитель должен быть из русских, уметь по-французскому, по-немецкому, сочинять стихи, сколько потребно для домашнего обихода. Не худо, чтобы он знал арифметику. 2. На год дам ему двести рублей, а он должен учить детей моих со всею кротостию. 3. Жить он будет у меня в доме, обедать с камердинером. 4. А как я по милости Божией имею чин генеральский, будучи отставлен действительным тайным советником, то я именно требую, чтоб он в разговорах со мною и с женою давал нам чаще титул Превосходительства. 5. При гостях в наше присутствие он садиться не должен. 6. С мадамою Лудо (которую они с генеральшей „переманили от соседа“ и которая принадлежит „неизвестно какой нации“. — *М. Л.)* отнюдь не амуриться, дабы не подать худого примера жене моей, а потом и дочерям. 7. При мне и при жене моей ни шляпы, ни колпака отнюдь не надевать, но из человеколюбия в зимнее время дозволяю накрыться, и то когда метель большая… 10. Он должен исполнять все сие условие под опасением в противном случае быть выгнату по шее из дому, ибо я признаюсь, что нрав у меня бешеный, да и будучи в генеральском чине, может быть, не смогу воздержать себя противу студента, в службе моей находящегося, хотя бы он и офицерскаго был чина».

Из полюбившегося ему «Недоросля» Дурыкин понял совсем немного: что, нанимая немца, он рискует натолкнуться на Вральмана и что его просвещенному соседу Стародуму можно поручить поиски подходящей кандидатуры. Так, по мнению прославленного автора, его комедии воспринимают безнадежные дураки, «дослужившиеся до титула Превосходительства» и пополнившие перечень описанных Фонвизиным высокопоставленных уродов. Правда, как и некоторые прочие фонвизинские уроды, самодовольный Дурыкин оказался не природным русским, а переименованным европейцем: по наблюдению исследователей, в основу переписки Стародума с дединовским помещиком и университетским профессором была положена переписка некоего безымянного дворянина с университетским же профессором, сочиненная известным немецким сатириком, «немецким Свифтом» Готлибом Вильгельмом Рабенером (1714–1771).

Добрый Стародум спешит удовлетворить просьбы всех своих корреспондентов. Любимой племяннице дает разумный совет оставить планы мщения, пристыдить мужа своей склонностью к добродетели и тем заставить его одуматься и просить прощения. Глуповатому же и высокомерному соседу предлагает на выбор целую партию очень непохожих друг на друга учителей, по его просьбе специально отобранных неким университетским профессором. Среди них филолог, философ, а возможно и мартинист Срамченко, который хоть и «живет по духу, а не по плоти», но «просит в год не меньше трехсот рублей» и считает для себя обидным «причесывать ребятам волосы» и «надзирать» над хозяйским париком; безымянный «молодой человек 22 лет», который «поучен изрядно», но «жрет без милосердия»; господин Караксин, который «знает по-гречески, по-еврейски, но не знает по-русски», что для получения генеральского чина не так и важно; пиита Цезуркин, который «шутит так умно, что в доме дурака не надо»; и «щеголеватый» студент Красоткин, который умеет причесывать детям волосы, «выводить из платья пятна и вырезывать из бумаги разные фигуры», но безмерно женолюбив, уже «повернул голову» профессорской жене и наверняка заведет шашни с мадам Лудо, а то и с самой генеральшей. Дурыкину все они кажутся «ребятами, достойными быть учителями у детей благородных» и, боясь «выбрать одного без обиды другому», он просит рекомендовавшего их «университетского профессора» созвать «всех сих» «к себе в дом и сделать род аукциона: кто возьмет меньше», того разумный Дурыкин и примет к себе в дом на ближайшие шесть лет.

Не ограничиваясь «сообщением» «сочинителю „Недоросля“» писем своих родственников и знакомых, просвещенный Стародум предлагает для публикации в журнале, «посвященном истине», «попавшие ему в руки» «ходящие здесь рукописные два сочинения»: первое, «идея» которого «совсем новая», называется «Всеобщая Придворная Грамматика», второе, которое «обнаруживает бездельнические способы к угнетению бедных и беспомощных», — «Письмо Взяткина к покойному Его Превосходительству с ответом». В созданной «вскоре после всеобщего потопа» и найденной в Азии, «где, как сказывают, был первый Царь и первый Двор», «Всеобщей Придворной Грамматике» разрабатывается любимая Стародумом тема непостижимого для разума честного человека устройства придворной жизни. В комедии «Недоросль» мудрый резонер использует два способа ее описания: посредством остроумных аналогий и через прямое перечисление неких четко обозначенных пунктов. Например, в начале 3-го действия комедии Стародум

рассказывает Правдину, что после отставки «слепой случай завел» его в «такую сторону», о которой ему «от роду и в голову не приходило» — к императорскому двору. На вопрос не знакомого с придворной жизнью чиновника, как ему «эта сторона показалась», Стародум отвечает, что «в этой стороне по большой прямой дороге никто почти не ездит», дорога же эта «такова просторна, что двое, встретясь, разойтись не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на земи». После этого друг честных людей прекращает тонкую словесную игру (в «стороне», где он вдруг оказался, как и во всех странах, существуют дороги, и на этих дорогах сталкиваются придворные себялюбцы), проводит что-то вроде научного анализа и рассказывает Правдину о «двух манерах», которыми «от двора выживают».

Пестрит цифрами и полюбившаяся Стародуму «Всеобщая Придворная Грамматика», «наука хитро льстить языком и пером»: оказывается, «подлые души» разделяются на шесть родов, каждый из которых описывается скрупулезно и тщательно, а гласных бывает «три, четыре, редко пять». Предлагая свою сатирическую классификацию придворно-грамматических категорий, хорошо знакомый с жизнью российского двора «лингвист» и бывший секретарь Елагина и Панина утверждает, что «обыкновенные слова бывают *односложные, двусложные, троесложные* и *многосложные.* Односложные: *так, князь, раб*; двусложные: *силен, случай, упал;* троесложные: *милостив, жаловать, угождать* и, наконец, многосложные: *Высокопревосходительство».* Двор же составляют люди «гласные», то есть «сильные вельможи, кои по большей части самым простым звуком чрез одно отверстие рта производят уже в безгласных то действие, какое им угодно», «безгласные», которые «сами собою, без помощи других букв никакого звука не производят», и «полугласные, или полубояре», которые «уже вышли из безгласных, но не попали еще в гласные». Придворное число «значит счет» и указывает, «за сколько подлостей сколько милостей достать должно» или «сколькими полугласными и безгласными можно свалить одного гласного, или же иногда, сколько один гласный, чтоб устоять в гласных, должен повалить полугласных и безгласных»; «придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости».

Рассуждая о категории «придворного рода», осторожный Фонвизин, на страницах своего журнала на все лады расхваливающий добродетели императрицы Екатерины II, заявляет, что различие «между душою мужескою и женскою» «от пола не зависит, ибо у двора иногда женщина стоит мужчины, а иной мужчина хуже бабы». Однако, несмотря на многочисленные

комплименты царствующей особе, «Всеобщая Придворная Грамматика» (равно как и прочие составляющие журнал сочинения) выглядит произведением, по словам Екатерины, сказанным ею по поводу фонвизинских «Вопросов к сочинителю „Былей и небылиц“», «рожденной от свободоязычия, которого предки наши не имели». В самом деле, может ли истинно верноподданный писатель утверждать, что «люди заслуженные, но беспомощные» в «разговорах с большими господами» «употребляют по большей части» глаголы в форме прошедшего времени: «я служил» и «я изранен» (что, правда, глаголом не является), а в ответ слышат глаголы, употребленные исключительно в форме будущего времени: «посмотрю, доложу и т. д.»? О ненавистном придворном укладе фрондирующий литератор и верный последователь братьев Паниных пишет и в трактатах, и в баснях, и в повестях, и в комедиях, а теперь еще и в сатирической «философской грамматике», построенной, кстати сказать, в хорошо знакомой российскому читателю сочинений на самые разные научные темы форме вопросов и ответов (один из многочисленных примеров таких книг — изданная в России в 1766 году «Краткая всеобщая история г-на Ла Кроца», где на вопрос «что есть история?» следует ответ: «История есть описание случившихся в свете приключений», а на вопрос «какие два государя обратили на себя внимание Европы в начале сего века?» — «Петр Великий, император Всероссийский, и Карл XII, король Швецский»).

В другом обнародованном «сочинителем „Недоросля“» рукописном творении — переписке надворного советника Взяткина со своим покровителем — потерявший страх и честь «лихоимец» Его Превосходительство*** самым бессовестным образом цитирует самого Стародума. «Тут увидел я, что между людьми случайными и людьми почтенными бывает иногда неизмеримая разница, что в большом свете водятся премелкие души и что с великим просвещением можно быть великому скареду», — заканчивает Стародум свой пространный рассказ ученику и стороннику Правдину о недолгой дружбе с «недостойным звания дворянина» «молодым графом»; «истинно, мой достойный приятель, жалко видеть, как в большом свете души мелки и робки», — завершает свой рассказ ученику и последователю Артемону Взяткину бессовестный казнокрад и мздоимец Его Превосходительство***. Оказывается, когда-то, еще «будучи в малых чинах», он, как и его почтительный корреспондент Взяткин, нередко получал за свои плутни «шлепки по роже», зато сейчас Его Превосходительство*** достиг таких высот, что никто не смеет его «в очи избранить, не только

заушить». Как и отец отвратительного Стародуму «молодого графа», Его Превосходительство*** — человек не почтенный, а случайный, «слепым случаем произведенный в большой чин и посаженный знатным судьею». Естественно, его неоригинальное суждение о большом свете и обитающих в нем мелких душах выдает в важном чиновнике не справедливого критика общественных нравов, а существо самодовольное, бесчестное и пустое (из чистосердечно-разоблачительного обращения Взяткина следует, что в большие господа его кумир был произведен «из ничего, по единой божеской благости… по единой милости создателя, из ничего всю вселенную создавшего»). Переписка же Его Превосходительства*** со способным подражателем и «коммерческим партнером» носит вполне деловой характер: смышленый проходимец Взяткин просит своего опытного и могущественного покровителя за специально оговоренное вознаграждение позаботиться о перечисленных поименно коллегах — ворах и мошенниках и обеспечить им победу во вверенном Его Превосходительству*** суде. Ко всем им старый мздоимец испытывает глубокую симпатию и с удовольствием соглашается оказать просителю и посреднику Взяткину свою помощь. Ведущему «межевое дело» с «разными беззаступными помещиками», но не имеющему ни прав, ни необходимых документов «бывшему воеводскому товарищу Антропу Шильникову» обещает за другие «пятьсот документов» обеспечить победу в процессе, правда, разъясняет при этом, что предназначенные для Его Превосходительства*** «документы» не смогут убедить секретаря суда, и потому требует для своего подельника «по крайней мере новую сотню документов»; своему старинному приятелю асессору Ворову — за 500 рублей обещает найти тихое место «в дальних наместничествах», купцу Плутягину за 500 же рублей — посадить в тюрьму приехавшую жаловаться «вдову штаб-офицершу Беднякову» и держать ее там до тех пор, пока она не согласится, «не заезжая никуда, отправиться восвояси», советнику Криводушину — за полторы тысячи рублей написать «сильное рекомендательное письмецо», «дабы он употреблен был при рекрутских наборах», а не послушавшемуся совета Его Превосходительства***, повинившемуся во время допроса и «за весьма малое до казны прикосновение» отставленному от места асессору Простофилину — за неопределенную сумму приискать новую должность. «Теперь-то пришло время благополучия нашего, — восклицает торжествующий Взяткин, — истцы и ответчики, правые и виноватые, богатые и *убозии* (как настоящий ханжа он постоянно жонглирует славянскими словечками и изо всех сил старается

выглядеть благочестивым. — *М. Л.),* все в руце Вашего Превосходительства» и прилагает к своему «реестрецу» «для напоминания всеуниженнейшей просьбы» сторублевую ассигнацию. Однако на просьбы надворного советника Взяткина касательно и его самого, и его многообещающего сына, получившего достойное воспитание проходимца Митюшки «второй отец» откликаться не желает.

По поводу начатого «нелицемерным приятелем» Взяткиным «дела о бесчестии и увечье по поводу данной ему, всенижайшему, сильной пощечины от его высокоблагородия господина майора Неспускалова» донельзя самодовольный Его Превосходительство*** пишет хвастливое «рекомендательное письмецо» самому Взяткину, а не ожидаемую побитым прохвостом «рекомендацию к здешнему начальству». Моление же Взяткина-старшего «перетащить» их с сыном из Москвы в Петербург и помочь этим достойным и чрезвычайно полезным важному «боярину» людям продвинуться по службе всевластный вор и вовсе оставляет без внимания. Надо понимать, что Взяткин оказался «отриновен от благодати» всевластного вельможи лишь потому, что расторопный порученец нужен Его Превосходительству*** не в Петербурге, а в Москве.

Некоторые свои ответы «друг бесчестных людей» Его Превосходительство*** заканчивает утешительными для отечественных жуликов всех мастей уверениями: «Пока я боярин, он, Воров, и вся его родня будут вести житие благоденственное». Или: «Пока я боярин, по тех пор для всех Бедняковых Петербург будет тюрьма, а тюрьма Петербург». Однако к моменту публикации переписки двух казнокрадов угрозы для процветающей России они уже не представляют: в этой стране лихоимцы и воры постепенно вымирают, и их отвратительные поступки становятся известны всем честным людям империи. Больше того, Стародум не указывает, кто и с какой целью разбирает бумаги покойного Взяткина, и проницательный читатель имеет основание задаться вопросами: уж не производился ли в доме беспечного взяточника обыск, уж не следил ли за его плутнями добродетельный чиновник Правдин, уж не находился ли он под следствием? С другой стороны, замысел Фонвизина мог оказаться совершенно иным: возможно (и даже скорее всего), он намеревался показать, что в нынешнюю эпоху чиновные корыстолюбцы блаженствуют и спокойно умирают уважаемыми господами — не случайно фонвизинская статья имеет название «Письмо, найденное по блаженной кончине надворного советника Взяткина к покойному Его Превосходительству***» и о расследовании деятельности этой

пары в ней не говорится ни слова. Продажный судья называется здесь «покойным Его Превосходительством***», а «кончина» Взяткина — «блаженной». Если на уверение госпожи Простаковой, что «придет час воли Божией», недоросль Митрофан отвечает знаменитым изречением: «Час воли моей пришел» — и оказывается не прав, то схожее по форме заявление Ворова: «Пришло время благополучия нашего» — целиком и полностью отражает положение дел в несчастном отечестве. Знаменитое «час воли Божией», которое в письме Фонвизину от 6 апреля 1771 года Сумароков называл «той же магометанской предестинацией (учением о предопределении. — *М. Л.)»,* отрицательные герои переделывают на свой лад.

Как бы то ни было, в своих письмах и Взяткин, и Его Превосходительство*** не лицемерят и высказываются о своих намерениях весьма откровенно. Другой, не менее искренний судья — Сорванцов разоблачает себя в так называемом «Разговоре у княгини Халдиной». Из письма Стародума «сочинителю „Недоросля“» следует, что посетивший его приятель, носящий характерное имя Здравомысл (по наблюдению А. С. Пушкина, этот герой «напоминает Правдина и Стародума, хотя в нем и менее педантства»), за день до этого стал свидетелем прелюбопытной беседы глупой княгини Халдиной с образцовым, на ее взгляд, дворянином Сорванцовым и пересказал ее своему почтенному другу. Стародум сделал из рассказа Здравомысла сцену из комедии и отправил ее для публикации в «периодическом творении».

Превращение описания разговора в сценический диалог выглядит необоснованным, но легко объясняется: ведь письмо Стародума представляет собой фрагмент незаконченной комедии Фонвизина, дошедшей до нас под названием «Добрый наставник». В первом явлении первого действия этой пьесы некая не названная по имени княгиня обсуждает со своей служанкой полюбившегося ей князя Честона, ненавистного ей «почтенного старичка» господина Праводума, своего брата — «мужика бешенного» господина Прямикова и симпатичного ей унтер-офицера Дурашкина, жениха племянницы княгини. Накануне вечером трижды вступавшая в брак, по этой причине утратившая право на новое замужество, но вновь влюбленная княгиня посетила родную тетушку Дурашкина, генеральшу Халдину, просидела там до «двух часов за полночь» и, не сумев вызвать у Честона ответного чувства, была «принуждена оставить князя тут за картами» (в том, что честный человек может быть игроком, большой любитель карточной игры Фонвизин не сомневается ни секунды). Во втором явлении на сцене появляется вчерашний

карточный противник Честона Сорванцов, и его разговор с княгиней совпадает с началом сцены, записанной Стародумом для журнала «Друг честных людей» (с той разницей, что в журнальном варианте княгиней становится названная раньше генеральшей Халдина). Молодой повеса рассказывает наряжающейся в его присутствии собеседнице «коротехонькую» историю своей жизни. Оказывается, свои первые 18 лет Сорванцов «служил отечеству гвардии унтер-офицером», «сидя дома» и никаким наукам не обучаясь, затем неизвестно каким образом (по его воспоминаниям, «покойник батюшка и покойница матушка» писали письма и делали подарки некой петербургской «секретаря тетке») он «очутился в отставке капитаном», после смерти родителей Сорванцов стал наследником трех тысяч душ и поселился в Москве. Но вскоре на его непутевую голову обрушились несчастья одно страшнее другого: сначала московский мот и щеголь проиграл в карты половину своего имения, а затем, когда взявшийся за ум Сорванцов «вошел в коммерцию, стал продавать людей на службу отечеству», «чтоб сделать себе в Москве некоторую репутацию», «стал покупать бегунов», и его «ямской цуг был по Москве из первых», из вышеназванного «цуга выпрягли четверню и велели ездить парой».

В соответствии с императорским манифестом «О экипажах и ливреях, какие разных классов чиновникам дозволяется иметь», количество запряженных в экипаж лошадей ставилось в прямую зависимость от общественного положения его владельца: особы первых двух классов получали право «ездить шестью лошадями и с двумя верьшниками», третьего, четвертого и пятого классов — «шестернею без верьшников», шестого, седьмого и восьмого — «четвернею без верьшников», а обер-офицерам, к числу которых относился несчастный Сорванцов, дозволялось «ездить по городам в каретах и в санях парою без верьшников». О стремлении недостойных своего звания российских дворян любой ценой удовлетворить свое «любочестие» Фонвизин писал и раньше: оправдываясь в 1783 году перед «сочинителем „Былей и небылиц“» за свои неосторожные вопросы, он, между прочим, заявляет: «Я видел множество таких, которые служат или паче занимают места в службе для того только, что ездят на паре. Я видел множество других, которые пошли тотчас в отставку, как скоро добились права впрягать четверню». Запросы отставного капитана Сорванцова (в черновике комедии однажды ошибочно — ошибочно, потому что в рукописи это слово зачеркнуто — названного графом) выглядят куда внушительнее: не желая терпеть крайнее унижение, он «решился или умереть, или по-

прежнему ездить шестеркой». С этой целью честолюбивый господин отправился в Петербург и сделал там блестящую карьеру: через полтора месяца его «преобразили» в надворные советники, а менее чем через год «перебросили» в коллежские. Теперь, «сделавшись судьей», Сорванцов спит во время заседаний и находится «накануне быть» статским советником, получив вожделенный чин, собирается выйти в отставку, отправиться в Москву и, пользуясь законным правом, «первые визиты сделать шестернею». «О если бы все дворяне мыслили так благородно, и лошадям было бы гораздо легче», — подытоживает его рассказ восторженная княгиня и тем заканчивает отрывок комедии «Добрый наставник».

По наблюдению Стародума, императорский указ, направленный против «день ото дня умножающейся» роскоши, можно обойти легко и быстро, благо надворный советник Взяткин имеет связи и готов предложить любому желающему свое посредничество. Правда, в начале 1788 года Взяткина уже нет на свете, его обнародованная переписка с «милостивым покровителем» происходила в 1777 году и, судя по всему, помочь страждущему Сорванцову он не имеет никакой возможности. Но ведь и «узаконение» «О экипажах», в течение нескольких лет после выхода которого благородный дворянин Сорванцов из отставного капитана превратился в статского советника, датировано 3 апреля 1775 года. Выходит, Взяткин устраивал судьбы своих компаньонов, а Сорванцов покупал чины в один и тот же 1777 год, и, следовательно, по мнению Фонвизина, расцвет мздоимства и взяточничества в екатерининской России пришелся на середину — вторую половину 1770-х годов, по официальному мнению, эпоху спокойствия, процветания и активной реформаторской деятельности императрицы (в 1775 году Ипполит Богданович писал об этом времени как о периоде «некоторого особого благополучия и спокойствия», «когда внешняя война престала, когда внутренние бунты и раздоры разрушены, когда утомленные ими народы отдыхают в недрах спокойствия и милосердия, когда изобилие, науки и художествы вновь обостряются и музам отверзается пространное поле, воспев победоносную государыню, прославить мир, тишину и блаженство ее подданных»). Другое дело, что о своем намерении «быть статским» *в самом ближайшем будущем* Сорванцов говорит в феврале 1788 года, через 13 лет после выхода манифеста, и тем самым приводит внимательного читателя в крайнее недоумение. Причем делает это не в первый раз: но если в «Недоросле» в рассказе Стародума об истории своей жизни путаница возникает из-за недостатка дат, то в «Друге честных людей» — из-за их

явного избытка.

В журнальном варианте разговор Сорванцова с княгиней Халдиной имеет продолжение, из которого следует, что честолюбивый и, казалось бы, достойный порицания судья наделен живым умом, не лишенным благородства сердцем и острым языком. К веселым собеседникам присоединяется давно и по недоразумению дожидающийся в соседней с уборной хозяйки дома комнате (кто мог предположить, что княгиня «при мужчинах любит одеваться»?) и оттуда услышавший вышеописанный рассказ Здравомысл (восхищавшийся этим фонвизинским творением Пушкин видел в необычной привычке московской аристократки примету старого времени). В разговоре со Здравомыслом Сорванцов зло и беспощадно отзывается о полученном им воспитании, которое, по его словам, было заменено *питанием,* об образовании, которое ему и детям его внучатой тетушки дал приехавший из Америки Шевалье Какаду — «француз пустоголовый, из побродяг самая негодница», и о той самой тетушке, которая «выдавала себя в свете за чадолюбивую мать и верную супругу, за добрую хозяйку и за набожную женщину» и которая «никакой слабости женщинам не прощает», хотя ее младший сын «как две капли походит на шевалье Какаду».

К счастью, в Москве прошедший испытания «первой молодости» Сорванцов знакомится с неким просвещенным и воспитанным молодым человеком, который, по его словам, «приучил меня к чтению книг и открыл мне, в каком невежестве я пресмыкаюсь». В результате Сорванцов перестает соответствовать своей фамилии и решительно объявляет, что «хотел бы сию минуту пойти учеником в тот университет, где мог бы сделаться годным к службе и откуда вышед, знал бы я, что получу место не то, где есть только вакансия, но то, для которого я учился и к которому способен». А все потому, полагает «исправленный» Сорванцов, что «без просвещения человек есть сожаления достойная тварь» (в «Недоросле» же Стародум почти в тех же самых выражениях заявляет, что без души «просвещеннейшая умница жалкая тварь»). Примерно такая же «тварь», как тетушка Сорванцова госпожа Лицемера и его старинная приятельница княгиня Халдина (халда — значит грубая и неряшливая женщина). В отличие от этого героя, ни одна из них не способна на «перемену мыслей» и о раскаянии даже не помышляет.

Зато «автор» последнего журнального «творения», поучающий своего племянника дядя, время от времени меняет жизненную «систему» и в конечном итоге возвращается на стезю добродетели. В самом начале своего наставления престарелый мздоимец заявляет о намерении предостеречь неопытного

родственника от вредного влияния философов, которые «написали многие стопы бумаги о науке жить счастливо, но видно, что они прямого пути к счастию не знали, ибо сами жили почти в бедности, то есть несчастно». Кроме философов-бессребреников, в мире существуют «нравоучительные врали» (Фонвизин их встречал во Франции в том же неоднократно упоминаемом в журнале 1777 году), которые, зная верный «способ достичь до счастья», «нажили великие богатства» и своим ложным учением вводят доверчивых людей в заблуждение. Отец героя был «нравоучителем» искренним и, умирая, завещал сыну стать «добросердечным, благотворительным и трудолюбивым». Следуя совету своего честного родителя, тогда еще добродетельный дядя впал в крайнюю бедность и нажил себе множество сильных врагов. Едва избежав «челюстей смерти» и «увидев неразумие своей системы», «прозревший» герой с обычной для таких случаев легкостью бросился в другую крайность и начал «делать совсем противное тому, что прежде делал». Имея, подобно юному Фонвизину, «склонность к сатире», «богатомыслящий» дядя отложил в сторону свое пугавшее многих вельмож перо, принялся осыпать начальников «льстивыми похвалами», стал доверенным лицом «знатного невежды, который прежде был его гонителем», женился на содержанке «одного любимца знатного господина» и вскоре достиг высоких степеней. Жизнь показала, что «пути к богатству, то есть к счастию, гораздо короче и глаже, нежели как болтают о том вышеназванные нравоучающие врали» и его легко достичь ценой «унижения души».

Однако, «приближаясь к концу» и став свидетелем жалкой смерти своего друга Ворова (уж не того ли асессора, которому в свое время помогал Его Превосходительство***?), дядя начинает «чувствовать глас совести» и дает племяннику те же (правда, сформулированные с небольшими оговорками) наставления, какие он очень давно получил от умирающего отца: «…будь чистосердечен, но знай, что не всегда и всякую истину говорить надобно; будь благотворитель, но не расстраивай своего состояния; будь трудолюбив и прилепляйся к учению, но не возмечтай о своей мудрости». Получается, нераскаявшиеся негодяи, Взяткин и Воров, умирают, и смерть их не вызывает у окружающих иных чувств, кроме «удовольствия, смешанного с презрением к покойнику»; сбившиеся же с пути добродетели Сорванцов и «автор» «Наставления дяди к своему племяннику» находят в себе силы стать честными людьми и продолжают жить и здравствовать (по крайней мере, в журнале об упокоении раскаявшегося дяди не сказано ни слова). Возможно, на самом

деле кончина Взяткина была вовсе не «блаженной», а столь же лютой, что и смерть Ворова, и оба они «в постеле своей терзалися душевно гораздо сильнее, нежели иной вор страждет на площади». А значит, блаженствующие при жизни и избежавшие земного суда грешники обречены «умирать мучительно», и сто раз прав раздавленный судьбой Советник, в свое время объявивший «смотрителям» «Бригадира», что «жить без совести всего на свете хуже».

Среди помещенных в фонвизинском журнале посланий особняком стоит письмо Стародума, в котором московский мыслитель размышляет о причинах столь «малого числа» отечественных ораторов. Услышав спор двух молодых и плохо воспитанных литераторов, из которых один «весьма язвительно шпынял над творениями первых наших писателей», а другой доказывал, что «Россия имеет ораторов, над которыми шутить не позволяется», он принялся думать «о сей беседе» и пришел к выводу, что «истинная причина малого числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться». Перечисляя лучших российских казнодеев, способных сравняться со знаменитыми европейскими витиями, архиепископом Кентерберийским Джоном Тиллотсоном и иезуитом при дворе Людовика XIV Луи Бурдалу, Стародум называет не только проповедников духовного звания, но и старого знакомого Фонвизина, его бывшего «командира» — Ивана Перфильевича Елагина («преосвященные наши митрополиты: Гавриил, Самуил, Платон, суть наши Тиллотсоны и Бурдалу, а разные мнения и голоса Елагина, составленные по долгу звания его, довольно доказывают, какого рода и силы было бы российское витийство, если б имели мы где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих»). А чуть выше Стародум заявляет, что живи Елагин в Афинах или Риме, он бы непременно стал Демосфеном и Цицероном. Давно расставшись со своим не самым любимым начальником, Фонвизин продолжает ценить его таланты и отзывается о нем чрезвычайно почтительно.

Итак, Фонвизин заканчивает работу над своим «периодическим сочинением»; по его замыслу, «Друг честных людей» будет выходить в течение всего 1788 года, первые четыре листа (из приготовленных двенадцати) «получить будет можно в начале мая, вторые четыре в начале сентября, а последние четыре в начале будущего года», 750 подписчиков с нетерпением ждут появления первого номера, как вдруг выясняется, что планам «сочинителя „Недоросля“» осуществиться не суждено. В письме Петру Панину, датированном 4 апреля 1788 года, Фонвизин,

кроме прочего, пишет, что «здешняя полиция воспретила печатание „Стародума“, итак, я не виноват, если он в публику не выйдет». При жизни Фонвизина «Друг честных людей» «в публику» так и «не вышел» и был напечатан лишь в 1830 году в составе собрания сочинений писателя.

Потерпев сокрушительное поражение в Петербурге, Фонвизин пытается взять реванш в Москве. Как следует из его статьи «Мнение об избрании пиес в „Московские сочинения“», написанной, по мнению некоторых исследователей, в том же 1788 году, в старой столице энергичный литератор планирует организовать литературное общество, члены которого составят редакционную коллегию журнала «Московские сочинения» и будут ежемесячно выдавать строго определенное количество литературной продукции: «по листу стихами и по листу прозою». Отбираемые для публикации и с этой целью обсуждаемые «собранием» литераторов «пиесы» должны соответствовать специально указанным критериям: «надлежать к словесным, а не иным наукам», быть «малыми» и только оригинальными сочинениями. Поэтому в журнале не будет места ни комедиям, ни трагедиям, ни переведенным с иностранных языков прозаическим и стихотворным произведениям. Особенно активно Фонвизин настаивает на оригинальности направляемых в журнал литературных сочинений, отечественные переводы вызывают у него крайнее раздражение, и о них он рассуждает дважды, в начале и в конце программы. По мнению опытного и умелого переводчика с латинского, немецкого и французского языков, среди бытующих в России переводов большая часть выполнена так плохо, что их «и сам переводчик, не говоря о читателе, разуметь не может», а «чужестранные авторы, прославленные во всем свете, теряют в отечестве нашем свою славу, и читатели заражаются дурным вкусом». Примечательно, что о принципиальном отказе печатать сочинения иностранных писателей Фонвизин заявляет и во вступлении к «Другу честных людей», а помешенные во «Мнении» филиппики едва не дословно повторяют многочисленные отзывы современников об отвратительном качестве издаваемых ныне русских переводов. Приступил ли Фонвизин к осуществлению своего плана, предпринял ли в этой связи какие-нибудь шаги, а если не приступил, то почему, остается неизвестным. Если же «Московские сочинения» были не мечтой, а серьезным замыслом, то Фонвизина вновь постигла неудача, и его сугубо литературный, предназначенный для любителей отечественной словесности журнал разделил печальную участь общественно-политического «периодического сочинения, посвященного

истине». Правда, в отличие от «Стародума», журнал «Московские сочинения» умер, так и не успев родиться.

К несчастью, та же незавидная судьба постигла и последний фонвизинский издательский проект 1788 года — собрание всех сочинений, созданных или переведенных писателем за без малого 30 лет его литературной деятельности. В мае 1788 года в «Санкт-Петербургских ведомостях» появляется информация о бесплатной раздаче «в Суконной линии в лавке № 14» объявления об издании «Полного собрания сочинений и переводов Дениса Ивановича Фон Визина в пяти томах». Из опубликованного объявления следует, что в состав предполагаемого издания войдут «Недоросль; Брегадир; Корион; Иосиф в 9 песнях; Сидней; слово похвальное Марку Аврелию; о национальном любочестии; Тагио; избранные гольберговы басни; глухой и немой; слово на выздоровление Его Императорского Высочества; Каллисфен; Лисица Казнодей; послание к Шумилову; записки первого путешествия; поучение в Духов день; примечание на критику; челобитная российской Минерве; разные письма и проч.» и что все желающие приобрести книги известного автора могут посетить указанный книжный магазин и осведомиться, на каком этапе находится подготовка издания.

До конца июня 1788 года в трех подряд номерах «Санкт-Петербургских ведомостей» печатается настоятельное предложение уважаемой публике оформить подписку на собрание сочинений и переводов одного из лучших современных отечественных писателей, однако по неизвестным нам причинам дальше деклараций о намерениях дело не пошло. Еще раз пятитомное собрание сочинений Фонвизина упоминается в книготорговой росписи, являющейся приложением к третьему, датированному 1792 годом изданию «Жития графа Никиты Ивановича Панина», но и в этот раз все заканчивается лишь упоминанием. По словам напечатавшего это жизнеописание Петра Ивановича Богдановича (дальнего родственника автора «Душеньки» Ипполита Федоровича Богдановича, известного книгоиздателя, знатока немецкого, французского и английского языков, возможного переводчика замечательного сочинения Карла Линнея «Водка в руках философа, врача и простолюдима» и издателя, а возможно, и переводчика «Похвалы глупости», в русском варианте — «Вещания глупости», Эразма Роттердамского, человека «беспокойного», не всегда законопослушного и по этой причине высланного из столицы в Полтаву), Фонвизин до самой смерти оставался его искренним другом и передал ему для публикации «все свои творения и переводы». Богдановичем были напечатаны «Послание к слугам

моим», «Бригадир», «Недоросль» и «Иосиф», однако ни при жизни, ни вскоре после смерти Фонвизина многотомное издание его трудов свет так и не увидело.

«Приближаясь к пятидесяти летам»

Несомненно, к середине 1788 года дела Фонвизина находятся в отчаянном положении: его окончательно прекращают печатать, он до крайности беден и по-прежнему тяжело болен. Предпринимая еще одну попытку вернуть здоровье, летом следующего, 1789 года Фонвизин отправляется в свое очередное путешествие, но в этот раз не покидает пределов империи и ограничивается посещением минеральных вод в Бальдоне, в Курляндии. Теперь Фонвизин путешествует без жены, чувствует себя очень нездоровым и, как следует из его дневника (названного Вяземским «журналом страдальца и по мучениям, и по самым средствам исцеления, которые он претерпевал»), время от времени пребывает «в ипохондрическом расположении духа». По дороге он встречает людей, пораженных тем же недугом, что и он, но, в отличие от предыдущих путешествий, все они кажутся ему существами страждущими, не чудесно исцелившимися и тем доказавшими, что спасение возможно, а тяжело и безнадежно больными.

Одна из первых дневниковых записей, датированная 22 июня 1789 года, рассказывает о такой встрече и задает тон всему последующему повествованию: «Проснулся довольно слаб от вчерашней индижестии. Выехали в Дерпт. Видел почт-комиссаршу, точно в одинакой со мной болезни семь лет страдающую. Почт-комиссар имеет прекрасную девушку, которая у него вместо жены хозяйничает и, как видно, все должности жены исполняет». Встреча с бедной чиновницей не пробуждает надежду, а лишь подтверждает известную Фонвизину истину, что физические и душевные страдания несчастных, переживших апоплексический удар, воистину неисчислимы. Кажется, на выздоровление Фонвизин уже не надеется и довольствуется малым, радуясь, что ему не становится еще хуже. «Проспал ночь крепко, проснулся, слава Богу, в обыкновенном состоянии моего здоровья», — пишет он 27 июня, в самом начале своей поездки.

Новое и, по обыкновению, безрезультатное лечение на водах стоит недешево, а денег у одинокого путешественника Фонвизина практически нет. Примерно через три месяца после начала своего недлинного вояжа, уже на обратном пути, Фонвизин окончательно лишается средств к существованию и, не видя выхода, приходит в отчаяние. «После обеда тосковал я, не знав,

где найти денег на прогоны… ночью спал худо от смущенных мыслей», — пишет он 18 сентября из Риги. Но уже на следующий день с удовольствием отмечает, что получил необходимую помощь от расположенного к нему тамошнего начальства: «Поутру был я у губернатора, который, приняв меня весьма дружески, вывел меня из моей заботы, ссудя меня 200-ми рублями. Пред обедом прислал он ко мне подорожную и деньги, в получении коих дал я ему простую расписку. После обеда в 5-м часу выехали мы из Риги благополучно».

Остаток пути Фонвизин проделывает, находясь в прекрасном расположении духа и встречая теплый прием у любезных и доброжелательных людей. Уже через два дня после разговора с губернатором он соглашается на предложение неких давших ему ночлег гостеприимных хозяев «пробыть у них целый завтрашний день» и своим решением остается доволен. По словам Фонвизина, «вечер провели все очень изрядно, угощены были изобильнейшим ужином. Мне отведены были три комнаты, где я ночевал очень изрядно»; на другой день, 22 сентября, любознательный путешественник становится свидетелем чрезвычайно понравившегося ему народного праздника, устроенного преисполненными «чадолюбия своим крестьянам» «хозяином и хозяйкою». 24 сентября Фонвизин прибывает в Дерпт, 27 сентября — в Нарву, а 29 сентября приезжает «в Петербург благополучно», где он, «Богу благодарение нашел… жену в желаемом состоянии». Его же собственное состояние очень далеко от желаемого: уже 1 октября Фонвизин «жестоко занемог», и с ним «сделалась тоска жестокая», а 9 октября, пережив очередной приступ, записывает ставшую для него привычной фразу: «Поутру проснулся слава Богу в обыкновенном состоянии моего здоровья». Однако утверждать, что в конце 1789-го — начале 1790 года Фонвизин чувствует себя задавленным бедностью и недугом, потерял интерес к жизни, оживает лишь иногда и прекратил бороться, было бы неверно.

Приехав в Санкт-Петербург, он пытается поправить их с женой материальное положение и приступает к продаже семейного недвижимого имущества. 16 октября Фонвизин уступает дом «жильцу нашего двора» за 20 тысяч рублей (за два дня до этого, 14 октября, покупатель уже «сторговал» дом за 18,5 тысячи рублей, но согласился заплатить на полторы тысячи больше) и, поселившись в принадлежащем двоюродным братьям жены «заднем доме», переключается на свое поместье. 18 ноября 1789 года Фонвизин узнает, что «к сей минуте» его деревню можно считать проданной и что покупатель соглашается приобрести ее вместе «с процессом», то есть несмотря на

затянувшуюся (и, между прочим, закончившуюся лишь после смерти Фонвизина) тяжбу с бароном Медемом. Однако уже 1 декабря он «уведомляется о встречающемся препятствии в продаже деревни», отчего весь вечер первого зимнего дня находится «в горестном расположении духа» и лишь 13 января следующего, 1790 года вновь «ударил по рукам о продаже деревни».

Получив деньги, Фонвизин начинает возвращать накопившиеся долги, и первым кредитором, с которым он спешит рассчитаться, становится его Теодора. Когда-то, весной 1787 года, преданная служанка оплатила услуги пользующего Фонвизина иноземного врача, а через два года, как следует из дневниковой записи от 23 ноября 1789 года, продав свои браслеты и «ссудив» обедневшего господина деньгами, помогла ему выбраться из Митавы. До конца расплатиться с добродетельной итальянкой преисполненному благодарности Фонвизину не удается и в этот раз: правда, теперь его долг составляет всего 77 рублей, «в коих, однако ж, не взяла она с меня никакого обязательства». Окружающие, будь то рижский губернатор или служанка Теодора, ни на секунду не сомневаются в честности Фонвизина, и тот чрезвычайно дорожит таким высоким о себе мнением самых разных людей, великих и малых, благородных и подлых.

Занимаясь делами, торгуясь с покупателями и составляя «ответы на неприятные письма», Фонвизин оставляет время для приятных досугов: принимает гостей, среди которых едва не чаще прочих называется почитаемый им Державин («после обеда приехал ко мне Таврило Романович Державин, Наталья Ивановна, Татьяна Калестратовна (жена А. Н. Пузыревского. — *М. Л.)* с дочерьми, и весь вечер у меня просидели», — пишет он 18 октября; «поутру был у меня Гаврила Романович и Пузыревский» — 20 октября; «был у меня Державин» — 24 октября), ездит в гости, в том числе к Державину («после обеда ездили к Державину и к Княжевичу (вероятно, к Максиму Дмитриевичу Княжевичу, в 1779 году перебравшемуся в Россию из Сербии, служившему в кавалергардах и ставшему впоследствии уфимским губернским прокурором. — *М. Л.)»* — 26 октября; «ездили к Державину, но не застали его дома» — 1 ноября), и, по-видимому, без сопровождения супруги посещает балы (точно известно, что 6 ноября он «вечеру ездил на бал»). В последние годы жизни Фонвизин напоминает себя самого без малого тридцатилетней давности, восемнадцатилетним юношей поселившегося в Петербурге и имевшего силы «везде поспеть». «8 ноября 1789 года… — пишет он в своем дневнике, — после обеда ездил я к Кавалинскому (вероятно, к правителю канцелярии Потемкина,

ученику знаменитого украинского философа Григория Сковороды, поэту и переводчику Михаилу Ивановичу Кавалинскому. — *М. Л.),* Пузыревским и к Державину», правда, «на бал к Бабарыкину» уже не поехал. К генерал-майору Петру Ивановичу Бабарыкину Фонвизин отправляется 4 декабря вместе с давно ожидаемым и наконец прибывшим в Петербург младшим братом Александром Ивановичем, а «оттуда к Пузыревским обедать. У них, — продолжает Денис Иванович, — видел брат цыганскую пляску». Сам же Фонвизин цыганские пляски видел не раз и, вероятно, был большим их любителем: из того же дневника следует, что 28 января 1790 года он ездил «на бал к Пузыревским, где нововыписанная цыганка Наталья плясала очень хорошо».

Кажется, в разбитом параличом Фонвизине вновь (в который уже раз) просыпается давно угасшая надежда на выздоровление, и время от времени он, а иногда и окружающие замечают несомненные признаки улучшения здоровья: 31 октября 1789 года «приметили все свободнейшее в локте движение», а 7 февраля 1790 года «поутру без всякого лекарства было на низе натурально, чего во всю болезнь не бывало». Несмотря на непростое «положение дел» (с которым он незамедлительно знакомит только что приехавшего брата Александра Ивановича), «препятствия в продаже деревни», «неприятные письма», денежные дела в Митаве и «бездельства» одержавшего какую-то неприятно его поразившую победу какого-то Фурсова, об «ипохондрическом расположении духа» в конце 1789-го — начале 1790 года Фонвизин больше не пишет. Он бодр и активен, в начале декабря разбирает с верным Клостерманом свою живописную коллекцию и 14 декабря отправляет графу Безбородко «портфель с 35 рисунками да 4 рисунка за стеклом в раме», 8 и 11 февраля «упражняется в выборе обоев для деревенского дома», «убирает книги», а 17 февраля ни с того ни с сего посещает сахарную фабрику.

Не прекращает Фонвизин и литературную деятельность: заканчивает не дошедший до нас перевод «Анналов» и 14 февраля посылает «Письмо к государыне о Таците», работает над своими новыми комедиями «Выбор гувернера», «Обманчивая наружность, или Человек высшего света» и неназванным наброском пьесы, одним из персонажей которой является неизменный Стародум. Таким образом, вместе с «Добрым наставником» количество незаконченных фонвизинских комедий достигает трех, в каждой из них дело не идет далее первого действия, а завершенная комедия «Выбор гувернера» является короткой трехактной пьесой. Ясно, что на рубеже 1780–1790-х годов Фонвизин ощущает себя в первую очередь комедиографом. Он полон энергии и творческих

замыслов, однако болезнь и жизненные неурядицы не позволяют знаменитому писателю сосредоточиться на литературной работе и создать большую пятиактную пьесу.

В это же время прославленный драматург начинает размышлять о масштабах своего литературного дарования и, судя по всему, его отношение к этому предмету было весьма противоречивым. Не сомневаясь в своем сатирическом таланте и не раз повторяя, что литературные способности могли принести (и принесли) ему больше вреда, нежели пользы, Фонвизин, по его собственным словам, отказывается верить неназванному в «Чистосердечном признании» приятелю (поэту и драматургу, автору комедии «Россиянин, возвратившийся из Франции» Александру Григорьевичу Карину), всю свою недолгую жизнь утверждавшему, что его друг Денис «родился быть великим писателем». Однако противоречия здесь нет. В словах Карина опытный человек Фонвизин видит лишь ничем не прикрытую лесть стихотворца, боящегося острых насмешек «великого критика», лесть, не позволившую тщеславному Фонвизину в свое время «истребить» несчастную и едва его не погубившую «склонность к сатире». Скорее ставший знаменитым поэт и комедиограф сомневается в искренности своего «учтивого» «соученика», а не в силе своего комического таланта.

Как правило, в своих новых комедиях Фонвизин разрабатывает уже затрагиваемые им темы и выводит на сцену хорошо известных публике персонажей. В безымянном отрывке, представляющем собой первую сцену первого акта пьесы, жена главного героя Простосерда Ненила призывает мужа прекратить тратить деньги на бессмысленное приобретение новых книг, а купив «книжку-другую хорошеньких», перечитывать их снова и снова. Свое дикое предложение Ненила обосновывает настолько разумно, что Простосерду приходится с ним согласиться и даже присоединиться к мнению глуповатой, но оказавшейся правой супруги: в самом деле, во всех известных ему отечественных книгах написано одно и то же, «только другими словами, а кажется — и другого автора, и не та печать». Сама Ненила привычки читать не имеет, а потому мошенникам от литературы обмануть себя не позволит. Не обмануть им и их дочь Юлию, правда, по другой причине. Пройдя дорогое обучение у «мадамы», юная девушка читает исключительно французские книги, но, в отличие от отца, деньги на них не тратит, а пользуется услугами господина Безчеста. Этот «друг и наставник» молодого Петрушки Простосерда располагает большой библиотекой французской литературы и всегда готов «ее книжками ссудить».

Кажется, читателя ожидает новая встреча со старыми

знакомыми: скупой «дурищей» Бригадиршей и галломаном Иванушкой. «Лучше плуты люди тебя не обманут. Ты там не дашь уже пяти копеек, где надобно дать четыре копейки с денежкой», — поучает Бригадирша своего сына в 1769 году; «Благодарю Творца, что не люблю читать книг: а то бы, пожалуй, плуты и меня обманули», — вторит ей через 20 лет жена Простосерда. «Я сам кроме романов ничего не читывал, и для того-то я таков, как вы меня видите», — отвечает Иванушка влюбленной в него Советнице, и есть все основания полагать, что так же думает и поступает не успевший выйти на сцену любитель французских книг, отнюдь не князь Честон российский дворянин Безчест. Правда, в этих несомненно похожих текстах можно без особого труда обнаружить принципиальные отличия. «Конечно, грамматика не надобна. Прежде нежели ее учить станешь, так ведь ее купить еще надобно. Заплатишь за нее гривен восемь, а выучишь ли, нет ли, Бог знает», — изрекает Бригадирша, и для читателя становится очевидной правота Бригадира, во всеуслышание объявившего, что его супруга «умна как корова». «Не знаю, батюшка, на кой черт ты столько книг покупаешь всякий день; только деньгам перевод. Легкое ль дело. Теперь три поставца битком набито… ведь я чай, что в одной книжке написано, то есть и в тридцати», — внушает Ненила своему мужу Простосерду, и читатель видит, что она по части ума от своей предшественницы ушла не очень далеко. Однако из дальнейшего разговора проницательный «смотритель» понимает, что в своей новой комедии Фонвизин говорит не только о глупости героини, но и о «ничтожестве литературы русской». Хотя в кого Фонвизин целит на самом деле, мы не узнаем никогда: ни друг Простосерда и любимый персонаж Фонвизина Стародум, ни молодой Простосерд, ни его жена Зенида, ни Безчест в дело не вступают и суть проблемы не проясняют.

В законченной, а после смерти драматурга даже поставленной комедии «Выбор гувернера», про которую, по мнению Вяземского, «можно подумать, что она служила основанием „Недоросля“» и в которой, по его же мнению, «автор подражал… самому себе», Фонвизин обращается к неизменно злободневной теме дворянского воспитания. «Не урожденная княжна, однако из хорошей дворянской фамилии» Вертушкиных, княгиня внушает своему долго и плохо соображающему супругу князю Слабоумову, что они «должны жить по-княжески», и со всей пылкостью натуры демонстрирует окружающим, как надо кичиться своей породой и надуваться «глупой спесью». Прислушавшись к всеобщему мнению и намереваясь найти своему десятилетнему отпрыску благородному князю Василию

достойного гувернера, сиятельная чета обращается за советом к местному предводителю дворянства господину Сеуму.

Естественно, новоиспеченная княгиня Слабоумова изо всех сил презирает простого дворянина. В разговоре с мужем она выражает опасение, что Сеум предложит в наставники князю Василию «такого же хомяка, каков он сам», то есть, как она выражается, «серьезную рожу». Вопреки правилам дворянского обхождения, требующим, чтобы по такому сугубо личному делу Слабоумов приехал к дворянскому предводителю сам, княгиня посылает за Сеумом и при этом высокомерно-насмешливо предполагает, что «наш господин Сеум не поспесивится посетить князя Слабоумова». После того как Сеум соглашается привезти в княжеский дом рекомендованного им штаб-офицера и однофамильца давно известного отечественному читателю «автора» «Челобитной российской Минерве» Нельстецова, она предлагает мужу специально удалиться к себе в покои, «чтобы ожидаемые гости подождали нас с полчаса и увидели, что они приехали к вашему сиятельству». «Человек умный, честных правил и заслуженный», имеющий чин больший, чем не сумевший «добиться обер-офицерства» и поэтому «принужденный теперь таскаться парою» слабоумный князь, Нельстецов намеревается «поселить» в «голову и сердце» взятого им «на свои руки благородного младенца», «что он, будучи благороднорожденный, должен иметь и благородную душу». Кроме того, разумный наставник планирует научить своего подопечного «правилам веры, в которой он родился», а освоение иностранных языков начать не с модного французского, а с латинского.

Программа, предложенная Нельстецовым, этим, по словам еще не успевшей с ним познакомиться княгини Слабоумовой, «русским пентюхом» и наверняка грубияном, жене высокородного «дурака» нравится очень мало. Ведь «господину Нельстецову не угодно, чтоб сын наш знал, что он князь, и не хочет удостоить его титлом сиятельства», он отказывается обучать князя Василия танцам и настаивает на важности презренной и необходимой лишь безродным «попам» латыни. Смехотворность аргументов безмозглой Слабоумовой-Вертушкиной и справедливость доводов разумного Нельстецова Фонвизин мог оценить как никто другой: ведь благодаря знанию «коренной многим языкам» латыни в юности он без особого труда изучил французский, а в зрелые годы очень быстро выучился «болтать кое-как по-итальянски». Несомненно, знающий дело Нельстецов имеет в виду опыт своего образованного творца.

По мнению же заботливой матери, на роль гувернера

молодого Слабоумова куда больше подходит господин Пеликан. Во-первых, на должность княжеского гувернера, этого несомненного родственника, описанного в «Разговоре у княгини Халдиной», шевалье Какаду рекомендует сама графиня Самодурова; во-вторых, как следует из письма графини, господин Пеликан — прекрасный зубодер и «мозольный оператор»; в-третьих, в своем обращении он будет подчеркивать княжеское достоинство своих хозяев и называть их исключительно «Votre altesse», наконец, в-четвертых, господин Пеликан природный француз. Ни одним из этих достоинств «пентюх» Нельстецов не обладает и посему безнадежно проигрывает заморскому конкуренту.

В конце действия в дом князей Слабоумовых приезжает сама графиня и привозит с собой постоянно «ужимающегося» и повторяющего ласкающее хозяйский слух «Votre altesse» французского гувернера. Как и в аналогичной сцене «Недоросля», добродетельный Сеум узнает в иностранном учителе старого знакомого, но не «доброго человека», взявшегося не за свое дело лишь по нужде, а уже разоблаченного им однажды французского подлекаря, «побродягу» и «негодницу, приехавшую развращать сердца и головы благородных юношей». Как видно, между кучером Вральманом и подлекарем Пеликаном общего не так уж и много. Именно по этой причине милосердный Стародум не желает конечной погибели своему бывшему кучеру Вральману и определяет его к месту более подходящей, чем учительство, службы, а честно исполняющий свой долг и к тому же раздосадованный приемом Слабоумовых Сеум щадить «пустоголового француза» не намерен и собирается употребить все возможные средства, дабы «выпроводить его из нашего уезда в двадцать четыре часа».

Исследователи творчества Фонвизина обращали внимание, что в предварительном, созданном в 1779 году варианте «Недоросля» в роли учителя-иностранца выступал не немецкий, а французский кучер, и о причинах последовавшей затем метаморфозы мы можем лишь догадываться. В «Выборе гувернера» эта роль вновь отдается обычному в таких случаях французу, и никаких «политических» оснований изменять национальность иностранного пройдохи у Фонвизина не находится. Больше того, в новой комедии национальная принадлежность гувернера (и французская тема вообще) становится важной как никогда. Ведь к моменту создания пьесы в самой Франции происходили очень необычные и в фонвизинской комедии ставшие предметом специального обсуждения события. В стране, которую так любил бригадирский сын Иванушка,

которую так почитали князья Слабоумовы и которую так недолюбливал сам Фонвизин, вспыхнула революция. В присутствии по своему обыкновению ничего не понимающего князя проекатеринински настроенный Нельстецов разъясняет совершенно с ним согласному Сеуму, что не существует законов, способных осчастливить «каждого частного человека», что «для блага целого государства» часть «подданных» должна непременно чем-нибудь пожертвовать и «следственно, равенство состояний», которого пытаются достичь устроившие невиданные «замешательства» французы, «и быть не может». Руководимые давно нелюбимыми Фонвизиным «ложными философами», «они, желая отвратить злоупотребление власти, стараются истребить тот образ правления, коим Франция всей своей славы достигла», но, как снова и снова повторяет убежденный в своей правоте Нельстецов, никогда не смогут воплотить в жизнь свою любимую идею всеобщего равенства. Примечательно, что рассуждения о французском равенстве встречаются у Фонвизина и раньше, в его письмах о Франции. В послании Петру Панину из Ахена (18/29 сентября 1778 года) он пишет вслед за Ш. П. Дюкло: «Пока может, утопает он (француз. — *М. Л.)* в презрительных забавах, и сей род жизни делает все состояния так равными, что последний повеса живет в приятельской связи с знатнейшею особою. Равенство есть благо, когда оно, как в Англии, основано на духе правления, но во Франции равенство есть зло, потому что происходит оно от развращения нравов». Ясно, что речь здесь идет совсем о другом равенстве, нежели в революционной Франции, но в обоих случаях Фонвизин воспринимает его как несомненное зло.

Выслушав рассуждения разумного приятеля относительно законодательства вообще и «нынешнего законодательства французского» в частности, Сеум задается вопросом: что же в таком случае «остается делать законодателю»? Совершенно естественно, что давно сформировавший свое мнение на этот счет Нельстедов отвечает тотчас и не задумываясь: мудрому законодателю «остается расчислить так, чтоб число жертвуемых соразмерно было числу тех, для благополучия коих жертвуется». При этом, продолжает Нельстецов, настоящий правитель должен быть не просто «великим исчислителем», но «великим исчислителем» бесконечно мудрым: ведь «в математике от одной известности идут к другой, так сказать, машинально, и математик имеет пред собою все откровения предшественников своих, ему надобно иметь только терпение и уметь ими пользоваться; но политика прежние откровения не поведут верною дорогою. Математик исчисляет числа, политик страсти; словом, ум политический есть и должен быть несравненно больше и гораздо

реже встречается, нежели математический».

Разумеется, государственные деятели, обладающие умом политическим, встречаются и сейчас, и оба собеседника, Нельстецов и Сеум, благодарят судьбу за то, что имеют счастье жить в стране, находящейся в управлении как раз такого законодателя. Исполнив свои «партии», друзья-единомышленники растолковывают супругам Слабоумовым, что, попав в революционную Францию, их сын тотчас перестанет быть князем, а поехав туда «лет через десяток», окажется неизвестно в какой стране (если, конечно, «господа французы колобродить не скоро перестанут»). Их рассуждения производят желаемое действие, и перепуганная княгиня отказывается от своего давнего намерения отправить ребенка за границу. Князь же во время всего разговора пребывает в своем привычном оцепенении и лишь после специального объяснения начинает понимать, что в современной Франции «уже князей нет».

Несомненно, концовка этой сцены оригинальна и написана совершенно в духе Фонвизина с его характерными переходами от патетических восклицаний к насмешливым вопросам и ироничному повествованию («*Нельстецов*: И коль счастливы те, кои таковую страну отечеством имеют! *(к Князю)* Вы, князь, о чем задумались? *Князь*: Что вы оба ни говорили, я ничего не понимаю»), в то время как остроумные рассуждения Нельстецова о математике и политике, по наблюдению П. А. Вяземского, целиком заимствованы из книги французского писателя Л. А. де Лабомеля, по словам первого биографа Фонвизина, «более известного щелчками Вольтера, нежели собственными своими подвигами». Как обычно у Фонвизина, основная идея комедии формулируется в последней реплике героя: «*Нельстецов*: Странные люди! Скажите, что руководствует их мыслями и делами? *Сеум*: Что руководствует? Глупая спесь». Точно так же в концовке «Недоросля» Стародум указывает на поверженную Простакову и сопровождает свой жест емким комментарием — «Вот злонравия достойные плоды», а в концовке «Бригадира» раздавленный судьбой Советник обращается к партеру с признанием: «Говорят, что с совестью жить худо, а я сам теперь узнал, что жить без совести всего на свете хуже». Беспорочные герои наблюдают за происходящим в стане врага и произносят свой приговор, порочные же — переживают стыд и «сами узнают» истину.

Комедия «Выбор гувернера» (или по-другому «Гофмейстер») стала последним из драматических, а возможно, и из всех написанных за 30 лет литературной деятельности завершенным сочинением Фонвизина. Именно ее он представил на последнем в

своей жизни приеме у Державина 30 ноября 1792 года. Этот памятный вечер подробнейшим образом описан присутствовавшим на нем поэтом и переводчиком, другом Державина и Карамзина, между прочим, переводчиком фонвизинского «Жития графа Никиты Ивановича Панина» на русский язык Иваном Ивановичем Дмитриевым: «По возвращении из белорусского своего поместья он (Фонвизин. — *М. Л.)* просил Гавриила Романовича познакомить его со мною. Назначен был день нашего свидания. В шесть часов пополудни приехал Фонвизин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами из Шкловского кадетского корпуса, приехавшими с ним из Белоруссии. Уже он не мог владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела. Обе поражены были параличом. Говорил с крайним усилием и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали. Первый брошенный на меня взгляд привел меня в смятение. Разговор не замешкался». Выяснив, насколько хорошо молодой коллега знаком с его творчеством, и сойдясь с Дмитриевым во мнении относительно «прелестной» «Душеньки» Ипполита Богдановича, «…Фонвизин сказал хозяину, что он привез показать ему новую свою комедию „Гофмейстер“. Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать эту новость. Он подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию одним духом. В продолжение чтения автор глазами, киваньем головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились. Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела. Несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться. По словам его, во всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти одного только литератора, городского почтмейстера. Он выдавал себя за жаркого почитателя Ломоносова. „Которую же из од его, — спросил Фонвизин, — признаете вы лучшею?“ „Ни одной не случалось читать“, — ответствовал ему почтмейстер. „Зато, — продолжал Фонвизин, — доехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. От утра до вечера они вокруг меня роились. Однажды докладывают мне: ‘Приехал сочинитель’. ‘Принять его’, — сказал я, и через минуту входит автор с пуком бумаг. После первых приветствий и оговорок он просит меня выслушать трагедию его *в новом вкусе* (курсив автора. — *М. Л.)*. Нечего делать; прошу его садиться и читать. Он предваряет меня, что развязка драмы его будет совсем необыкновенная: у всех трагедии оканчиваются добровольным или насильственным

убийством, а его главная героиня или главное лицо умрет естественною смертию. И в самом деле, — заканчивает Фонвизин свой веселый рассказ, — героиня его от акта до акта чахла, чахла и наконец издохла“. Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, а наутро он уже был в гробе».

Из печального рассказа Дмитриева следует, что незадолго до смерти Фонвизину пришлось совершить очередной деловой вояж в Белоруссию. Известно, что к началу 1790-х годов вконец разоренному писателю так и не удается закончить принесшую ему столько беспокойства тяжбу с бароном Медемом и, несмотря на неуклонное ухудшение здоровья, он отправляется в Полоцк (в 1791 году) и в Шклов (в 1792-м). Тогда же, в конце 1790-го и в середине 1791 года, он несколько раз посещает Москву и в свой последний приезд задерживается там без малого на год. О сочинениях Фонвизина, созданных им в начале последнего десятилетия XVIII века, известно существенно больше, чем о событиях двух заключительных лет его жизни: в это время он создает посвященное кончине князя Потемкина-Таврического «Рассуждение о суетной жизни человеческой» и принимается за ставшее важнейшим, хотя и не всегда заслуживающим полного доверия, источником сведений об обстоятельствах жизни юного и образе мыслей умирающего Фонвизина «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях».

В своем «Рассуждении» неизлечимо больной Фонвизин отзывается на кончину человека, хорошо ему знакомого, бывшего однокашника, чья блистательная карьера начиналась на его глазах и к которому в случае нужды он обращался за помощью. В письмах Фонвизина имя Потемкина называется хоть и редко, но все-таки называется. «Здесь у двора примечательно только то, что камергер Васильчиков выслан из дворца, и генерал-поручик Потемкин пожалован генерал-адъютантом и в Преображенский полк подполковником», — пишет он А. М. Обрескову 20 марта 1774 года и, желая подчеркнуть важность рассказанной новости, добавляет: «Sapienti sat» — мудрому достаточно, понимающий поймет. «Поздравь с капралом. Потемкин по моей просьбе записал брата прямо в капралы», — сообщает он своей сестре Феодосии в том же 1774 году (как раз тогда, когда раздраженная императрица жалуется своему фавориту, что все свое внимание он уделяет Фонвизину, которого ей на горе «принес черт»). Потемкин же, судя по сведениям современников, к своему старинному, но куда менее удачливому знакомому был расположен и всегда оставался поклонником его таланта комедиографа. «Умри теперь, Денис, или больше ничего уже не пиши; имя твое бессмертно будет по этой одной пиесе» — так, в

версии Дмитревского, несколько патетически и витиевато светлейший князь высказался о представленном в 1782 году «Недоросле». Но никогда Фонвизина, верного человека графа Никиты Панина, и Потемкина, непримиримого противника и победителя бывшего министра иностранных дел, воспитателя наследника и благодетеля российского Мольера, теплые отношения не связывали (не случайно некоторые исследователи сомневаются в достоверности слов Дмитревского), об успехах Потемкина Фонвизин отзывается без всякого сочувствия и не испытывает к его персоне ни капли почтения.

На умирающего Фонвизина внезапная смерть всесильного вельможи производит впечатление лишь своей откровенной «поучительностью», вновь подтвердившей мудрость псалмопевца, который, по словам философствующего литератора, столь «живо изобразил бренность суетной жизни человеческой». «Видех человеки, яко кедры Ливанския; мимо ид ох — и се не бе»; «Внегда умрети ему, не возьмет вся, ниже снидет с ним слава его»; «Суета сует помышления человеческая»; «И да не приложит к тому величатися человек на земли» — вот «поучительные мысли» царя Давида, имеющие прямое касательство к кончине «сильного мира сего». Однако тщательно подобранные «места из Давида» относятся не только к неожиданной смерти светлейшего князя Потемкина-Таврического, но и к нынешнему печальному состоянию самого Фонвизина. «Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде» или «Господи! благо мне, яко смирил мя еси» — это уже о пережившем за последний, 1791 год четыре апоплексических удара и «лишенном пораженных членов» несчастном «страдальце» (как в своей книге называет Фонвизина П. А. Вяземский).

Фрагменты «книг церковных» охваченный религиозным рвением Фонвизин вводит и в свое итоговое «Чистосердечное признание», ссылается на них во вступлении («как Апостол глаголет, „исповедуйте убо друг другу согрешения“») и использует в качестве эпиграфов к каждой из глав: «Беззакония моя аз познах и греха моего не покрых», «Господи! даждь ми помысл исповедания грехов моих», «Господи! отврати лице Твое от грех моих» и т. д. Сопоставляя свое признание с «Исповедью» глубоко им почитаемого и едва не ставшего лично знакомым Ж. Ж. Руссо, Фонвизин специально отмечает, что, в отличие от «славного французского писателя», он не собирается «показать человека во всей истине природы, изобразив самого себя», а хочет совершить подвиг «раскаяния христианского», создать истинную исповедь. «Чистосердечно открою тайны сердца моего и *беззакония моя аз возвещу»,* — объявляет Фонвизин, по

обыкновению подкрепляя свою мысль цитатой из Псалтыри. Ему нет надобности оправдываться или скрывать свои многочисленные, как он полагает, грехи и пороки. В книге, определенной им как «испытание своей совести», Фонвизин намеревается оставаться честным судьей и рассказывать не только о «содеянном им зле», но и обо всем, что он делал, «следуя гласу совести». Проникнутый духом христианского смирения исповедующийся «грешник» утверждает, что добрые дела он совершал не по собственной воле, а следуя наставлениям истинных друзей, которые «совращали» его «с пути грешнича и ставили на путь праведен» и в первую очередь благодаря внушению «вся блага нам дарующаго» Бога.

Современники же, хорошо знакомые с этим автобиографическим творением Фонвизина, подчас отказывались признавать в нем настоящую исповедь и находили в «Чистосердечном признании» лишь пустую похвальбу тщеславного человека. «Славной, но больше того известной Жан-Жак Руссо в книге исповеди своей показал свою откровенность даже до таких своих действий, которые ни ему, ни читателям ни к чему не служат, кроме соблазна, — рассуждает в своих записках скромный белорусский чиновник, сын священника Гаврила Добрынин, — а наш почтеннейший Фон-Визин, по-видимому из подражания Жан-Жаку назвав одно из своих сочинений исповедью, исповедуется, что „он сочинил оперу и для прочтения оной представлен был к государыне Екатерине II“, как будто это такой грех, который стоит больше исповеди, нежели фастовства. До чего же и мне не подражать сим славным людям? Стану и я исповедоваться с тем только от них различием, что моя исповедь действительно во грехе, а не в празднословии соблазнительном Жан-Жака Руссо и не в фастовстве Фон-Визина».

И все же искренность намерений Фонвизина вызывает сомнения лишь у его недоброжелателей, таких как А. С. Хвостов или князь Д. П. Горчаков. Судя по всему, в последние годы жизни бывший вольнодумец и ученик князя Козловского становится мужем чрезвычайно религиозным, рассуждает о проявленном к нему Господнем милосердии, приносит покаяние, ищет в церкви покой и утешение. Правда, подобное умонастроение Фонвизин демонстрирует лишь в своих последних сочинениях 1791 и 1792 годов, в «Рассуждении о суетной жизни человеческой» и в «Чистосердечном признании»; из дневника же, содержащего поденное описание его времяпрепровождения в конце 1789-го — начале 1790 года, о религиозных чувствах автора можно узнать очень немного. В последних записках Фонвизина сказано, что во время путешествия в Бальдон его посещает священник, что он

бывает у обедни, заказывает «молебен всем скорбящим», а тотчас по возвращении в Петербург 29 сентября 1789 года отправляется *«с* женой ко Всем Скорбящим и Казанской». Ни одна из этих записей какими-либо комментариями, пусть даже не пространными, но свидетельствующими об особом религиозном настрое Фонвизина, не сопровождается, и все они оказываются в одном ряду с описаниями самых заурядных бытовых происшествий. Так, 25 августа 1789 года Фонвизин пишет: «Поутру отправил почту и принял ванну. Был священник»; 8 февраля 1790 года: «После обеда упражнялись в выборе обоев для деревенского дома»; а на следующий день, 9 февраля: «Поутру отправил Катерину Сергеевну в монастырь».

О смерти же, ожидание которой способствует пробуждению в нем сильного религиозного чувства, тяжелобольной Фонвизин думает постоянно, боится ее и старается к ней приготовиться. 22 июля 1789 года, в том же дневнике путешествия в Ригу, Бальдон и Митаву, он делает характерную запись: «Одевшись, узнал я, что в нашу церковь везут двух мертвецов, коим сегодня будет погребение. Я вышел к ним навстречу и проводил до церкви. Смущенное сердце мое занималось сим печальным зрелищем. Я представлял себе, что будучи в параличе, надобно мне быть всегда готову к новому удару, могущему лишить меня жизни. Мне пришли на мысль дни погребения родных моих и какому должно быть моему погребению, как для жены моей, так и для родных друзей моих».

Погребение прославленного русского драматурга Дениса Ивановича Фонвизина состоялось на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в начале зимы 1792 года. Он скончался 1 декабря в присутствии своего верного друга Клостермана, искренне любившего своего «благодетеля» и сочинившего (вероятно, в 1796 году) «Epigramme sur Monsieur le conseiller d'Etat Denis de Visine» («Эпиграмма на статского советника Дениса де Визина»):

«Homme aimable, Ayant eu quelques Grands pour amis. Il fut regardé par les jaloux avec des yeux d'envie. Bien faisant, il étoit le soutien des veuves et le Père des Orphelins. Toujours serviable et prêt à Obliger toujours Un coup d'apoplexie le priva de la jouissance de plaisirs sensuels, auxquels il s'étoit trop livré. Son corps fut affaibli et son esprit étouffé. C'est ainsi qu'après une infirmité qui dura huit ans, il finit sa carrière entre les bras de son respectable épouse qui le pleura pendant trois ans de son veuvage. Décédé le 1 décembre 1792, âgé de 48 ans.».

(«Любезный человек, имевший в друзьях великих мира сего. Завистники смотрели на него ревнивыми глазами.

Благотворитель, он был защитником вдов и отцом сирот, всегда любезный и всегда готовый прийти на помощь. Апоплексический удар лишил его возможности наслаждаться чувственными радостями, которым он предавался слишком много. Его тело ослабело, и его душа была подавлена. Так после недуга, который продолжался восемь лет, он закончил свою жизнь на руках у своей почтенной супруги, оплакивавшей его в течение трех лет своего вдовства. Умер 1 декабря 1792 года в возрасте 48 лет».)

Влиятельный и добрый господин, любящий людей и жизнь, но сломленный мучительной болезнью — таким видел Фонвизина его старинный приятель и наперсник.

Тот же, что и в незатейливом творении Клостермана, день смерти и срок жизни величайшего писателя екатерининского царствования указаны и в надгробной надписи, гласящей, что:

«Под сим камнем погребено тело
статского советника Дениса Ивановича Фонвизина.
Родился в 1745 году апреля 3 дня.
Преставился в 1792 году декабря 1 дня.
Жития его было 48 лет 7 месяцев и 28 дней».

Надпись эта содержит вопиющую и давно замеченную ошибку: родившись в 1745 году и скончавшись в 1792-м, Фонвизин никак не мог прожить 48 лет. Одно из двух: либо он появился на свет в 1744 году, либо житие его продолжалось на год меньше, чем насчитали современники. Но сама эта ошибка, создающая новую проблему для исследователей жизни и творчества автора лучших отечественных комедий XVIII века, выглядит совсем не случайной. Ведь о русском Мольере, умнице, насмешнике и моралисте Денисе Ивановиче Фонвизине известно далеко не все, и тайна «срока» «жития его» остается меньшей из его тайн.

Из всех детей Ивана Андреевича и Екатерины Васильевны Фонвизиных Денис Иванович ушел первый. Его ближайшие по возрасту братья, бывший директор Московского университета, после сенатор и действительный тайный советник Павел Иванович Фонвизин и отец декабристов братьев Ивана и Михаила Фонвизиных подполковник Александр Иванович Фонвизин скончались в 1803 и 1819 годах соответственно. Год смерти любимой сестры Фонвизина Феодосии Ивановны Аргамаковой неизвестен, но в июне 1796 года Павел Иванович «препровождал» ее просительное послание влиятельному родственнику покойных

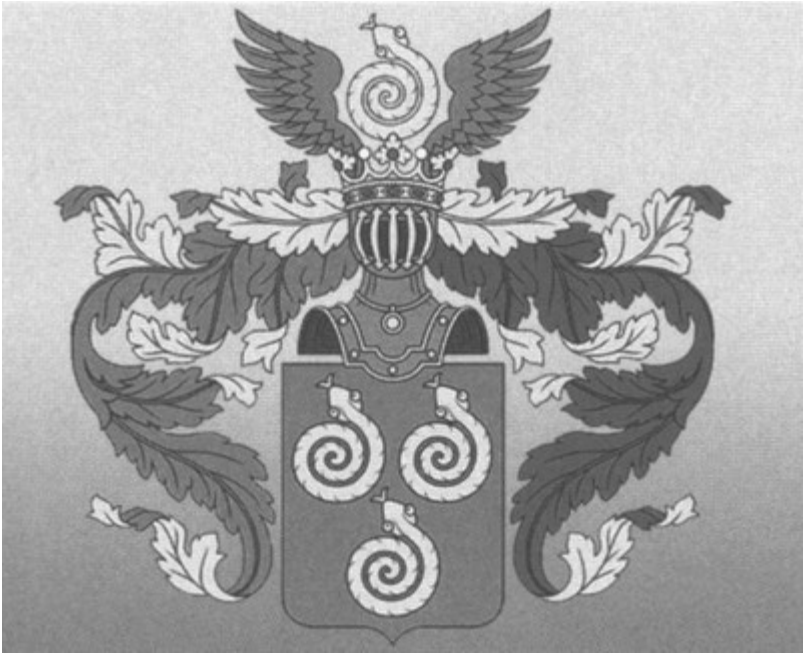
братьев Паниных и хорошему знакомому покойного Дениса Ивановича Александру Борисовичу Куракину; следовательно, своего брата и друга Феодосия пережила минимум на несколько лет. О сестрах Фонвизина Марфе, Анне, Екатерине и младшем брате Петре не известно практически ничего, но очевидно, что и они прожили дольше своего старшего брата Дениса Ивановича. Екатерина Ивановна Фонвизина «оплакивала» супруга «в течение трех лет своего вдовства» и умерла в крайней бедности в том же 1796 году, что и недолюбливавшая Фонвизина императрица Екатерина II.

Детей у Дениса Ивановича и Екатерины Ивановны не было, а среди многочисленных племянников, Фонвизиных и Аргамаковых, не известно ни одного, названного в честь Дениса Фонвизина. Обстоятельство странное, учитывая, что Фонвизин был не только «любезным человеком» и статским советником, но и славным комедиографом, по мнению ближайших потомков, например, поэта и дерптского профессора А. Ф. Воейкова, автором, равновеликим первым европейским гениям, а по части остроумия — лучшим из всех. В своем «Послании к А. Н. В.» он будет задаваться вопросом:

> Найду ль подобные тем райским вечерам,
> Когда читали мы Жан-Жака и Расина
> В зной летний под окном, зимою у камина?
> Когда, последуя Боннету-мудрецу,
> Любили восходить от тварей ко Творцу;
> Как с Геснером мы в век златой переселялись;
> Как с Юнгом плакали, с фон-Визиным смеялись…

Называя старшего сына в честь легендарного предка, героического ротмистра Дениса Петровича фон Визина, Иван Андреевич пророчил мальчику судьбу профессионального военного. Судьбы же талантливого и блестящего, но глубоко несчастного Дениса Ивановича никто из последующих Фонвизиных для своих детей не желал.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Герб дворян Фон Визиных

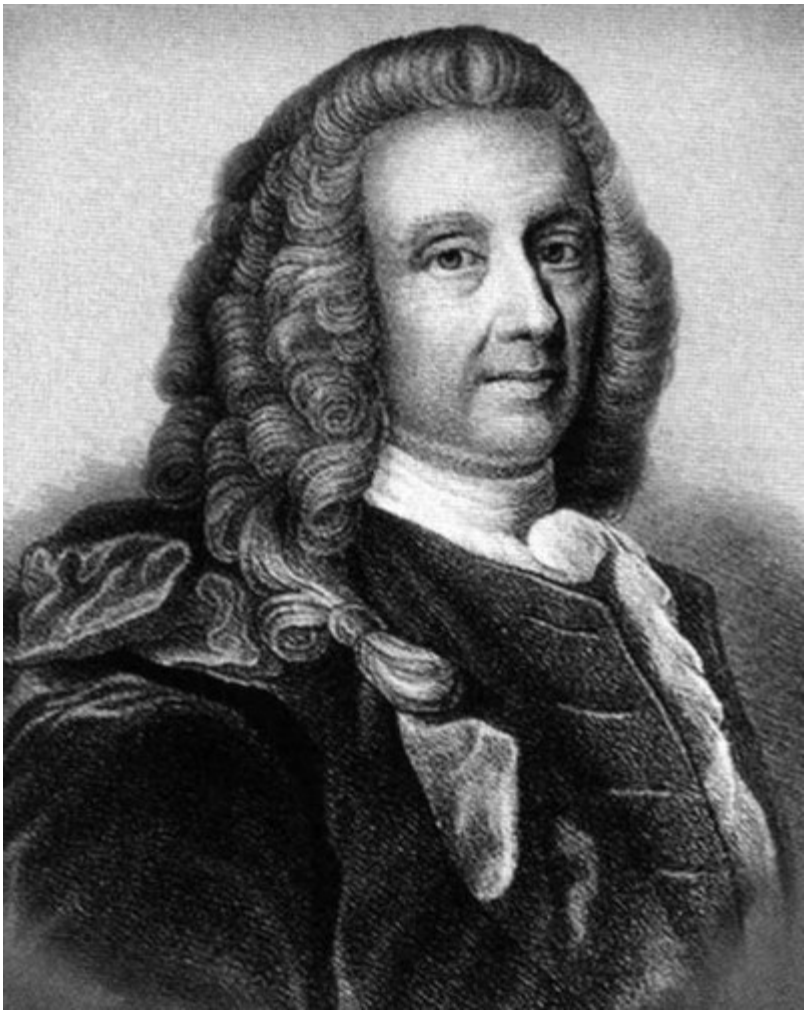
Вид здания бывшей Главной аптеки, где помещалась гимназия при Московском университете. Миниатюра. 1800-е гг.

Денис Фонвизин. Гравюра. XIX в.

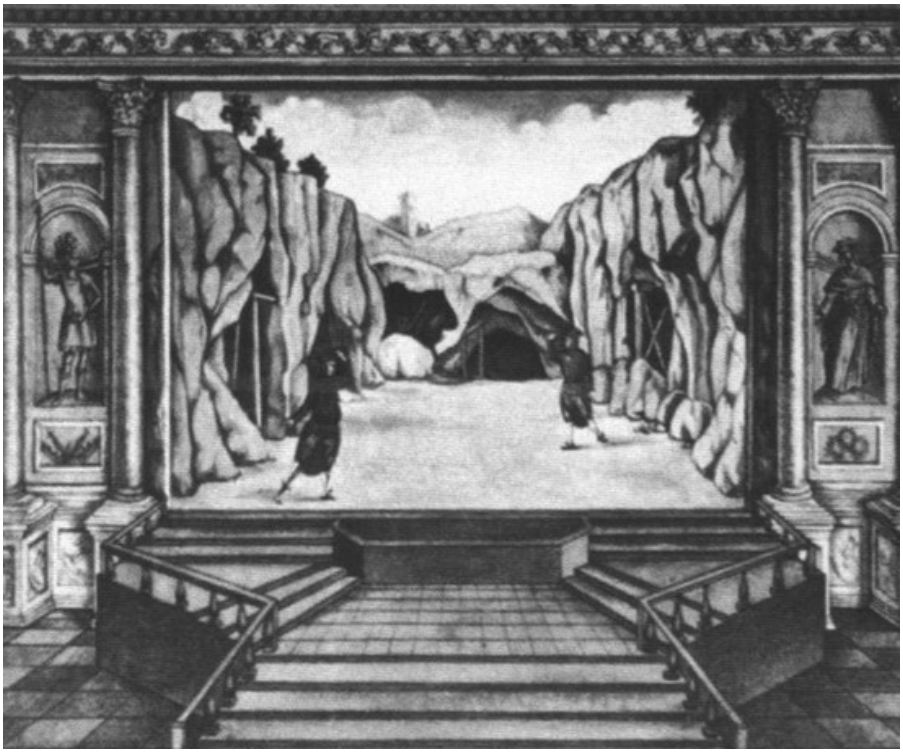
Здание Московского университета на Моховой. Литография. 1790-е гг.

Михаил Матвеевич Херасков. Гравюра И. В. Ческого. XIX в.

Вольтер. Гравюра Ж. М. Моро. 1846 г.

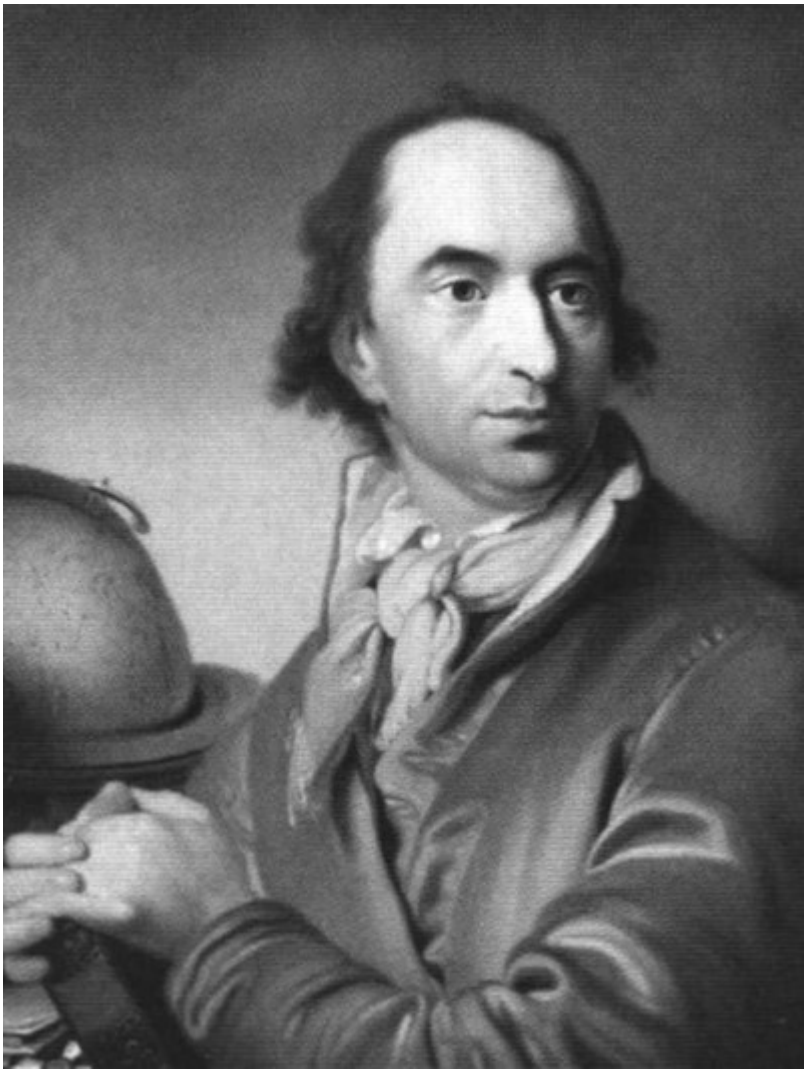


Людвиг Хольберг. Гравюра. 1868 г.



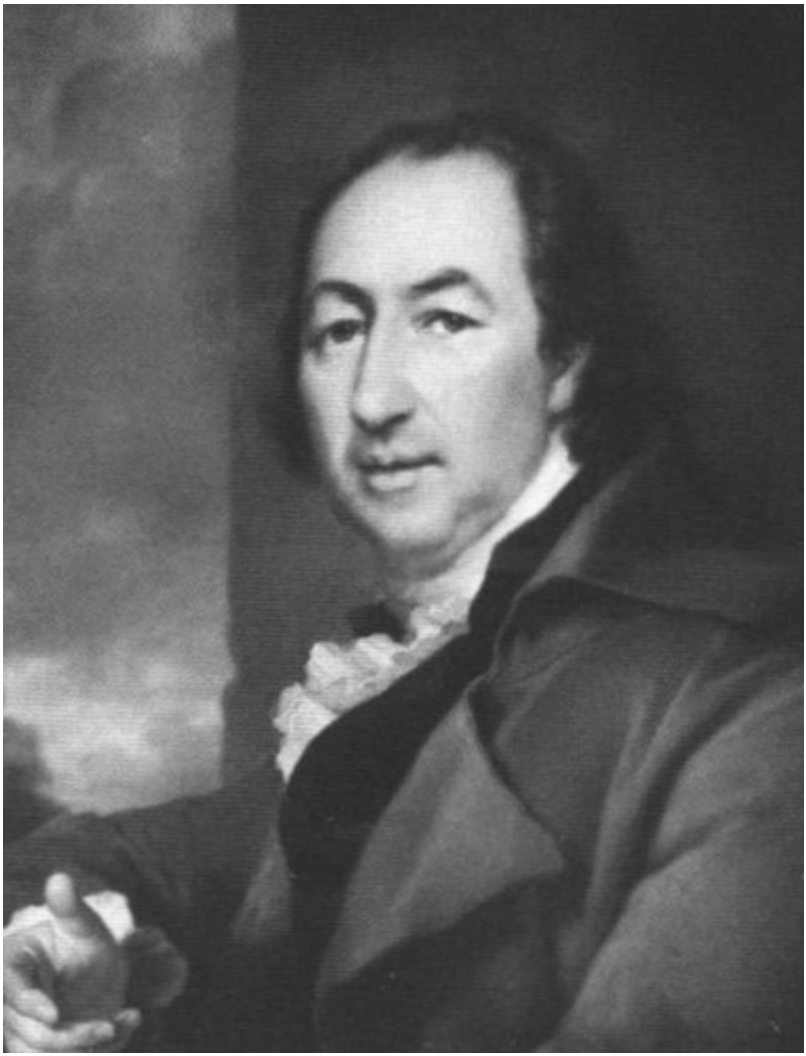
Театральная постановка. XVIII в.

Иван Перфильевич Елагин. Гравюра И. С. Щедровского. XIX в.



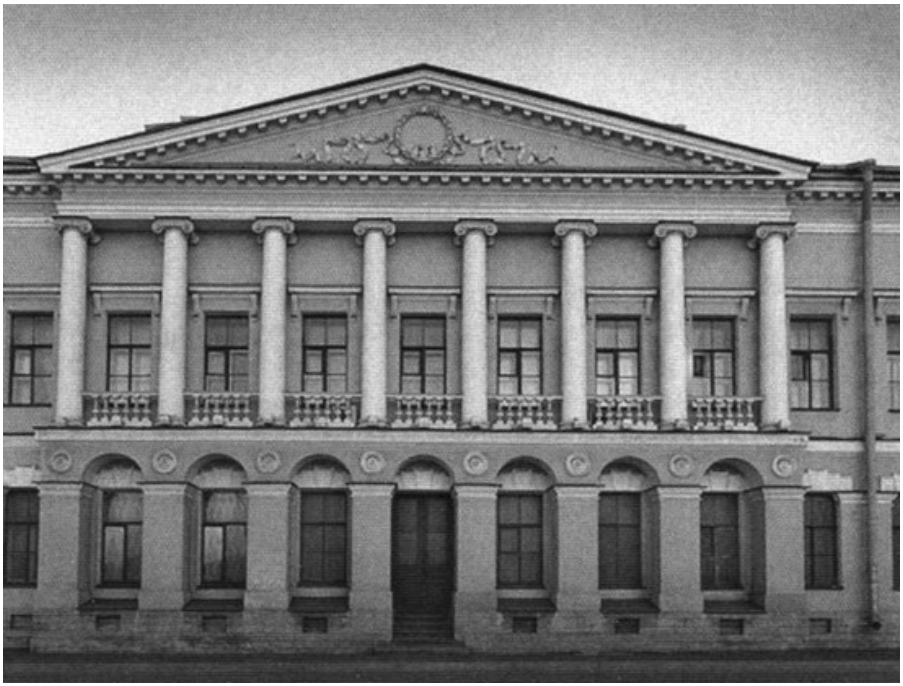
Александр Семенович Хвостов. Портрет работы В. Л. Боровиковского. 1801 г.

Денис Иванович Фонвизин. Гравюра А. А. Осипова. XIX в.



Николай Иванович Новиков. Портрет работы Д. Г. Левицкого. 1797 г.

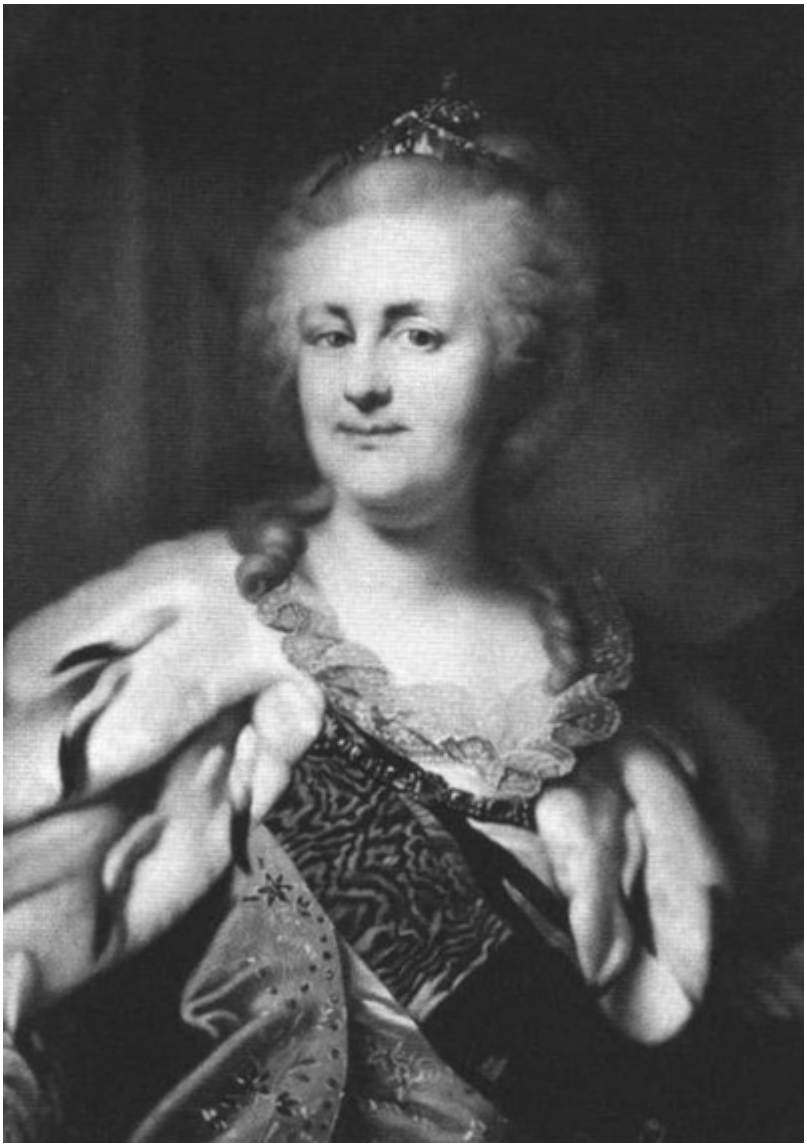
Великий князь Павел Петрович. Портрет. 1760-е гг.



Здание Коллегии иностранных дел на Английской набережной в Санкт-Петербурге

Граф Петр Иванович Панин. Портрет работы Г. Сердюкова. 1767 г.

Граф Никита Иванович Панин. Портрет работы А. Рослина. 1777 г.



Екатерина II Великая. Портрет работы И. Лампи-старшего

Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Портрет. 1847 г.

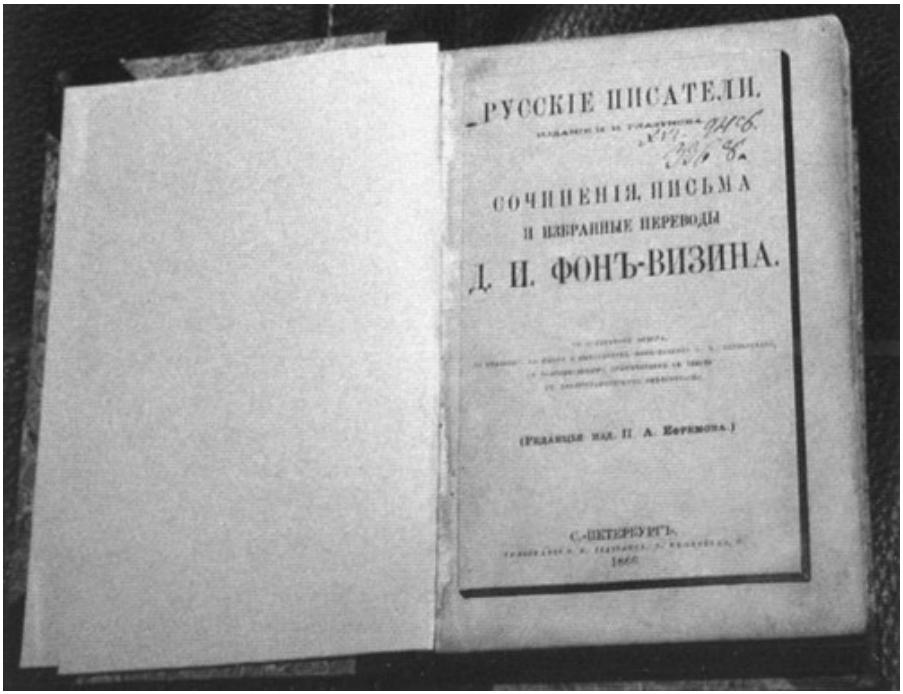
Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов, кузен Фонвизина и фаворит императрицы. Портрет работы Н. И. Аргунова. 1802 г.

Фонвизин читает свою комедию в салоне цесаревича Павла Петровича. Рисунок. XX в.

Актер И. А. Дмитревский в роли Стародума. Портрет. 1780-е гг.

Деревянный театр Книппера на Царицыном лугу в Петербурге, где в 1782 году состоялась премьера «Недоросля». Рисунок Дж. Кваренги. XIX в.

Актер П. А. Плавильщиков, игравший в премьере «Недоросля» Правдина. Гравюра. XIX в.



Наиболее авторитетное собрание сочинений Д. И. Фонвизина 1866 года, подготовленное П. А. Ефремовым

Денис Иванович Фонвизин. Гравюра. 1893 г.

Картина В. Тишбейна «Конрадин Швабский и Фридрих Баденский в ожидании приговора», восхитившая Д. И. Фонвизина во время путешествия по Италии

Петр Андреевич Вяземский, первый биограф Д. И. Фонвизина. Портрет работы П. Ф. Соколова. 1824 г.

Могила Д. И. Фонвизина на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

Денис Иванович Фонвизин на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Д. И. ФОНВИЗИНА

***1745**, 3 апреля* — в Москве родился Денис Фонвизин.

1755 — Фонвизин поступает в дворянскую гимназию при Московском университете.

***1758**, декабрь* — Фонвизин переводится в высшие классы гимназии.

***1759**, декабрь* — братья Денис и Павел Фонвизины посещают Петербург (по январь 1760 года). Первое впечатление от театра.

***1760**(?)* — братья Фонвизины производятся в студенты Московского университета.

1761 — издание перевода «Нравоучительных басен» Л. Хольберга. Публикация в журнале «Полезное увеселение». Работа над переводом трагедии Вольтера «Альзира».

***1762**, июнь* — братья Фонвизины производятся в студенты Московского университета.

Октябрь — Фонвизин оставляет университет и переходит на службу в Коллегию иностранных дел.

Зима (1762/63) — поездка в Мекленбург-Шверин. Переводы для журнала «Собрание лучших сочинений». Выход первого тома перевода романа Ж. Террассона «Сиф».

1763 — переезд в Санкт-Петербург. Служба под руководством И. П. Елагина. Перевод романа Ж. Ж. Бартелеми «Любовь Кариты и Полидора». Первые оригинальные стихотворения Фонвизина: «Послание к слугам моим: Шумилову, Ваньке и Петрушке», «Послание к Ямщикову», «К уму своему».

1764 — Фонвизин производится в титулярные советники. Постановка первой комедии «Корион».

1768 — окончание перевода и издание книги «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа».

1769 — производство в чин надворного советника и назначение секретарем министра иностранных дел России Н. И. Панина. Переводы «Сиднея и Силли» Д'Арно и «Иосифа» Ж. Битобе. Начало сотрудничества с Н. И. Новиковым. Окончание работы над «Бригадиром».

1771 — создание «Слова на выздоровление его императорского высочества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича».

***1772**, август* — первая постановка «Бригадира» в придворном театре в Царском Селе.

1773 — Н. И. Панин награждает Фонвизина поместьем в

Белоруссии.

1774 — женитьба на Екатерине Ивановне Хлоповой.

1777, август — путешествие во Францию (по октябрь 1778 года). Письма сестре Феодосии, Петру Панину и Якову Булгакову. Перевод «Слова похвального Марку Аврелию» А. Л. Тома.

1779 — назначение на должность «канцелярии советника» при Секретной экспедиции. Перевод с французского книги «Та-Гио, или Великая наука, заключающая в себе высокую китайскую философию».

1780 — постановка комедии «Бригадир» в Петербурге.

1781 — занимает место статского советника, члена Публичной экспедиции для почтовых дел.

1782 — производится в статские советники и выходит в отставку.

Сентябрь — премьера «Недоросля» в Петербурге.

1783 — публикации в журнале «Собеседник любителей российского слова». Работа над «Словарем Академии Российской».

14 мая — московская постановка «Недоросля».

1784 — путешествие в Италию. Издание «Жития графа Никиты Ивановича Панина» на французском языке.

1785 — продолжение путешествия в Италию, первый апоплексический удар. Посещение Австрии, Германии. Перевод с немецкого «Рассуждение о национальном любочестии» И. Г. Циммермана. Возвращение в Москву.

1786 — создание повести «Каллисфен».

Июнь — путешествие в Австрию.

1787 — публикация басни «Лисица-казнодей».

Август — возвращение в Россию.

1788 — подготовка статей для журнала «Друг честных людей, или Стародум». Написание статьи «Мнение об избрании пиес в „Московские сочинения“».

1789, июнь — *сентябрь* — посещение Риги, Бальдона, Митавы.

1790, ноябрь — *декабрь* — приезд из Санкт-Петербурга в Москву.

1791 — создание «Рассуждения о суетной жизни человеческой», посвященного кончине князя Г. А. Потемкина-Таврического. Незаконченное «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Поездка в Полоцк.

Лето — пребывание в Москве (по июнь 1792-го).

1792 — поездка в Шклов.

30 ноября — представление в петербургском доме Державина комедии «Выбор гувернера» («Гофмейстер»).

1 декабря — Денис Иванович Фонвизин скончался в Петербурге.

КРАТКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Берков П. Н. История русской комедии XVIII века. Л., 1977.

Букчин С. Судебное дело Дениса Фонвизина // Вопросы литературы. 1979. № 2.

Вяземский П. А. Денис Фон-Визин. СПб., 1843.

Гуковский Г. А. Русская литература в немецком журнале XVIII века // XVIII век. М.; Л., 1958. Сб. 3.

Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. М., 1866.

Дружинин П. А. Неизвестные письма русских писателей князю А. Б. Куракину. М., 2002.

Записки В. С. Хвостова // Русский архив. 1870. Кн. I.

Из неизданных записок Клостермана // русский архив. 1881. Кн. III.

Костышин Д. Н. Материалы к истории семьи Фонвизиных // Россия в XVIII столетии. М., 2009. Вып. 3.

Кочеткова Н. Д. Фонвизин в Петербурге. Л., 1984.

Кулакова Л. И. Денис Иванович Фонвизин. М.; Л., 1966.

Лебедев П. Опыт разработки новейшей истории по неизданным источникам. Ч. 1. Графы Никита и Петр Панины. СПб., 1863.

Левинтон-Лессинг В. Ф. Д. И. Фонвизин и изобразительное искусство // *Девинтон-Лессинг В. Ф.* История картинной галереи Эрмитажа (1764–1917). Л., 1985.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.

Макогоненко Г. П. Денис Фонвизин. Творческий путь. М.; Л., 1961.

Пигарев К. В. Творчество Фонвизина. М., 1954.

Серман И. З. Письма Фонвизина к Панину из Франции: проблема жанра // Oxford Slavonics papers. Vol. XXI. 1988.

Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892.

Сочинения Д. И. Фонвизина: Полное собрание оригинальных произведений. СПб., 1893.

Степанов В. П. Полемика вокруг Д. И. Фонвизина в период создания «Недоросля» //XVIII век. Л., 1986. Сб. 15.

Стричек А. Денис Фонвизин: Россия эпохи Просвещения. М., 1994.

Тихонравов Н. С. Материалы для полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина. СПб., 1894.

Фонвизин Д. И. Собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1959.

Чебышев А. А. Источник комедии императрицы Екатерины «О, время» // Русская старина. СПб., 1907.

Эджертон В. Б. Знакомство Фонвизина с Лабланшери в Париже // Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. М.; Л., 1966.

Denis Fonvisine. Lettres de France (1777–1778) /Trad, du russe et comment, par Henri Grosse; préf. de Wladimir Berelowitch. Paris, 1995.

Kantor M. Fonvizin and Holberg: a comparison of the Brigadier and Jean de France // Canadian-American Slavic Studies. \bl. 7 № 4. 1973.

Labriolle F. de. La dramturgie de Fonvizin // La Revue des Études Slaves. Paris, 1967. T. 46.

Moser Ch. A. Denis Fonvizin. Boston, 1979.

Østerby M. Fonvizins forhold til Holberg // *Fonvizin D. I.* Brigaderen. Landjunkeren. Odense, 1973.

Документы

РГБ. Ф. 472; ф. 222.
РГАЛИ. Ф. 517; ф. 195.
РНБ. Ф. 542.